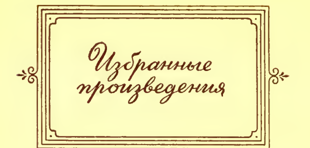
# С. В. КОВАЛЕВСКАЯ



# С.В.КОВАЛЕВСКАЯ

## *Избранные произведения*

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1982

Р1
К56

Тексты печатаются по изданию:
С. В. Ковалевская. Воспоминания. Повести.
М.— Л., Наука, 1974.

Составление, вступительная статья и примечания
Н. И. Якушина

Художник Н. Н. Крылов

$К \frac{4702010100-161}{М-105(03)82} 115-82$

© Издательство «Советская Россия», 1982 г.,
составление, вступительная статья, примечания.

# ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ

«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом женщиной в Швеции»[1],— писала в ноябре 1883 года одна влиятельная демократическая стокгольмская газета.

Событие это было действительно из ряда вон выходящим. Несмотря на то что исследования Софьи Васильевны Ковалевской в области математики по общепринятому тогда мнению явились выдающимся вкладом в науку, однако во многих странах, в том числе и в России, путь на университетскую кафедру ей был закрыт. И только вновь открытый Стокгольмский университет нарушил вековые традиции, согласно которым чтение лекций в высших учебных заведениях являлось привилегией только ученых-мужчин.

Природа богато одарила талантами эту замечательную женщину. Ученый, писатель, поэт, публицист, критик, активный участник общественного движения шестидесятых годов прошлого века — вот далеко не полный перечень граней ее многосторонней натуры. Ковалевская разделяла основные идеи великих революционеров-демократов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, поддерживала дружеские отношения со многими выдающимися общественными деятелями, учеными и писателями своего времени. Ее имя золотыми буквами вписано в историю русской науки, русской общественной мысли и литературы. Не случайно известный ученый и общественный деятель профессор М. М. Ковалевский сказал на могиле безвременно скончавшейся С. В. Ковалевской: «Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру, вы всегда были и будете славой нашей родины. Недаром оплакивает вас вся ученая и литературная Россия... Вам не суждено было работать в родной стране, и Швеция приняла вас... Но, работая по необходимости вдали от родины, вы сохранили свою национальность, вы оставались верной и преданной союзницей

---

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. Изд. доп. М., АН СССР, 1961, с. 273. Далее ссылки на это издание.

юбой России, России мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее...»[1]

Софья Васильевна Ковалевская родилась 15 января 1850 года в Москве, в семье командира Московского артиллерийского арсенала и гарнизона полковника Василия Васильевича Крюковского. Будучи дворянином только в третьем поколении, В. В. Крюковский настойчиво добивался утверждения своего рода в древнем дворянстве. Прошло, однако, немало лет, прежде чем долгожданное утверждение состоялось, и фамилия «Крюковские» превратилась в «Корвин-Круковские». Была создана даже легенда о происхождении рода Корвин-Круковских от дочери венгерского короля Корвина и польского военачальника Круковского.

В 1858 году отец Софьи Васильевны в чине генерал-лейтенанта артиллерии вышел в отставку и переехал вместе с семьей в свое родовое имение Палибино, расположенное недалеко от границы с Литвой. Здесь в обстановке провинциального помещичьего быта прошли детство и юность Ковалевской, так ярко описаввые в ее книге «Воспоминания детства».

Это было время мощного общественного подъема, наступившего в России после поражения в Крымской войне 1854—1856 годов, который вошел в историю нашей страны как буржуазно-демократический, или разночинский, этап революционно-освободительного движения. Казалось бы, какое дело генеральской дочери, которой была уготована судьба многих девушек из богатых дворянских семей: замужество, обеспеченная жизнь в имении и в столице,— до вопросов, волновавших тогда передовое русское общество? Однако пытливый ум и наблюдательность, с детства отличавшие Ковалевскую, заставляли ее внимательно присматриваться к происходившему вокруг и выносить свои суждения о виденном. Огромную роль в формировании общественного сознания Ковалевской сыграла ее старшая сестра и близкий друг Анна Васильевва, будущая писательница и активная деятельница Парижской коммуны. Благодаря ей Софья Васильевна рано обратила внимание на социальные контрасты крепостного времени, на несправедливость человеческих отношений.

Живя в глухом провинциальном захолустье, удаленном от общественных и культурных центров, сестры Корвин-Круковские жадно прислушивались к тому, что происходило в мире.

Конечно, Ковалевская тогда была слишком молода (на семь

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспомивавия и нисьма, с. 405.

лет моложе сестры), чтобы усвоить сущность новых идей, однако постоянное общение и разговоры с Анной Васильевной, которую она называла своей «духовной мамой», заставили ее усомниться в прочности многих привычных представлений. Ей стали известны сомнения сестры в существовании бога, ее мысли о несовершенном устройстве жизни, о необходимости социальных преобразований. Все это в конечном итоге послужило основой для выработки у Ковалевской передового материалистического мировоззрения.

Родители не только не разделяли увлечения своих детей передовыми идеями, но и откровенно побаивались, как бы эти идеи не оказали на них дурного влияния. В семье, где раньше царили мир и согласие, постепенно стала складываться атмосфера непонимания и отчужденности. В «Воспоминаниях детства» Ковалевская писала: «В... промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-то вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!»— вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей отречься от детей».

Мысль порвать с родным гнездом, вырваться из тягостной обстановки усадебного существования и окунуться в иную, полную тревог и живого биения жизнь, где бы была возможность учиться, жить самостоятельным трудом, получить возможность самим определять свою судьбу — эта мысль все чаще и чаще стала возникать в сознании сестер Корвин-Круковских. Первую попытку сделала сестра Анна. Она написала повесть «Сон», которую тайком от родителей послала в журнал Ф. М. Достоевского «Эпоха». Повесть была напечатана. Отец, узнав, что его дочь стала писательницей, сначала возмутился, однако под влиянием матери разрешил Анне сначала переписываться с Ф. М. Достоевским, а несколько позднее и встречаться с ним. Познакомилась с великим писателем и Софья Васильевна. Как писал позднее М. М. Ковалевский, «раннее знакомство с Достоевским... немало содействовало развитию в ней литературного вкуса и любви к русской словесности»[1].

Вслед за старшей сестрой Софья тоже стала задумываться о своей будущей жизни. К тому времени она уже твердо решила

---

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. с. 389.

продолжить образование, но отец и слышать не хотел о том, чтобы его младшая дочь поступила в университет. Чтобы вырваться из-под опеки родителей, Софья Васильевна решилась вступить в фиктивный брак (позднее он стал фактическим) с Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, активным участником революционно-освободительного движения 1860-х годов, в недалеком будущем крупным ученым-палеонтологом. Осенью 1868 года вместе с мужем Ковалевская переехала в Петербург и сразу же оказалась в самой гуще политических событий. В. О. Ковалевский ввел ее в круг передовых людей того времени, среди которых было немало видных общественных деятелей, ученых, литераторов, таких, как И. И. Мечников, П. И. Боков, И. М. Сеченов, Н. А. Белоголовый и другие. В их среде свято хранились заветы недавно сосланного на каторгу Н. Г. Чернышевского, с семьей которого Ковалевская вскоре познакомилась. Общение с этими людьми оставило неизгладимый след в сознании Софьи Васильевны и в немалой степени способствовало формированию ее общественно-политических взглядов. Вместе со своими новыми друзьями она почувствовала себя участницей великой созидательной работы, направленной на преобразование общества. Много лет спустя Ковалевская рассказывала своему другу, шведской писательнице А.-Ш. Леффлер: «Мы так сильно увлекались новыми идеями, открывавшимися перед нами, мы так глубоко были убеждены, что существующее состояние общества не может долго продлиться, мы уже видели в недалеком будущем наступление нового времени, времени свободы и всеобщего просвещения, мы мечтали об этом времени, мы были глубоко убеждены, что оно скоро наступит! И нам была невероятно приятна мысль, что уже мы живем одною общей жизнью с этим временем»[1].

В Петербурге у Ковалевской созрело окончательное решение посвятить себя науке. Она слушает в университете лекции по биологии, физиологии и анатомии. Однако вскоре она поняла, что истинным ее призванием является математика. Сдав экзамены на аттестат зрелости, Софья Васильевна снова стала брать уроки у А. Н. Страннолюбского, а весной 1869 года вместе с мужем и сестрой Анной уехала за границу. В течение пяти лет сначала в Гейдельберге, а затем в Берлине она усиленно занималась математикой. Большую роль в судьбе Софьи Васильевны сыграл выдающийся немецкий математик К. Вейерштрасс, который стал для нее не только научным руководителем, но и преданным другом.

[1] Цит. по кн.: Леффлер А.-Ш. Софья Ковалевская. Воспоминания. Спб, 1893, с. 81—82.

Эти годы были временем напряженного, порой изнурительного труда, результатом которого явился ряд исследований, обобщенных в диссертации «К теории дифференциальных уравнений в частных производных». В июле 1874 года Геттингенский университет присудил Ковалевской степень доктора философии, математических наук и магистра изящных наук.

Важным эпизодом в жизни Ковалевской стало ее активное участие в Парижской коммуне. Преодолевая невероятные трудности, Софья Васильевна с мужем пробралась в осажденный версальцами Париж, где в это время находилась ее сестра Анна, принимавшая самое непосредственное участие в революционных событиях. Вместе с сестрой Ковалевская ухаживала за ранеными коммунарами. Полагая, что положение Коммуны довольно прочно, Ковалевские 12 мая 1871 года покинули Париж. Но спустя две недели они получили известие о разгроме коммунаров и о том, что Анне Васильевне и ее мужу Виктору Жаклару, который был членом правительства Коммуны, грозит смертельная опасность. Ковалевские немедленно вернулись во Францию спасать своих близких. Им пришлось предпринять немало усилий, чтобы помочь избежать ареста Анне Васильевне, а потом организовать побег из тюрьмы Виктора Жаклара.

В сентябре 1874 года Ковалевские вернулись в Петербург. Софья Васильевна мечтала преподавать в университете, но об этом не приходилось даже и помышлять. Единственно на что она могла рассчитывать в условиях царской России,— это на место учительницы арифметики в младших классах женской гимназии. Не нашлось места в университете и В. О. Ковалевскому, хотя он к тому времени защитил магистерскую диссертацию. Правительство было хорошо информировано о его активном участии в революционном движении 60-х годов. Ковалевские оказались в очень стесненном материальном положении, и супругам пришлось заняться переводами. Они предприняли перевод и издание «Жизни животных» Брема, однако предполагаемых доходов не получили. Попытка В. О. Ковалевского заняться предпринимательской деятельностью также не увенчалась успехом. Нужно было искать какой-нибудь постоянный заработок и на время отложить систематические занятия наукой. В это время редактор газеты «Новое время» А. С. Суворин предложил супругам Ковалевским сотрудничество в его издании. «Новое время» тогда еще пользовалось репутацией радикальной газеты. В ней печатались Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие известные русские писатели. Предложение Суворина Ковалевские приняли. Софья Васильевна стала писать статьи и рецензии, в которых рассказывала русским читателям о новых открытиях в самых раз-

личных областях науки и техники (об исследованиях Л. Пастера, оптических приборах, телефоне и пр.), рецензировала новые постановки Михайловского театра и т. д.

После многих лет углубленных научных изысканий и затворнической жизни Софья Васильевна с головой окунулась в петербургскую жизнь. Она никогда не была только кабинетным ученым. Ей всегда были присущи и живой интерес ко всему, что происходило вокруг, и жажда активной общественной деятельности. Ковалевская посещает театры, выставки, литературные салоны, заседания различных научных и благотворительных обществ, принимает участие в спорах и дискуссиях по самым различным вопросам. В это время Софья Васильевна подружилась с И. С. Тургеневым, возобновила знакомство с Ф. М. Достоевским, с которым поддерживала самые теплые и дружеские отношения до самой смерти писателя. Ее живо интересует развитие революционных событий в стране. Она горячо сочувствовала знаменитому «хождению в народ», присутствовала на политических процессах, возбужденных царским правительством против революционеров-народников, принимала деятельное участие в оказании помощи политическим заключенным и их семьям: собирала деньги по подписным листам, хлопотала у адвокатов о предоставлении свиданий с заключенными и т. д.

Однако Ковалевскую не оставляла мысль снова вернуться к научной деятельности. Переехав с мужем в Москву, Софья Васильевна попыталась получить разрешение сдать магистерский экзамен, который, как она полагала, помог бы ей получить место преподавателя в университете. Однако министр народного просвещения А. А. Сабуров отказал Ковалевской, заметив, что она и ее дочь «успеют состариться, прежде чем женщины будут допущены к университету»[1].

Тяжело и мучительно переживала Софья Васильевна отказ. Ее душевные страдания обостряли еще и трудно складывавшиеся семейные отношения. Владимир Онуфриевич и Софья Васильевна были по натуре очень разными людьми, и это в конце концов послужило причиной их разрыва.

Весной 1881 года Ковалевская снова уехала за границу, восстановила прежние на время прерванные научные связи и с головой окунулась в исследовательскую работу. При этом она продолжала следить за политической жизнью в России и в Западной Европе, интересоваться проблемами, связанными с социальными преобразованиями общества. Ее нередко охватывали сомнения: а правильно ли она избрала свой путь в жизни, не лучше ли

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 251.

вместо занятий абстрактной наукой посвятить себя практической революционной работе? В письме к видному деятелю немецкой социал-демократии Г. Фольмару она признавалась: «Задачи теоретического социализма и размышления о способах практической борьбы теснятся передо мною столь неотразимо, так занимают меня постоянно, что я действительно с трудом только могу принудить себя сосредоточить мои мысли на моей собственной работе, так далеко стоящей от жизни.

Нередко даже мною овладевает мучительное чувство, что то, чему я отдаю все мои помыслы и способности, может представлять некоторый интерес только для очень небольшого числа людей, тогда как теперь каждый обязан посвятить свои лучшие силы делу большинства. Когда мною овладевают подобные мысли и сомнения, я весьма склонна завидовать тем, кто уже так захвачен практической деятельностью, что им не остается больше никакого выбора и никакой возможности самостоятельного решения, ибо вся их деятельность строго предписывается обстоятельствами и требованиями их партии»[1].

Трудным оказался для Ковалевской 1883 год. Втянутый в финансовые махинации одним нефтепромышленником и обвиненный им в нечестности, покончил с собой В. О. Ковалевский. И Софье Васильевне пришлось много потрудиться, чтобы восстановить доброе имя мужа.

Тяжелое впечатление произвела на нее гнетущая обстановка на родине, где после убийства народовольцами 1 марта 1881 года Александра II наступила пора глухой реакции. Возвратившись из России, она с горечью писала известному русскому революционеру-народнику П. Л. Лаврову: «Общее впечатление родины на меня было далеко не отрадное — апатия, общее недоверие и у всех одно откровенное желание, чтобы их оставили в покое.

Я не могла даже разузнать в России, точно ли Чернышевского вернули и в каком он находится положении. Никому и в голову не приходит серьезно интересоваться этим. «Вернули — ну пусть вернули; здоров он или сошел с ума — это не наше дело!» Да, впрочем, пожалуй, если бы общество отнеслось иначе, то его бы, беднягу, и еще подальше услали»[2].

Еще в конце 1882 года известный шведский математик Г. Миттаг-Леффлер начал вести с Ковалевской переговоры о возможности привлечения ее к работе на кафедре математики Стокгольмского университета. Но только в конце следующего года Ковалевской было предоставлено сначала место приват-доцента, а летом 1884 года она была назначена ординарным профессором.

[1] Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 260—261.
[2] Там же, с. 274—275.

Живя вдали от родины, Ковалевская постоянно чувствовала свою сопричастность ко всем событиям общественной и политической жизни России, стремилась быть в курсе всего, что происходило в ее родной стране, переписывалась с русскими и польскими революционерами, читала нелегальные революционные издания. Одновременно Ковалевская внимательно присматривалась к новой обстановке, которая окружала ее в Швеции, стране, открывшей ей путь на университетскую кафедру. В Стокгольме, где поселилась Софья Васильевна, многое ей показалось необычным, существенно отличающимся от того, с чем ей приходилось сталкиваться на родине. Здесь открыто обсуждались вопросы, связанные с теоретическими положениями социализма, равноправием женщин и т. п. И в то же время она не могла не видеть довольно индифферентного отношения большинства шведов к проблемам социального переустройства общества на справедливых началах, их известного консерватизма во многих вопросах общественной и семейной жизни. Порой у Ковалевской возникало страстное желание пробудить в них общественное самосознание, заставить их оглянуться вокруг, подумать о происходящих в мире социальных потрясениях. Ее поразила, например, крайняя неосведомленность шведской публики о революционных событиях, происходивших и происходящих в России, и ей пришла в голову мысль, как она писала П. Л. Лаврову, «распространять здесь всеми способами сочувствие к нигилизму»[1], имея в виду русское социально-революционное движение.

Ковалевская познакомилась со многими известными скандинавскими деятелями науки, литературы и искусства. Среди ее новых знакомых были шведский исследователь Арктики Н. А. Э. Норденшельд, норвежский путешественник Ф. Нансен, датский критик Г. Брандес, норвежский драматург Г. Ибсен, шведский писатель А. Стриндберг и многие другие. Особенно подружилась она со шведской писательницей А.-Ш. Леффлер. Ковалевская становится желанным гостем во многих кружках и салонах шведской столицы, где ее за блестящий ум и умение вести беседы на самые различные темы называли «Микеланджело разговора». «Без малейшего желания учить или первенствовать,— вспоминала ее друг Эллен Кэй,— она делалась всегда центром, вокруг которого собирались заинтересованные слушатели. Своей безыскусственною простотою и сердечностью она делала людей общительными; умела слушать, хотя это ей редко приходилось, охотнее слушали, как она сама говорила, а еще более рассказывала»[2].

[1] Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 274.
[2] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. с. 410.

Окружающих поражали широкий круг интересов Ковалевской, ее глубокая осведомленность во многих отраслях знаний. И это не удивительно. Софья Васильевна считала своим долгом быть всегда в курсе всего нового, что появлялось в области математики, физики, механики, астрономии. Она систематически читала научные журналы на русском, немецком, французском, английском и шведском языках. Помимо этого Ковалевская вела интенсивную переписку со многими русскими и европейскими учеными, делилась с ними планами и результатами своих научных изысканий и в свою очередь интересовалась их работой. Находила время она и для того, чтобы следить за развитием современной литературы. Та же Эллен Кэй писала, что Ковалевская «читала все выдающееся в старой и новой изящной литературе своего Отечества, Германии, Англии и Франции. Новейшую скандинавскую литературу она лучше знала, чем иные шведы»[1].

В первые годы своей жизни в Швеции Софья Васильевна главное внимание уделяла работе в университете. В одном из писем она признавалась: «В настоящее время я очень занята и совершенно поглощена заботой об упрочении моего положения в университете, чтобы открыть таким образом этот путь для женщин»[2]. Свою преподавательскую работу в университете Ковалевская рассматривала как определенный этап в борьбе за право женщин заниматься научной и общественной деятельностью. С этой борьбой была связана вся ее сознательная жизнь. Так было в России, где Ковалевская содействовала созданию высших женских курсов, так было и в Швеции, где Софья Васильевна принимала самое активное участие в обсуждении вопросов о положении женщины в обществе.

Много лет прожив за границей, Ковалевская тем не менее никогда не забывала о своей родине, никогда не переставала чувствовать себя русским человеком. Жизнь вдали от родной страны тяготила Ковалевскую. Она обостренно чувствовала свою оторванность от России, страдала от одиночества, от невозможности общаться с русскими людьми. «Достаточно было несколько встреч,— писал близко знавший Софью Васильевну М. М. Ковалевский,— чтобы убедиться, как одиноко чувствовала себя эта женщина на чужбине, как все русское было близко ее сердцу и как она чувствовала себя отрезанной, если не от всего мира, то по крайней мере от России...»[3]

---

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 411.
[2] Там же, с. 276.
[3] Там же, с. 395.

Особенно мучило Ковалевскую то, что ей не с кем было поговорить на родном языке. «Я не могу передать вам по-шведски самых тонких оттенков моих мыслей,— говорила она А.-Ш. Леффлер,— я принуждена всегда или довольствоваться первым попавшимся мне на ум словом, или говорить обиняками, и поэтому всякий раз, когда возвращаюсь в Россию, мне кажется, что я вернулась из тюрьмы, где держали связанными взаперти мои лучшие мысли»[1].

Вторая половина 80-х годов стала подлинным научным триумфом для Ковалевской. Парижская академия наук присудила ей за работу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки высшую награду — премию Бордена, а Академия наук Швеции — премию короля Оскара II. Не могли оставить без внимания выдающиеся научные открытия Ковалевской и в России. В 1889 году она была избрана членом-корреспондентом Российской академии по разряду математических наук.

Несмотря на огромную занятость научной и преподавательской работой, Софья Васильевна в эти годы, как никогда раньше, проявляет интерес к литературному творчеству. У нее возникает множество самых различных замыслов, среди которых были планы серьезных философских работ, романов, повестей. Вместе со своим другом А.-Ш. Леффлер она задумала и написала драму «Борьба за жизнь». План произведения, главные сюжетные линии, характеры большинства героев были продуманы Софьей Васильевной. Она же принимала непосредственное участие в создании текста драмы, который в основном был написан Леффлер.

В драме «Борьба за жизнь» много наивно-утопических рассуждений, но в ней отчетливо выражен интерес Ковалевской к политическим вопросам, ее стремление решить острые социальные проблемы окружающей жизни. В частности, нельзя не обратить внимания на попытку авторов пьесы высказать свои суждения по такому актуальному вопросу, как вопрос о положении рабочего класса. И хотя проблема взаимоотношений трудящихся и хозяев раскрыта в драме неглубоко, социальные конфликты едва намечены, тем не менее мысль о необходимости изменения существующих условий, о непременной обязанности всех честных людей включиться в борьбу не только за личное счастье, но и за счастье всех угнетенных и эксплуатируемых лишний раз свидетельствует о демократизме мировоззрения Ковалевской.

Ковалевскую всегда отличало не только постоянное стремление быть в курсе всех событий своего времени, но и желание

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 424.

непосредственно откликнуться на них. Так, вернувшись после путешествия по Швеции, во время которого она вместе с А. Ш. Леффлер посетила высшую народную школу в Телемаркене, Ковалевская написала очерк «Три дня в крестьянском университете в Швеции», в котором с живой заинтересованностью рассказала о постановке образования среди шведских крестьян.

Однажды ей довелось побывать в нескольких парижских больницах. Свои впечатления она изложила в двух остроумно и увлеченно написанных очерках: «В больнице «La Salpêtriere» и «В больнице «La Charité», где высказала немало остро критических суждений по поводу лечения душевнобольных.

Но с особой силой публицистический талант Ковалевской проявился в очерке-некрологе «М. Е. Салтыков (Щедрин)», написанном по просьбе П. Л. Лаврова и эмигранта-шестидесятника Е. В. де Роберти. Смерть великого русского писателя Ковалевская восприняла как большое личное горе. Его произведения всегда волновали ее, в них она видела образец гражданского служения родине. В своей статье Ковалевская хотела познакомить зарубежных читателей с личностью и творчеством великого писателя-сатирика, показать его историческое значение и любовь передовых русских людей к художнику, умевшему через препоны царской цензуры донести до широкого читательского круга живое и неподкупное слово правды и выразить свое страстное негодование и ненависть к угнетателям. «Его имя, — писала Ковалевская, — останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли».

Ковзлевская давно собиралась написать произведения о революционном движении в России. Она вспомнила недавнее прошлое, когда ей довелось присутствовать на судебных процессах 50-ти и 193-х над революционерами-народниками, вина которых заключалась в том, что они «ходили в народ» и вели среди народных масс социалистическую пропаганду. Среди обвиняемых было немало друзей и даже родственников Ковалевской, в частности ее двоюродная сестра Н. А. Армфельд, которая ради революционной деятельности оставила занятия наукой. Вот об этих людях, во имя служения народу порвавших с родными и отказавшихся от привычного уклада жизни, Ковалевская и решила рассказать в своей повести «Нигилистка».

В этом произведении отражены реальные события. Во время процесса 193-х Ковалевская приняла самое живое участие в судьбе племянницы жены А. С. Пушкина Веры Сергеевны Гончаровой, решившей выйти замуж за одного из обвиняемых — Павловского.

С помощью Ф. М. Достоевского и А. Ф. Кони ей удалось получить разрешение на этот брак. Этот случай и лег в основу сюжета повести «Нигилистка». Однако, пользуясь правом писателя на художественный домысел, она свободно распорядилась многими фактами: сдвинула временные рамки, обобщила некоторые события. Так, в повести речь идет о никогда не существовавшем процессе 75-ти, в котором Ковалевская суммировала свои впечатления от процессов 50-ти и 193-х, В. С. Гончарова превратилась в Веру Баранцову, Павловский — в Павленкова, деятеля, весьма далекого от своего реального прототипа, и т. д.

В центре повести — история Веры Баранцовой, девушки, выросшей в богатой и родовитой дворянской семье. Наделенная острым и наблюдательным умом, добрым и отзывчивым сердцем, она рано начинает задумываться над происходящим вокруг. Ее тяготит пустая и бессодержательная жизнь, которую ведут ее родители и сестры. Она испытывает недовольство собой, у нее возникают вопросы, на которые она не может найти ответа. Должно было произойти какое-то событие, которое помогло бы Вере найти себя, понять то, что происходило в окружающей ее жизни. Таким событием явилась крестьянская реформа 1861 года. Вера становится свидетельницей разговоров, которые ведут ее родители и навещающие их соседи о предстоящей «эмансипации». Под влиянием общения с соседом по имению Васильцевым в сознании Веры происходит глубокий перелом. Эта встреча перевернула всю ее жизнь. Она начинает понимать, что где-то есть иная жизнь, жизнь, освященная идеями борьбы за социальную справедливость.

Так начался путь Веры Баранцовой к «нигилизму». Путь этот шел через общение с народом, через увлечение идеями религиозного самопожертвования во имя счастья людей, через приобщение героини повести к передовым веяниям времени, через тяжелую личную драму (ее возлюбленный Васильцев, осужденный за революционную деятельность, умер в ссылке). Отныне девизом жизни Веры становится идея служения народу, ее жизненной программой — поиски настоящего дела, страстное желание стать полезной, что, по ее мнению, означало «работать лично над разрушением деспотизма и тирании или поддерживать тех, кто работает в этом направлении».

Рассказывая историю жизни своей героини, Ковалевская отнюдь не собиралась изобразить какую-то исключительную личность. Вера Баранцова — обыкновенный человек, одна из многочисленных представительниц передовой молодежи, принимавших участие в революционном движении 1860—1870-х годов. Случаи, когда ради спасения политических «преступников» от суровой кары девушки вступали с ними в фиктивный брак (в повести

Вера выходит замуж за революционера Павленкова с целью облегчить его участь), были в то время явлением довольно распространенным. Поэтому не прав В. Путинцев, утверждающий, что создавая характер Веры Баранцовой, Ковалевская «лишила образ его реального исторического содержания»[1]. Образ главной героини повести «Нигилистка» является глубоко типическим, отразившим наиболее характерные черты значительной группы молодых людей, жадно искавших настоящего дела и стремившихся внести свой посильный вклад в борьбу против самодержавного деспотизма.

Интересной особенностью повести было то, что в ней достаточно полно отразилась личность самой Ковалевской. Это проявилось не только в том, что автор ведет повествование от первого лица и вводит в произведения многие факты своей жизни в Петербурге после возвращения из-за границы, а также говорит о своих мыслях и настроениях. Рассказывая историю становления личности Веры Баранцовой, Ковалевская, вне всякого сомнения, опиралась на детские и отроческие воспоминания, воспроизводила собственные раздумья и искания. Многие высказывания и суждения героини повести — это не что иное, как своеобразная исповедь самой Софьи Васильевны. Поэтому повесть «Нигилистка» можно рассматривать не только как художественное произведение, но и как живое мемуарное свидетельство, как воспоминания Ковалевской о пережитом и передуманном. Ее произведение явилось своеобразным историческим документом, отразившим сложный путь исканий и становления человека, выросшего в дворянской среде, но чуждого своему классу и порвавшего с ним, человека, в сознании которого постепенно вызревает мысль о необходимости самоотверженного служения общественным идеалам.

Повесть «Нигилистка» свидетельствовала о стремлении Ковалевской не только осветить политическую борьбу своего времени и рассказать о политических процессах над так называемыми «нигилистами», но и самой глубже понять сущность происходящих событий.

Повесть «Нигилистка» создавалась в эпоху, когда движение революционного народничества переживало глубокий кризис, когда в России наступила пора глухой реакции. Освещая события недавнего прошлого, Ковалевская попыталась воскресить в памяти читателей эпоху мощного революционного подъема 1870-х годов. Ей хотелось рассказать правду о самоотверженной борьбе

[1] Путинцев В. Литературное наследие Софьи Ковалевской.— В кн.: Софья Ковалевская. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1960, с. 13.

русских революционеров против самодержавия, показать их высокие нравственные качества, бескорыстное служение идеалам добра и справедливости.

Повесть Ковалевской нельзя рассматривать изолированно от общего развития передовой демократической русской литературы середины XIX века. Она теснейшим образом связана с произведениями о «новых людях», среди которых почетное место занимают знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и повесть В. А. Слепцова «Трудное время», созданные в 1860-х годах, а также с произведениями, написанными почти одновременно с повестью Ковалевской. Это романы С. М. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» и П. В. Засодимского «По градам и весям», повести А. О. Осиповича-Новодворского «История», В. И. Дмитриевой «Доброволец» и др. Среди них повесть «Нигилистка» занимает почетное место как яркий художественный документ о героическом периоде русского революционно-освободительного движения.

Повесть Ковалевской была опубликована за границей в 1892 году, уже после смерти автора, сначала на шведском, а затем на русском языке. В России переиздание повести было запрещено даже в переводе на иностранные языки. В 1896 году цензор гр. А. Муравьев писал о «Нигилистке»: «Роман этот испещрен многочисленными местами, в которых рисуются в ужасающих красках участь политических преступников и жестокость в отношении их нашего правительства, а главное — высказываются симпатии нигилистическому движению 60—70-х годов»[1].

Вскоре после окончания работы над повестью «Нигилистка» у Ковалевской возник замысел нового произведения. «Теперь заканчиваю еще одну новеллу,— писала она М. В. Мендельсон 7 октября 1890 года.— ...Путеводною нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы филистеры читали ее с волнением и интересом»[2]. Говоря о филистерах, Ковалевская имела в виду равнодушных обывателей, чуждых общественным интересам.

Долгое время повесть о Чернышевском, которую автор намеревалась назвать «Нигилист», считалась утраченной. И лишь сравнительно недавно она была обнаружена писательницей О. Воронцовой в архиве Академии наук СССР, где хранятся бумаги и рукописи С. В. Ковалевской.

Точно так же как и при работе над повестью «Нигилистка»,

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 534.

[2] Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 308.

Ковалевская в новом своем произведении не ставила задачу документально точного воспроизведения событий. Она стремилась прежде всего передать обстановку, в какой жили ее герои, показать круг их интересов, их взгляды на важнейшие общественные события. С глубокой любовью в повести обрисован образ Михаила Гавриловича Чернова, в котором без труда угадываются черты великого революционера-демократа Н. Г. Чернышевского. В его характере Ковалевскую привлекает прежде всего глубокий ум, убежденность в правоте своих взглядов, умение увлечь и зажечь окружающих его людей не красноречием, а логикой мысли, точной аргументацией. «Вообще в те редкие случаи, когда Михаил Гаврилович вступал в разговор,— писала Ковалевская,— он тотчас овладевал всей беседой и подчинял себе всех слушателей».

В повести достаточно точно воспроизведена идейная атмосфера, царившая в кругу революционных демократов, группировавшихся вокруг журнала «Современник», и та роль, которую там играл Чернышевский. Ковалевской удалось создать яркие характеры друзей и единомышленников вождя русских революционеров: его жены Ольги Сократовны (в повести Мария Павловна Чернова), писателя-демократа Василия Алексеевича Слепцова (в повести Степан Александрович Слепцов), первых русских студенток Сусловой, Корсиии (в повести Корали), Яковлевой и др.

Большое место в повести уделено обсуждению новой, только что вышедшей книжки журнала «Современник». В данном случае речь шла не о каком-то определенном, конкретном, а об обобщенном номере, в который Ковалевская включила наиболее характерные, с ее точки зрения, материалы, раскрывающие основное направление «Современника». Особый интерес представляет характеристика статьи Чернова «Логика истории», содержание которой стало предметом обсуждения редакционного кружка. Статьи с таким названием у Чернышевского нет, но в ней отчетливо прослеживаются мысли, изложенные великим демократом в работах «Труден ли выкуп земли», «Материалы для решения крестьянского вопроса» и «Письма без адреса»[1].

Сама Ковалевская не была свидетелем того, о чем рассказывается в повести. Она принадлежала уже к следующему поколению демократически настроенных кругов русского общества. Но Ковалевская хорошо знала людей из ближайшего окружения

---

[1] Подробнее об этом см. в статье М. В. Нечкиной «Софья Ковалевская и Н. Г. Чернышевский».— В сб.: Встреча двух поколений. М., Наука, 1980, с. 544—547.

Чернышевского. Это и позволило ей создать глубоко волнующее произведение об одном из интереснейших периодов русского освободительного движения.

Повесть «Нигилист» осталась незавершенной. С содержанием ненаписанных частей произведения Ковалевская незадолго до своей смерти познакомила Эллен Кей: «Чернышевский из своей неизвестности стал внезапно знаменит в кругах молодежи, благодаря своему социальному революционному роману «Что делать?». На веселой пирушке его приветствовали как надежду и вождя молодежи. Он вернулся в свою маленькую мансарду, где живет со своей красивой молодой женой. Она спит, когда он возвращается домой. Он подходит к окну и смотрит вниз на спящий Петербург, где еще мерцают огни. Он про себя говорит с громадным, ужасным городом, который еще является приютом насилия, бедности, несправедливости и угнетения, но он завоюет его; он вольет в него свой дух; постепенно все начнут думать его мыслями, как это делала молодежь. Ему особенно вспомнилась молодая одухотворенная девушка, которая с горячей симпатией отнеслась к нему, он начал мечтать, но отрывается от мечтаний и идет поцеловать свою жену, чтобы таким образом разбудить ее и сообщить ей о своем триумфе, и в этот момент раздается резкий стук в дверь. Он открывает — и оказывается перед жандармами, которые пришли арестовать его»[1].

В этом рассказе видны явные несоответствия как с содержанием повести «Нигилист», так и с действительными фактами (например, Чернышевский был арестован не ночью, а днем 7 июля 1862 года, его роман «Что делать?» был написан после ареста, в Петропавловской крепости, и т. п.). Вполне возможно, что Эллен Кей не совсем точно изложила то, о чем ей говорила Ковалевская. А может быть, Софья Васильевна сознательно решила изменить реальные факты и именно таким образом построить сюжет своего произведения. Это в конце концов не столь важно. Главное, что как в написанных главах повести, так и в ее замысле Ковалевская стремилась передать основную суть происходивших событий и правдиво нарисовать образы революционеров. И это ей удалось.

Но самым значительным произведением Ковалевской, вне всякого сомнения, являются ее «Воспоминания детства», опубликованные сначала в 1889 году на шведском, а в следующем году на русском языке.

«Воспоминания детства» — это не просто мемуарное, а, преж-

---

[1] Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., Наука, 1974, с. 522.

де всего, высокохудожественное произведение, написанное в лучших традициях русской автобиографической прозы, в чем-то близкое «Детству» и «Отрочеству» Л. Н. Толстого и «Детским годам Багрова-внука» С. Т. Аксакова.

«Воспоминания» — это живой, непосредственный рассказ Ковалевской о своем детстве, о своих первых жизненных впечатлениях. Перед читателем проходят тонко и поэтически написанные картины жизни богатой дворянской усадьбы, быт и нравы ее обитателей, обстановка, в которой воспитывались сестры Корвин-Круковские.

Однако в центре внимания автора «Воспоминаний» находятся не бытовые зарисовки. Она стремится раскрыть процесс формирования личности ребенка, выросшего в дворянской среде, хочет понять и осмыслить те события, которые оказали влияние на становление его характера. И в этом отношении «Воспоминания детства», на наш взгляд, несомненно перекликаются с первыми главами «Былого и дум» А. И. Герцена, с которыми Ковалевская наверняка была знакома.

Окружающая жизнь первоначально представлялась маленькой Соне счастливой и безмятежной, лишь наредка омрачаемой детскими обидами и огорчениями. Но постепенно стал расширяться круг наблюдений маленькой героини «Воспоминаний», которая начинает замечать, что вокруг далеко не все так тихо и мирно, как ей представлялось сначала. Девочка становится невольной свидетельницей сцен крепостного быта, в поле ее зрения стали попадать фигуры запуганных и забитых дворовых крестьян, все чаще слышит она рассказы об острых классовых столкновениях между крепостными и их господами. Все это рождало в сознании ребенка мучительные вопросы о неустроенности жизни и о несправедливости человеческих отношений.

А потом наступило время, когда Соне стало ясно, что привычный уклад жизни, казавшийся ей вечным и незыблемым, постепенно разрушается. Она чутко уловила симптомы, свидетельствовавшие о непрочности помещичьего патриархального быта, который ее окружал. Ковалевская писала: «Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились, ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться

под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду».

Бурный вихрь новых событий захватил сестер Корвин-Круковских и в первую очередь старшую из них — Анюту, образ которой с глубокой любовью и нежностью обрисовал Ковалевской. Автору «Воспоминаний» удалось показать, как складывался характер ее старшей сестры, прошедшей сложный путь поисков своего места в жизни, путь, который в конце концов привел ее в ряды защитников Парижской коммуны. Свою сестру Ковалевская обожала и относилась к ней в детстве с чувством восторженного благоговения. Разница в возрасте только вначале служила определенной преградой для их сближения. Но очень скоро Соня стала ближайшей поверенной во всех делах Анюты и самым близким ее другом. Отныне они вместе мечтают о своем будущем, страстно желают посвятить себя борьбе за счастье и свободу.

В «Воспоминаниях детства» нарисованы выразительные портреты родителей, людей по-своему интересных, но занятых своей жизнью и мало уделявших внимания детям. Тепло и задушевно рассказала Ковалевская о дяде Петре Васильевиче, ставшем для нее близким и очень дорогим человеком. Как ни в одном другом произведении, в «Воспоминаниях» проявилось умение автора не только передать свои впечатления об увиденном, но и стремление осмыслить, понять окружающих ее людей, найти объяснение причин совершаемых ими поступков. В произведении Ковалевской нельзя не почувствовать глубокого сочувствия и сострадания автора к простым людям, с которыми ей довелось столкнуться. Проникновенно написаны страницы «Воспоминаний», посвященные няне, бедной девочке Феклуше, несправедливо обвиненной в воровстве, несчастной портнихе Марье Васильевне и другим.

Особое место занимают в книге Ковалевской главы, в которых рассказывается о знакомстве и встречах сестер Корвин-Круковских с Ф. М. Достоевским. Автору удалось уловить и запечатлеть многие характерные черты облика великого писателя, тонко подметить особенности его страстного и в то же время скрытно-сдержанного характера. Психологически достоверно рассказала Ковалевская о своей детской влюбленности в Достоевского и о том глубоком впечатлении, которое оставило в ее сознании общение с ним.

В «Воспоминаниях детства» с наибольшей полнотой проявились особенности писательского мастерства Ковалевской, для которого характерны были тонкая наблюдательность, глубокий психологический анализ чувств и переживаний героев, умение раскрывать их в диалектическом развитии, стремление автора разобрать-

ся в мотивах своих собственных поступков, критически взглянуть на себя со стороны. Манеру повествования Ковалевской отличает сдержанность и одновременно внутренняя взволнованность, которая захватывает читателя, погружает его в атмосферу описываемых событий, заставляет его проникнуться глубоким сочувствием к нравственным исканиям маленькой героини «Воспоминаний».

В «Воспоминаниях детства» нашла отражение еще одна черта писательского дарования Ковалевской, которую А.-Ш. Леффлер назвала «замечательной прозорливостью». Шведская писательница отмечала: «Одного отдельного слова, одного, по-видимому, совершенно незначительного эпизода, встреченного ею в жизни, было иногда достаточно для того, чтобы открыть ей связь между причиною и следствием и осветить перед нею историю всей жизни. Она во всем искала связи, связи в мире мыслей, связи между событиями жизни, да она пробовала даже отыскать связь между законами мышления и явлениями жизни...[1]

«Воспоминания детства» были восприняты с большим интересом и сочувствием как в России, так и за рубежом. Ковалевскую особенно тронули письма от совершенно незнакомых русских женщин, которые «настоятельно требовали» продолжения ее воспоминаний. «Эти письма,— сообщала она А. Н. Пыпину, одному из редакторов журнала «Вестник Европы», где были опубликованы «Воспоминания детства»,— очень порадовали и действительно убедили меня приняться за продолжение: хочу описать еще по крайней мере годы ученья. Всякую свободную минутку я посвящаю теперь этому делу и если «В<естник> Е<вропы>» пожелает поместить продолжение моих мемуаров, то я, вероятно, смогу доставить их к январю»[2].

Ковалевская действительно работала над продолжением своего произведения, о чем свидетельствуют главы, не вошедшие в основное издание «Воспоминаний детства», большинство из которых были обнаружены в архиве писательницы и опубликованы только в наше время.

Особое место в творчестве Ковалевской занимают стихи. Интерес к поэзии у нее возник очень рано. В «Воспоминаниях детства» она писала: «Я страстно любила поэзию. Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи». Свои поэтические произведения Ковалевская не предназначала для печати.

---

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 456.
[2] Там же, с. 307.

Стихи служили ей средством для непосредственного выражения чувств и настроений, которыми она хотела поделиться с близкими людьми. Но иной раз в стихотворениях отражались ее самые сокровенные думы: мысли об общественном долге, размышления о неразделенной любви, о чувстве одиночества, которое ее порой охватывало, воспоминания о светлых и грустных минутах жизни.

Стихи Ковалевской помогают лучше понять сложную и многогранную натуру женщины нелегкой судьбы, часто недовольной собой, мечтающей о счастье, о жизни, освещенной высокими идеалами.

Ковалевская оставила после себя довольно значительное литературное наследие. Помимо законченных произведений, в ее бумагах сохранилось немало всякого рода отрывков, набросков, свидетельствовавших о многочисленных замыслах, которые она намеревалась воплотить в самых различных формах: романах, повестях, очерках и т. п. Известно также, что еще в 1877 году Софья Васильевна опубликовала на немецком языке в одном из зарубежных изданий повесть «Приват-доцент», которую она сама называла своим «первенцем» и, по свидетельству А.-Ш. Леффлер, собиралась вернуться к ней и вновь «серьезно обработать этот сюжет»[1]. Однако эту повесть пока разыскать не удалось.

Среди незавершенных произведений несомненный интерес представляют отрывок из романа, действие которого происходит на Ривьере и где в образе Званцева Софья Васильевна запечатлела черты своего близкого друга профессора Максима Максимовича Ковалевского, а также вступление и фрагмент первой главы романа «Vae victis» («Горе побежденным»).

В предисловии ко второму шведскому изданию литературных произведений Ковалевской Эллен Кей отмечала, что Софья Васильевна намеревалась показать в «Vae victis» «бурный весенний взрыв молодой России наряду с историей любви отдельных лиц»[2].

К сожалению, роман этот, как и другие задуманные произведения, не был написан. 10 февраля 1891 года Софья Васильевна Ковалевская скончалась от воспаления легких.

Что же все-таки было главным в жизни С. В. Ковалевской — наука или литература? На этот вопрос трудно ответить однознач-

---

[1] Цит. по кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 443.
[2] Там же, с. 524.

но. Иной раз свои занятия литературным творчеством Софья Васильевна иронически называла «каникулярным времяпрепровождением». Однако в данном случае она была не до конца искренней. Писать для нее было столь же необходимым делом, как и заниматься математикой. Отвечая на вопрос, как же ей удается совмещать в себе интерес к столь разным областям — литературе и отвлеченной науке,— Ковалевская писала: «Я понимаю, что вас так удивляет, что я могу заниматься зараз и литературой и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикой и считают ее наукой сухой и aride[1]. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен что-то сочинять несуществующее, что фантазия и вымысел — это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

Что до меня касается, то я всю мою жизнь не могла решить: к чему у меня больше склонности — к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и, наоборот, в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно»[2].

Ковалевская прожила короткую, но яркую жизнь. Многое ей довелось пережить: научную славу и литературное признание, сомнения и неуверенность, недовольство собой и одиночество. Но, как писала А.-Ш. Леффлер: «Коротка или продолжительна жизнь — это вопрос второстепенный; вся суть в том, насколько она богата содержанием — для себя и других. А при такой точке зрения жизнь Ковалевской длиннее жизни большинства людей. Она жила ускоренной жизнью, пила полною чашей из источника счастья и из источника горя»[3].

Почти сто лет отделяет нас от того времени, когда в самом расцвете творческих сил оборвалась жизнь Софьи Ковалевской.

[1] бесплодной *(фр.)*.
[2] Ковалевская С. В. Воспоминания и письма, с. 311.
[3] Там же, с. 455.

Но ее научное и литературное наследие не утратило своего исторического значения до наших дней. Исследования Ковалевской в области математики обогатили мировую науку, ее художественные произведения, отразившие бурную эпоху 60—70-х годов XIX века, явились яркой страницей в истории русской демократической литературы. Советские люди с чувством глубокого уважения и любовью чтят великую дочь русского народа, выдающегося ученого, активного общественного деятеля, одаренного литератора, горячую патриотку, страстно мечтавшую видеть Россию свободной и счастливой.

*Н. Якушин*

# Воспоминания детства



## I

## ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном *я*,— первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановить на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я *действительно* помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже — мне никогда не удается вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит

из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня»,— говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их посвоему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк,— говорит он,—когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского — сейчас и вспомните».

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За этою первою, отчетливо сохранившеюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты,— ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Сто́ит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кроватки, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезать друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку! — умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступления к нашему туалету лежит еще длинный промежуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесаных, начинает угощать нас кофе со сливками и с сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворяется с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment! vous êtes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon!* — восклицает она гневно.

— Так неможно долго спать! Я будут жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну, и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну, и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве, наденет на нас платьице, в котором нередко не хватает нескольких пуговиц,— вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметает пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кроватки одеяль-

* Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали к уроку! *(фр.)*

цами, встряхнет свои собственные пуховики,— и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более, что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда выросту! — говорила она, нацепляя на себя мамины украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анюта и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня поче-

му-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анюта, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, большими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали, и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная, Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать,— говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть? — спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И, действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясонька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване перед круглым столом и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает «снять», а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной souffre-douleur*. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав до конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей,— слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне.— Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше навострить уши.

— Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что!— говорит няня полушепотом.— Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой,— ан нет, вот поди! — родилась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

* козел отпущения *(фр.)*.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную — я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленый зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания. Вскоре у меня прошла даже и охота, и уменье играть с другими детьми. Я помню, что когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную, к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор, нет-нет, да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — angoisse*. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно заноет сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное увижу этого урода во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была

* томление, тоска, чувство страха *(фр.)*.

подымать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анюта, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменилось и всему предыдущему настал конец.

## II

## <ВОРОВКА>

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эмансипации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведовал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени, когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик,— в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целость детских вещей, переполошилась

больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем подобном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей,— рассуждала няня,— теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет — вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в Феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако, долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все пропадали. В один прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключавшая в себе рублей сорок, если не больше. Сведение об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозренья, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется для няни делом одной секунды.

— А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье? — закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

— Няня, голубушка! Я не виновата, право! — взмолилась Феклуша.— Портниха, Марья Васильевна, вчерась вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

— Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица,— сказала она презрительно:— ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

— Няня, голубушка, не вру я! Ей, ей, это правда! Хоть сами у нее спросите. Я им вчерась утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую»,— продолжала утверждать Феклуша.

— Ну, ладно, завтра поутру разберем! — решила нянюшка и, в ожидании утра, заперла Феклушу в темный чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипыванья.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная, и пользовалась бо́льшим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась... Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки»,— говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но, я помню, старшие всегда замечали, что у нее вид очень distingué*, «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно, и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегантность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков геранума, стены были увешаны дешевенькими картинами, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы — лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий

* благовоспитанный *(фр.)*.

рассказ: в молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын-офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» — спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть. Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей волей-неволей приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пенье, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пенье прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?», — Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

— Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девчонку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! — сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако Феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

— Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы

забыли? Да вчерась же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья,— говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

— Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша,— ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни, и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

— Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься! — сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собой разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но приходила к нам в дом помогать стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

— Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, ужо доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала!— сказала она ей так строго и с таким многозначительным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась восвояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит она и другие вещи воровала» — говорили все. Общее негодование против Феклуши потому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз вошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

— Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девчонке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! — сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

— Что вы, сударыня? Такую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! — говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокойство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

— Призналась наша птичка! — сказала она радостно.

— Ну, а где же краденые вещи? — спросила мама очень естественно.

— Еще не признается, куда их дела, негодница! — ответила няня озабоченным голосом. — Мелет всякую чепуху. Говорит — «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок, другой — может и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное признание и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а вместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд, за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать Феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на Феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполне-

ние; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель. Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня, уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра — Феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и, все не унималась, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня, наконец, не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что все равно глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

— Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку,— сказала Александра таинственно, и оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, она вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

— Где же вы его нашли? — спросила она с любопытством.

— В том-то всё и дело — где нашла,— отвечала Александра протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно наслаждаясь смущением нянюшки.— Садовник наш, Филипп Матвеевич, дали мне свои старые брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек,— произнесла она, наконец, многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым, довольно противным немцем с рыжими типическими четырехугольными баками, но между нашей женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

— Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? — спрашивала она растерянно.— Ведь он и в детскую, почитай, что никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

— Те, те, те... Так вот оно как! — проговорила она, разводя руками.— Ах ты, смиренница! Ах, негодница!.. Ну, погоди, выведем же мы тебя на чистую воду! — воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уже давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником.— Ну, а сами посудите,— говорила она няне,— стал ли бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает.— И действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи, и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматриванья за ничего не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у старых женщин и побуждает их с азартом кидаться на расследование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подобраться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненнейшим образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

— Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! — говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако, ввиду того, что она была уже пожилая болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать ее обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказалась какая-то кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

— Мне недолго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! — говорила она.

— Дело было совсем не в этом,— пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой.— Ей просто невмоготу было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он

люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

— Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! — умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

— Послушайте,— сказал он ей,— хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому позору — публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощенье и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну, как ей, такой гордячке, повиниться публично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это

произошло торжественно и публично. Народу собралось много; каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целования руки.

— Я ей и так прощаю,— говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на возвышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы *я* перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так и молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша не смела больше возражать и, вся трясясь от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная, как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но лицо ее было такое решительное и злое, что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» — вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила Феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась всем телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же из прислуги, которые проведали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумо-

ется, поспешно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная перемена, которая произошла после этого в настроении нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низким и черным, что каждому доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей, жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

— Конечно, она была виновата,— говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме.— Ну, хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг, на, поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми руку целовать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов одни за другими. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось послать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно:— Для кого вы это, няня?

— Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее, больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! — ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась к великой радости моих родителей и зажила у нас в до-

ме по-прежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и старалсь не глядеть на нее: мне все чудилось — вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена: мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется Благовещения, я пробегала по коридору мимо комнаты Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

— Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко, что, вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

— Что, барышня, видно совсем меня разлюбили, брезгуете мной! — проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно

все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за что. После вечернего чая, когда пришла мне пора идти спать, вместо того, чтобы отправиться прямо в спальню, я решилась забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны, так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и, совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять ее не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла», — говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, поч-

ти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.

По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин, на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.

## III
## <МИСС СМИТ>

С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.

До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считая воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься в саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, на нее приходили иногда с жалобой к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.

Что касается нас, младших детей, то отношение отца к нам ограничивалось тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облекался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.

Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, вне-

запно изменилось. Как передко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.

Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.

Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.

Что еще хуже — за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.

Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, последовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой и всем достается, и правому, и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду, и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее, мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся, и ждем — «чем-то все это разрешится?»

Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка и гувернантку англичанку.

Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент.

Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические осо-

бенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, уменье всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество над остальными домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и этим объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме.

Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery*, в которой она могла бы воспитать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и «спустя рукава». Однако, благодаря ее замечательной настойчивости, она все же до известной степени добилась своего.

С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора, два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до Анютиного поведения, что она умывает себе руки.

Но зато она еще с большим ожесточением сосредоточила все свои заботы на мне, изолируя меня от всех домашних и ограждая меня, как от заразы, от влияния старшей сестры. Этому стремлению к сепаратизму с ее стороны благоприятствовали размеры и устройство нашего деревенского дома, в котором семьи три-четыре свободно могли бы проживать одновременно, вполне не зная друг друга.

Почти весь нижний этаж, за исключением нескольких комнат для прислуги и для случайных гостей, был отведен гувернантке и мне. Верхний этаж, с парадными комнатами, принадлежал маме и Анюте. Федя с гувернером помещались во флигеле, а папин кабинет составлял основание трехэтажной башни и лежал совсем в стороне от остального жилья. Таким образом, те различные эле-

* детской *(англ.)*.

менты, из которых состояла наша семья, имели каждый свои самостоятельные владения и могли, не стесняясь друг другом, вести каждый свою особую линию, встречаясь только за обедом да за вечерним чаем.

## IV

## ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

Стенные часы в классной пробили семь. Эти семь повторенных ударов доходят до моего сознания сквозь сон и порождают во мне печальную уверенность, что теперь, сейчас, придет горничная Дуняша будить меня; но мне спится еще так сладко, что я стараюсь убедить себя, будто эти противные семь ударов только почудились мне. Повернувшись на другую сторону и плотнее натянув на себя одеяло, спешу воспользоваться сладким, кратковременным блаженством, доставляемым последними минуточками сна, которому, я знаю, сейчас наступит конец.

И, действительно, вот скрипит дверь, вот слышатся тяжелые шаги Дуняши, входящей в комнату с ношею дров. Затем ряд знакомых, каждое утро повторяющихся звуков: шум от грузно сбрасываемой на пол охапки, чирканье спичками, треск лучинок, шелест и шуршанье пламени. Все эти привычные звуки доходят до моего слуха сквозь сон и усиливают во мне ощущение приятной неги и нежелания расстаться с теплой постелькой. «Еще минуточку, только минуточку бы поспать!» Но вот шелест пламени в печке становится все громче и ровнее и переходит в мерное, правильное гуденье.

— Барышня, вставать пора! — раздается над самым моим ухом, и Дуняша безжалостной рукой стягивает с меня одеяло.

На дворе только что начинает светать, и первые бледные лучи холодного зимнего утра, смешиваясь с желтоватым светом стеариновой свечи, придают всему какой-то мертвенный, неестественный вид. Есть ли что-нибудь неприятнее на свете, как вставать при свечах! Я сажусь в постели на корточках и медленно, машинально начинаю одеваться, но глаза мои невольно опять слипаются и приподнятая с чулком рука так и застывает в этом положении.

За ширмами, за которыми спит гувернантка, уже слышится плесканье водой, фырканье и энергичное обтиранье.

— Don't dowdle, Sonja! If you are not ready in a quarter of an hour, you will bear the ticket «lazy» on your back during luncheon!* — раздается грозный голос гувернантки.

С этой угрозой шутить нельзя. Телесные наказания изгнаны из нашего воспитания, но гувернантка придумала заменить их другими мерами устрашения; если я в чем-нибудь провинюсь, она пришпиливает к моей спине бумажку, на которой крупными буквами значится моя вина, и с этим украшением я должна являться к столу. Я до смерти боюсь этого наказания; поэтому угроза гувернантки имеет способность мгновенно разогнать мой сон. Я моментально спрыгиваю с кровати. У умывальника уже ждет меня горничная с приподнятым кувшином в одной и с большим лохматым полотенцем в другой руке. По английской манере, меня каждое утро обливают водой. Одна секунда резкого, дух захватывающего холода, потом точно кипяток прольется по жилам, и затем во всем теле остается удивительно приятное ощущение необыкновенной живучести и упругости.

Теперь уже совсем рассвело. Мы выходим в столовую. На столе пыхтит самовар, дрова в печке трещат, и яркое пламя отсвечивается и множится в больших замерзших окнах. Сонливости во мне не осталось более и следа. Напротив того, у меня теперь так хорошо, так беспричинно радостно на душе; так хотелось бы шуму, смеха, веселья! Ах, если бы у меня был товарищ, ребенок моих лет, с которым можно бы подурачиться, повозиться, в котором бы, так же как и во мне, ключом кипел избыток молодой, здоровой жизни! Но такого товарища нет у меня, я пью чай сам-друг с гувернанткой, так как другие члены семьи, не исключая и брата, и сестры, встают гораздо позднее. Мне так неудержимо хочется чему-нибудь радоваться и смеяться, что я делаю даже слабые попытки заигрыванья с гувернанткой. На беду, она сегодня не в духе, что часто случается с ней по утрам, так как она страдает болезнью печени; поэтому она считает своим долгом усмирить неуместный порыв моей веселости, заметив мне, что теперь время для ученья, а не для смеха.

День начинается у меня всегда уроком музыки. В большой зале наверху, в которой стоит рояль, темпе-

* Не мямли, Соня! Если ты не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине! *(англ.)*

ратура весьма прохладная, так что пальцы мои коченеют и пухнут, и ногти выступают на них синими пятнами.

Полтора часа гамм и экзерсисов, аккомпанируемых однообразными ударами палочки, которою гувернантка выстукивает такт, охлаждают значительно то чувство жизнерадостности, с которою я начала мой день. За уроком музыки следуют другие уроки. Пока сестра училась тоже, я находила в уроках большое удовольствие; тогда, впрочем, я была еще такая маленькая, что серьезно меня почти не учили; но я выпрашивала позволенье присутствовать при уроках сестры и прислушивалась к ним с таким вниманием, что на следующий раз случалось нередко, что она, большая 14-летняя девочка, не знает заданного урока, я же, семилетняя крошка, запомнила его и подсказываю его ей с торжеством. Это забавляло меня необычайно. Но теперь, когда сестра перестала учиться и перешла на права взрослой, уроки утратили для меня половину своей прелести. Я занимаюсь, правда, довольно прилежно, но так ли бы я училась, если бы у меня был товарищ!

В 12 часов завтрак. Проглотив последний кусок, гувернантка отправляется к окну исследовать, какая погода. Я слежу за ней с трепещущим сердцем, так как это вопрос очень важный для меня. Если термометр показывает менее 10° мороза и притом нет большого ветра, мне предстоит скучнейшая полуторачасовая прогулка вдвоем с гувернанткой взад и вперед по расчищенной от снега аллее. Если же, на мое счастье, сильный мороз или ветрено, гувернантка отправляется на неизбежную, по ее понятиям, прогулку одна, меня же, ради моциона, посылает наверх, в залу, играть в мячик.

Игру в мяч я не особенно люблю; мне теперь уже двенадцать лет; я сама считаю себя уже совсем большой, и мне даже обидно, что гувернантка еще считает меня способной увлекаться такою детскою забавой, как игра в мяч; тем не менее я выслушиваю приказание с большим удовольствием, так как оно предвещает мне полтора часа свободы.

Верхний этаж принадлежит специально маме и Анюте, но теперь они обе сидят в своих комнатах; в большой зале никого нет.

Я несколько раз обегаю вокруг залы, погоняя перед собою мячик; мысли мои уносятся далеко. Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сло-

житься целый богатый мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозревается взрослыми. Я страстно люблю поэзию; самая форма, самый размер стихов доставляют мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощаю все отрывки русских поэтов, какие только попадаются мне на глаза, и я должна сознаться — чем высокопарнее поэзия, тем она более приходится мне по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии. В доме у нас никто особенно этою отраслью литературы не интересовался, и хотя у нас была довольно большая библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было. Я никак не могла дождаться того дня, когда в первый раз досталась мне в руки хрестоматия Филонова, купленная по настояниям нашего учителя. Это было настоящим откровением для меня. В течение нескольких дней спустя я ходила как сумасшедшая, повторяя строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника», пока гувернантка не пригрозила, что отнимет у меня драгоценную книгу.

Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи. Но гувернантка моя этого занятия не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет примерная английская мисс, и сочинение стихов с этим представлением никак не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки; если, на мою беду, ей попадется на глаза клочок бумажки, исписанный моими виршами, она тотчас же приколет его мне к плечу, и потом, в присутствии брата и сестры, декламирует мое несчастное произведение, разумеется, жестоко коверкая и искажая.

Однако гонение это на мои стихи не помогало. В двенадцать лет я была глубоко убеждена, что буду поэтессой. Из страха гувернантки я не решалась писать своих стихов, но сочиняла их в уме, как старинные барды, и поверяла их моему мячику. Погоняя его перед собой, я несусь, бывало, по зале и громко декламирую два моих поэтических произведения, которыми особенно горжусь: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». В голове у меня задумана длинная поэма «Струйка», нечто среднее между «Унди-

ной» и «Мцыри», но из нее готовы пока только первые десять строф. А их предполагается 120.

Но муза, как известно, капризна, и не всегда поэтическое вдохновение нисходит на меня как раз в то время, когда мне приказано играть в мяч. Если муза не является на зов, то положение мое становится опасным, так как искушения окружают меня со всех сторон. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня чтения. Детских книг у меня немного, и я все их уже знаю почти наизусть; гувернантка никогда не позволяет мне прочесть какую-нибудь книгу, даже предназначенную для детей, не прочтя ее предварительно сама; а так как она читает довольно медленно и ей постоянно некогда, то я нахожусь, так сказать, в хроническом состоянии голода насчет книг; а тут вдруг под рукой у меня такое богатство! Ну, как тут не соблазниться!

Я несколько минут борюсь сама с собой. Я подхожу к какой-нибудь книжке и сначала только заглядываю в нее; переверну несколько страничек, прочту несколько фраз, потом опять пробегусь с мячиком, как ни в чем не бывало. Но мало-помалу чтение завлекает меня. Видя, что первые попытки прошли благополучно, я забываю об опасности и начинаю жадно глотать одну страницу за другой. Нужды нет, что мне попался, может быть, не первый том романа; я с таким же интересом читаю с середины и в воображении восстанавливаю начало. Время от времени, впрочем, я имею предосторожность сделать несколько ударов мячиком, на тот случай, чтобы — если гувернантка вернется и придет подсмотреть, что я делаю,— она слышала, что я играю, как мне приказано.

Обыкновенно моя хитрость удается. Я вовремя услышу шаги гувернантки, подымающейся по лестнице, и успею к ее приходу отложить книжку в сторону, так что гувернантка останется в убеждении, что я все время забавлялась игрою в мяч, как следует хорошему добронравному ребенку. Раза два или три в детстве случилось мне так увлечься чтением, что я ничего не заметила, пока гувернантка как из-под земли не выросла передо мною и не накрыла меня на самом месте преступления.

В подобных случаях, как вообще после всякой осо-

бенно важной провинности с моей стороны, гувернантка прибегала к крайнему средству: она посылала меня к отцу с приказанием самой рассказать ему, как я провинилась. Этого я боялась больше всех других наказаний.

В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.

Он любил быть один, и у него был свой собственный мир, в который никто из домашних не допускался. По утрам он уходил на хозяйственную прогулку один или в обществе управляющего; почти всю остальную часть дня сидел в своем кабинете. Кабинет этот, лежащий совершенно в стороне от других комнат, составлял как бы святую святых в доме; даже мать наша и та никогда не входила в него, не постучавшись предварительно; детям и в голову бы не пришло явиться в него без приглашения.

Поэтому, когда скажет, бывало, гувернантка: «Ступай к отцу, похвастайся ему, как ты вела себя!» — я испытываю настоящее отчаяние. Я плачу, упираюсь, но гувернантка неумолима и, взяв меня за руку, подводит или, вернее, протаскивает через длинный ряд комнат к двери в кабинет и тут предоставляет меня моей участи, а сама уходит.

Теперь плакать уже бесполезно; к тому же передняя рядом с кабинетом, и я уже вижу в ней фигуру какого-нибудь праздного, любопытного лакея, который с обидным интересом наблюдает за мной.

— Опять, видно, провинились, барышня! — слышу я за собой полусожалительный, полунасмешливый голос папашиного камердинера Ильи.

Я не удостоиваю его ответом и стараюсь придать себе вид как ни в чем не бывало, как будто я пришла к отцу по собственному желанию. Вернуться назад в клас-

спую, не выполнив приказания гувернантки, я не решалась. Это значило бы усугубить вину явным непослушанием; стоять тут у двери мишенью для насмешек лакеев — невыносимо. Не остается ничего иного, как постучаться в двери и храбро пойти навстречу моей участи.

Я стучусь, но очень тихо. Проходят опять несколько мгновений, которые кажутся мне вечными.

— Постучитесь громче, барышня! папенька не слышат! — замечает снова несносный Илья, которого, очевидно, очень занимает вся эта история.

Нечего делать, я стучусь опять.

— Кто там? Войдите! — раздается, наконец, голос отца из кабинета.

Я вхожу, но останавливаюсь в полутемноте, у порога. Отец сидит за своим письменным столом спиною к двери и не видит меня.

— Да кто же там? Что надо? — окликает он нетерпеливо.

— Это я, папа. Меня Маргарита Францевна прислала! — всхлипываю я в ответ.

Теперь отец уже догадывается, в чем дело.

— А-а! Ты, верно, опять провинилась! — говорит он, стараясь придать своему голосу как можно более суровое выражение. — Ну, рассказывай! Что натворила?

И вот я, всхлипывая и запинаясь, начинаю мой донос на самое себя.

Отец выслушивает мою исповедь рассеянно. Его понятия о воспитании весьма элементарны, и вся педагогика подводится им под рубрику женского, а не мужского дела. Он, разумеется, и не подозревает, какой сложный внутренний мир успел уже сложиться в голове той маленькой девочки, которая стоит теперь перед ним и ждет своего приговора. Занятый своими «мужскими» делами, он и не заметил, как я мало-помалу вырастала из того пухленького ребенка, каким была лет пять назад. Его, видимо, затрудняет, что сказать мне и как поступить в данном случае. Мой поступок кажется ему маловажным, но он твердо верит в необходимость строгости при воспитании детей. Ему внутренне досадно на гувернантку, которая не умела уладить такого простого дела сама, а послала меня к нему; но раз уже прибегли к его вмешательству, он должен проявить свою власть. Поэтому, чтобы не ослабить авторитета, он старается придать себе вид строгий и негодующий.

— Какая ты скверная, нехорошая девочка! я очень тобой недоволен,— говорит он и останавливается, потому что не знает, что сказать больше.— Поди, стань в угол! — решает он, наконец, так как из всей педагогической мудрости у него сохранилось в памяти только то, что провинившихся детей ставят в угол.

И вот, можете себе представить, мне, большой двенадцатилетней девице, мне, которая за несколько минут пред тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, мне приходится пойти и стать в угол, как малому, неразумному ребенку.

Отец продолжает свои занятия у письменного стола. В комнате воцаряется глубокое молчание. Я стою, не шевелясь, но, боже мой! чего только не передумаю я и не перечувствую в эти несколько минут! Я так ясно понимаю и сознаю, до какой степени все это положение глупо и нелепо. Какое-то чувство внутренней стыдливости перед отцом заставляет меня повиноваться молча и не дает мне разреветься, сделать сцену. А между тем чувство горькой обиды, бессильного гнева подступает к горлу и душит меня. «Какие это пустяки! Что мне значит постоять в углу»,— внутренне утешаю я себя, но мне больно, что отец может и хочет меня унизить, и это тот самый отец, которым я так горжусь, которого ставлю выше всех!

Хорошо еще, если мы остаемся одни. Но вот кто-то стучится в дверь, и в комнату, под тем или другим предлогом, является несносный Илья. Я отлично знаю, что предлог выдуманный, что он просто пришел из любопытства, посмотреть, как барышня наказана; но он и вида не подает, делает свое дело, не торопясь, как будто ничего не замечая, и только уходя бросает на меня насмешливый взгляд. О, как я ненавижу его в эту минуту!

Я стою так тихо, что случается, отец и забудет обо мне и заставит простоять довольно долго, так как, разумеется, я из гордости ни за что не попрошу сама прощения. Наконец отец вспомнит обо мне и отпустит со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Ему и в голову не приходит, какую нравственную пытку перенесла его бедная маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероятно, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в душу. Через несколько минут он, разумеется, совсем забудет об этом неприятном ребяческом эпизоде. А я

между тем ухожу из его кабинета с чувством такой недетской тоски, такой незаслуженной обиды, как мне, может быть, раза 2—3 приходилось испытывать впоследствии, в самые тяжелые минуты моей жизни.

Я возвращаюсь в классную притихшая и присмиревшая. Гувернантка довольна результатами своего педагогического приема, так как в течение многих дней после этого я так тиха и скромна, что она не может нахвалиться моим поведением; но она была бы менее довольна, если бы знала, какой след оставил у меня на душе этот акт моего усмирения.

Вообще во всех моих воспоминаниях детства черной нитью проходит убеждение, что я не была любима в семье. Кроме случайно подслушанных толков прислуги, развитию этого печального убеждения способствовала в значительной степени та жизнь особняком, которую я вела с моей гувернанткой.

Судьба гувернантки тоже была невеселая. Некрасивая, одинокая, уже немолодая, отставшая от английского общества, но никогда вполне не освоившаяся в России, она сосредоточила на мне весь тот запас привязчивости, всю ту потребность в нравственной собственности, на какую только была способна ее крутая, энергичная, неподатливая натура. Я действительно составляла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и придавала значение ее жизни; но любовь ее ко мне была тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности.

Мать моя и гувернантка были две натуры столь противоположные, что никакой симпатии между ними быть не могло. Мать моя и по характеру, и по наружности принадлежала к числу тех женщин, которые никогда не старятся.

Между нею и отцом была большая разница лет, и отец вплоть до старости продолжал относиться к ней, как к ребенку. Он называл ее Лиза и Лизок, тогда как она величала его всегда Васильем Васильевичем. Случалось ему даже в присутствии детей делать ей выговоры. «Опять ты говоришь вздор, Лизочка!» — слышали мы нередко. И мама нисколько не обижалась на это замечание, а если продолжала настаивать на своем, то только как избалованный ребенок, который вправе желать и неразумного.

Гувернантки нашей мама положительно побаивалась, так как свободолюбивая англичанка нередко резала ее

жестоким манером и в детских наших комнатах признавала себя одну полновластной хозяйкой, маму же принимала как гостью. Поэтому мама и заглядывала к нам не часто, и в воспитание мое совсем не вмешивалась.

Что до меня касается, то я в душе очень восхищалась своей мамой, которая казалась мне красивее и милее всех знакомых нам барынь; но в то же время я постоянно испытывала некоторую обиду: за что это она меня любит меньше других детей?

Сижу я, бывало, вечером в классной. Уроки мои к завтрашнему дню все уже готовы, но гувернантка все еще под разными предлогами не пускает меня наверх. Между тем сверху, из залы, которая расположена прямо над классной, доносятся звуки музыки. Мама имеет привычку играть по вечерам на фортепьяно. Она играет целыми часами, наизусть, сочетая, импровизируя, переходя от одной темы к другой. У нее очень много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше, и я ужасно люблю слушать, как она играет. Под влиянием музыки и усталости от выученных уроков на меня находит наплыв нежности, желание к кому-нибудь прижаться, приголубиться. Остается уже всего несколько минут до вечернего чая, и гувернантка, наконец, отпускает меня. Я взбегаю наверх и застаю следующую сцену: мама уже перестала играть и сидит на диване, а по обеим ее сторонам, прижавшись к ней, Анюта и Федя. Они смеются, болтают о чем-то так оживленно, что и не замечают моего прихода. Я стою несколько минут возле них, молча, в надежде, что они меня заметят. Но они продолжают говорить о своем. Этого достаточно, чтобы охладить весь мой пыл. «Им и без меня хорошо»,— проходит у меня по душе горькое, ревнивое чувство и, вместо того, чтобы броситься к маме и начать целовать ее милые белые руки, как я представляла себе внизу, в классной, я забиваюсь куда-нибудь в угол, поодаль от них, и дуюсь, пока не позовут нас к чаю и вскоре затем пошлют меня спать.

## V

## МОЙ ДЯДЯ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более что потребность в сильной и исключительной привязанности

развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-то выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или к сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.

Я помню в детстве две особенно сильные привязанности — к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский. Это был чрезвычайно живописный старик высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу доверху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлендских собак да у малых детей.

Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семейства, но на самом деле каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал своему единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись таким образом без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее и оживленнее, когда он бывал у нас.

Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно, и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue des deux Mondes», своего любимого журнала.

Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «Что-то нового зате-

вает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему немало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, что «Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 года, так и умер в этой уверенности.

Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми.

Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» — кричал он и в пылу увлеченья крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние — это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.

Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние, за отсутствием общих интересов, не знали, о чем говорить друг с другом.

— А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? — скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери. — Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А, каково? понимаете ли вы, чем это пахнет?

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно украшая и пополняя ее и выводя из нее такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.

После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию.

Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.

Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.

Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.

Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшей гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, по-видимому, удаленных от жизни научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения Анютиного поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.

Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.

Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue des deux Mondes». Одна — об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая — об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.

Но не одна политика и отчеты о новейших изобре-

тениях имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже наши детские книги. Никогда ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встречала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое он ценил.

Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.

Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смирного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян. До всего, что он знал, он или додумался сам, или вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому — совсем ничтожные.

Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно-покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое, покорное, преданное ей суще-

ство,— бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.

Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили растолковать ему, какое на его долю выпало счастье, и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.

Но счастья из этого союза не вышло.

Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается,— однако все мы точно инстинктом чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.

Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».

— Вот была аспид! Упаси, боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить; куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он, и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе,— да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» — кричит. Случалось даже, сымет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам. Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.

— Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену! — восклицаем мы в негодовании.

— Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь как перчатку! — отвечает тетушка Анна Васильевна.— Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.

— Неужели он ее любил? Злую такую!

— И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как порешили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.

— Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? — спрашиваем мы с любопытством.

Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает энергично вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет. Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.

— Тетенька, голубчик, расскажите! — пристаем мы к ней.

Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.

— Да так вот... собственные крепостные девки ее задушили! — отвечает она вдруг.

— Господи! какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! — восклицаем мы.

— Да так, очень просто! — повествует Анна Васильевна.— Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная, девка Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как захлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете, что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились — всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег,

и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопья подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну, да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие из них, почитай что, и по сю пору в Сибири гниют!

Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.

— Ну, смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! — напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой, ни с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.

Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.

Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!

Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг захлопает в ладоши и в комнату войдут Илья и Степан, и Саша и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»

Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.

Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало, играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряда вон выходящее, трагическое, на своем веку.

Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него подолгу, бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой сильный умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет, и руки ей целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам.

Раз, только один раз в течение всего моего детства, не удержалась я и дотронулась до дядиного больного места.

Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя, по обыкновению, сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предалась своим обычным размышлениям на его счет.

Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:

— О чем ты это задумалась, деточка?

— Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой?— сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.

Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинками, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно. Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.

— Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила!— говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое раскрасневшееся от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.

С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю.

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода,— смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке.

Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными

формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым.

## VI
## ДЯДЯ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ШУБЕРТ

Моя привязанность к другому моему дядюшке, брату моей матери, Федору Федоровичу Шуберту, была совсем иного свойства.

Этот дядюшка, единственный сын покойного дедушки, был значительно моложе моей матери; он жил постоянно в Петербурге и в качестве единственного мужского представителя семьи Шубертов пользовался безграничным обожанием своих сестер и многочисленных тетушек и кузин, старых девиц.

Его приезд к нам в деревню считался настоящим событием. Мне было лет девять, когда он приехал к нам в первый раз. О дядином приезде толковали много недель наперед. Ему отвели лучшую комнату в доме, и мама сама присмотрела за тем, чтобы в нее поставили самую покойную мебель. Навстречу ему выслали в губернский город, лежащий в 150 верстах от нашего имения, карету, уложив в нее шубу, меховой коврик и плед, чтобы дядя не простудился, так как это было уже поздно осенью.

Вдруг, накануне того дня, когда ожидали к нам дядю, смотрим мы — подъезжает к парадному крыльцу простая телега, запряженная тройкой почтовых кляч, и из нее выскакивает молодой человек в легком городском пальто, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо.

— Боже мой! Да ведь это брат Федя! — вскрикнула мама, выглянув из окна.

— Дяденька, дяденька приехали! — разнеслось по всему дому, и все мы выбежали в переднюю встречать гостя.

— Федя, бедный! Как же ты это на перекладных приехал? Разве ты не встретил высланного за тобой экипажа? Тебя, должно быть, растрясло всего? — говорила соболезнующим голосом мама, обнимая брата.

Оказалось, что дядя выехал из Петербурга сутками раньше, чем предполагал.

— Христос с тобой, Лиза! — говорил он, смеясь и отирая морозные капли с усов перед тем, чтобы поцеловать сестру — я не воображал себе, что ты столько возни поднимешь из-за моего приезда! Зачем было за мной высылать? Разве я старая баба, что не могу 150 верст в телеге проехать!

Дядя говорил грудным очень приятным тенором, както особенно картавя. Он был на вид еще совсем молодым человеком. Каштановые, подстриженные под гребенку волосы стояли на его голове густым бархатистым бобром, румяные щеки лоснились от мороза, карие глаза глядели задорно и весело, а из-за пухлых ярко-красных, окаймленных красивыми усиками губ поминутно выглядывал ряд крупных белых зубов.

«Экий молодец этот дядя! Вот прелесть», — думала я, оглядывая его с восхищением.

— Кто это? Анюта? — спросил дядя, указывая на меня.

— Что ты, Федя! Анюта уж совсем большая. Это только Соня! — обиженным голосом поправила его мама.

— Господи, вот выросли-то у тебя дочки! Смотри, Лиза, ты и опомниться не успеешь, как они тебя в старухи запишут! — сказал дядя смеясь, и поцеловал меня. Я невольно застыдилась и вся раскраснелась от его поцелуя.

За обедом дядя занимает, разумеется, почетное место, возле мамы. Он кушает с большим аппетитом, что не мешает ему, однако, все время без умолку разговаривать.

Он рассказывает разные петербургские новости и сплетни и часто смешит всех и сам закатывается веселым, звонким хохотом. Все слушают его очень внимательно: даже папа относится к нему с большим почтением, без тени той высокомерной, покровительственно-насмешливой манеры, которую он так часто принимает с приезжающими к нам молодыми родственниками и которую эти последние очень не любят.

Чем больше я смотрю на своего нового дядю, тем более он мне нравится. Он уже успел вымыться и переодеться, и по его свежему здоровому виду никто бы не догадался, что он только что приехал с дороги. Пиджак из плотной английской материи с искрой сидит на нем как-то особенно ловко, не как на других. Но больше всего нравятся мне его руки, большие, белые, холодные, с блестящими ногтями, похожими на крупный розовый миндаль. Во все время обеда я не спускаю с него глаз и даже есть забываю — так я занята его разглядыванием.

После обеда дядя садится на маленький угловой диванчик в гостиной и сажает меня к себе на колени.

— Ну, давай знакомиться, mademoiselle, моя племянница! — говорит он.

Дядя начинает расспрашивать меня, чему я учусь, что читаю. Дети обыкновенно знают сами гораздо лучше, чем думают взрослые, какие их сильные, какие слабые коньки; так, например, я отлично знаю, что учусь хорошо и что все считают меня очень avancée* в науках для моих лет. Поэтому я очень довольна, что дядя вздумал меня об этом спрашивать, и отвечаю на все его вопросы очень охотно и свободно. И я вижу, что дядя очень доволен мной. «Вот какая умница! Уж все это она знает!» — повторяет он ежеминутно.

— Дядя, расскажите-ка и вы мне что-нибудь! — пристаю я к нему в мою очередь.

— Ну, изволь; только такой умной барышне, как ты, нельзя рассказывать сказки, — говорит он шутливо, — с тобой можно говорить только о серьезном. — И он начинает рассказывать мне про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам-то не так давно вышел из университета, так что все эти сведения свежи в его памяти, рассказывает он очень хорошо, и ему нравится, что я слушаю его с таким вниманием, широко раскрыв и уставив на него глаза.

* успевающей, идущей вперед *(фр.)*.

После этого первого дня каждый вечер стало повторяться то же самое. После обеда и мама, и папа отправляются вздремнуть с полчасика. Дяде нечего делать. Он садится на мой любимый диванчик, берет меня на колени и начинает рассказывать про всякую всячину. Он предлагал и другим детям послушать; но сестра моя, которая только что соскочила со школьной скамейки, побоялась, что уронит свое достоинство взрослой барышни, если станет слушать такие поучительные вещи, «интересные только для маленьких». Брат же постоял раз, послушал, нашел, что это невесело, и убежал играть в лошадки.

Что же до меня касается, то наши «научные беседы», как дядя в шутку прозвал их, стали для меня невыразимо дороги. Моим любимым временем изо всего дня были те полчасика после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, не поручусь я даже, что не примешивалось к этому чувству какой-то детской влюбленности, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить «дома ли дядя?». Если за обедом кто-нибудь, заметя, что я не спускаю с него глаз, спросит, бывало: «а что, Софа, видно ты очень любишь своего дядю»,— я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

В течение всего дня я почти не встречалась с ним, так как моя жизнь шла совсем отдельно от жизни взрослых. Но постоянно, и во время уроков, и во время рекреаций, я только и думала: «Скоро ли наступит вечер! Скоро ли я останусь с дядей!»

Однажды, в то время, когда он гостил у нас, к нам приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Эта Оля была единственная девочка моих лет, с которой мне случалось встречаться. Ее привозили к нам, впрочем, не очень часто, но зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас и ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, и хотя характеры наши и вкусы были очень несхожи, так что настоящей дружбы между нами не существовало, но я все же обыкновенно радовалась ее приезду, тем более, что в честь его я освобождалась от уроков и мне давался праздник на целый день.

Но теперь, увидя Олю, первою моей мыслью было:

«как же будет после обеда?» Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной, и я уже наперед чувствовала, что присутствие глупенькой Оли все испортит.

Поэтому я встретила мою приятельницу с гораздо меньшим удовольствием, чем обыкновенно. «Не увезут ли ее сегодня пораньше?» — думалось мне с тайной надеждой в течение всего утра. Но нет! Оказалось, что Оля уедет только поздно вечером. Что было делать? Скрепя сердце, я решилась открыться моей подруге и попросить ее не мешать мне.

— Слушай, Оля,— сказала я ей вкрадчивым голосом: — я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ты ни захочешь. Но зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась на мое предложение, и я в течение всего дня честно исполняла мою часть договора. Я играла с ней во все игры, какие она ни придумывала, брала на себя какие роли она мне ни назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню, по первому ее слову. Наконец, позвали нас к обеду. За столом я сидела как на иголках. «Сдержит ли Оля свое слово?» — думалось мне, и я исподтишка с беспокойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор.

После обеда я, по обыкновению, подошла к папеньке и маменьке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то он скажет.

— Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать? — спросил дядя, ласково ущипнув меня за подбородок. Я так и подпрыгнула от радости и, весело ухватившись за его руку, собиралась уже идти с ним в наш заветный уголок. Но вдруг увидела, что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами.

Оказалось, что мои уговоры только испортили дело. Очень может быть, что если бы я ей ничего не говорила, она, увидя, что мы с дядей собираемся беседовать о серьезном и питая спасительный страх ко всему, что напоминает ученье, сама поторопилась бы от нас убежать. Но видя, что я так дорожу рассказами дяди и что я хочу во что бы то ни стало от нее отделаться, она вообразила

себе, что мы, верно, говорим о чем-нибудь очень интересном, и ей захотелось тоже послушать.

— А можно и мне пойти с вами?— спросила она умоляющим голосом, подняв на дядю свои голубые умильные глаза.

— Разумеется, можно, милочка,— ответил дядя и взглянул на нее очень ласково, очевидно, любуясь ее хорошеньким розовым личиком.

Я бросила на Олю гневный, негодующий взгляд, который, однако, не сконфузил ее нимало.

— Да ведь Оля этих вещей не знает. Она все равно ничего не поймет,— попробовала я заметить сердитым голосом. Но и эта попытка отделаться от навязчивой подруги ни к чему не повела.

— Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно,— сказал дядя добродушно, и взяв нас обеих за руки, направился с нами к дивану.

Я шла в угрюмом молчании. Эта беседа втроем, причем дядя будет говорить для Оли, соображаясь с ее вкусами и ее пониманием, была вовсе не тем, чего мне хотелось. Мне казалось, что у меня отняли что-то принадлежащее мне по праву, неприкосновенное и дорогое.

— Ну, Софа, полезай ко мне на колени!— сказал дядя, по-видимому, и не замечая совсем моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

— Не хочу!— ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей: «Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!»

Оля не заставила повторить себе это приглашение дважды и, прежде чем я опомнилась, прежде чем я успела сообразить, что случилось, она уже оказалась на моем месте у дяди на коленях. Этого уже я никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот — не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами.

Я была слишком поражена, чтобы выразить какой бы

то ни было протест; я только молча широко раскрытыми глазами глядела па мою счастливую подругу; а она, чуть-чуть сконфуженная, но все же очень довольная, восседала себе у дяди на коленях как ни в чем не бывало. Сложив свой маленький ротик в уморительную гримаску, она силилась придать своему круглому детскому личику выражение серьезности и внимания. Вся она раскраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

Глядела я на нее, глядела, и вдруг — клянусь, я теперь и сама не знаю, как это случилось,— произошло нечто ужасное. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

Мое нападение было так внезапно, так неожиданно, что в первую секунду все мы трое остались ошеломленными и только молча глядели друг на друга. Но вдруг Оля пронзительно взвизгнула, и от визга ее все очнулись.

Стыд, горький, отчаянный стыд охватил меня. Я опрометью побежала вон из комнаты. «Гадкая, злая девчонка!» — напутствовал меня рассерженный голос дяди.

Моим обычным убежищем во всех важных бедах моей жизни была комната, принадлежавшая прежде Марье Васильевне, теперь отведенная нашей бывшей няне. Там и теперь искала я спасения. Спрятав голову в колени доброй старушки, я рыдала долго и продолжительно, и няня, видя меня в таком положении, не расспрашивала меня ни о чем, а только, гладя мои волосы, осыпала меня ласкательными именами. «Бог с тобой, моя ясонька! Успокойся, родная!» — говорила она, и мне, в моем возбужденном состоянии духа, так отрадно было выплакаться хорошенько у нее на коленях.

По счастью, в этот вечер гувернантки моей не было дома: она на несколько дней уехала в гости к соседям. Поэтому никто не хватился меня. Я могла вволю наплакаться у няни. Когда я несколько успокоилась, она напоила меня чайком и уложила в кроватку, где я в ту же секунду уснула крепким, свинцовым сном.

Но, когда я проснулась на следующее утро и вдруг вспомнила, что было вчера, мне стало так стыдно, что я думала, что никогда больше не решусь глядеть в глаза

людям. Однако все обошлось гораздо лучше, чем я ожидала. Олю увезли еще вчера вечером. Очевидно, она была так благородна, что не нажаловалась на меня. По лицам всех в доме было видно, что они ничего не знают. Никто не попрекал меня вчерашним, никто не дразнил меня. Дядя, и тот делал вид, будто ничего особенного не произошло.

Однако, странное дело, с этого дня чувства мои к дяде совсем изменили свой характер. Послеобеденные наши беседы не возобновлялись более. Вскоре после этого эпизода он уехал назад в Петербург, и хотя впоследствии мы часто встречались, и он всегда был очень добр ко мне, и я его очень любила, но прежнего обожания к нему я уже никогда больше не испытывала.

## VII

## МОЯ СЕСТРА

Но несравненно сильнее всех других влияний, отразившихся на моем детстве, было влияние моей сестры Анюты.

Чувство, которое я питала к ней с самого моего детства, было очень сложное. Я восхищалась ею непомерно, подчинялась ей во всем беспрекословно и чувствовала себя очень польщенной всякий раз, когда она дозволяла мне принять участие в чем-нибудь, что занимало ее самое. Для сестры моей я пошла бы в огонь и в воду, и в то же время, несмотря на горячую привязанность к ней, в глубине души гнездилась у меня и крупица зависти, той особого рода зависти, которую мы так часто почти бессознательно испытываем к людям, нам очень близким, которыми мы очень восхищаемся и которым желали бы во всем подражать.

А между тем завидовать моей сестре грешно было, так как судьба ее была, собственно говоря, далеко не веселая.

Родители мои переехали на постоянное жительство в деревню именно к тому времени, когда она начала выходить из детского возраста.

Незадолго до нашего переезда вспыхнуло польское восстание, и так как имение наше лежало на самой границе Литвы и России, то отголосок этого восстания коснулся и нас. Большинство соседних помещиков, и

преимущественно самые богатые и образованные, были поляки; многие из них оказались более или менее серьезно скомпрометированными; у некоторых именья были конфискованы; почти все обложены контрибуциями. Многие добровольно побросали свои усадьбы и уехали за границу. В годы, следовавшие за польским восстанием, молодежи как-то совсем и не видно было в наших краях; она вся куда-то улетучилась. Оставались только дети да старики, безобидные, напуганные, боявшиеся собственной тени, да разный пришлый люд чиновников, купцов и мелкопоместных дворян.

Понятно, что при подобных условиях деревенская жизнь не была особенно весела для молоденькой девушки. К тому же все предварительное воспитание Анюты было такого рода, что никаких деревенских вкусов у нее развиться не могло. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. К тому же зачинщицею всяких подобных удовольствий всегда являлась англичанка-гувернантка, а существовавший между нею и Анютою антагонизм был так велик, что стоило одной из них выступить с каким-нибудь предложением, чтобы другая тотчас же отнеслась к нему враждебно. Одно лето пристрастилась Анюта, правда, к верховой езде, но это было, кажется больше из подражания героине какого-то занимавшего ее тогда романа. Так как подходящего спутника не находилось, то вскоре одинокие прогулки верхом в сопровождении одного скучающего кучера ей надоели, и ее верховая лошадь, окрещенная ею романтическим именем «Фрида», скоро перешла к более скромной должности — развозить по полям управляющего и стала опять известна под своей первоначальной кличкой «Голубки».

О том, чтобы сестра занялась хозяйством, не могло быть и речи: до такой степени подобное предложение показалось бы нелепым и ей самой, и всем ее окружающим. Все воспитание ее было направлено к тому, чтобы развить из нее блестящую светскую барышню. Чуть ли не с семилетнего возраста она привыкла быть царицей на всех детских балах, на которые ее часто возили, пока родители жили в больших городах. Папа очень гордился ее детскими успехами, о которых шло в нашей семье много преданий.

— Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези! Она всякого царевича с ума сведет! — гова-

ривал, бывало, папа, разумеется, в виде шутки; но беда была в том, что не только мы, младшие дети, но и сама Анюта принимала эти слова всерьез.

В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высоконькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла назваться почти писаной красавицей, а кроме того, у нее было много своеобразного charme. Она сама отлично сознавала, что могла бы играть первую роль в любом обществе, а тут вдруг деревня, глушь, скука.

Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Отец сначала только отшучивался, но иногда он снисходил до объяснений и очень резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика жить в своем поместье. Бросить теперь имение значило бы разорить всю семью. На эти доводы Анюта не знала, что возразить. Она только чувствовала, что ей-то от этого не легче, что ее-то молодость дважды не повторится. После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала.

Впрочем, раз в год, зимою, отец отправлял обыкновенно мать и сестру на месяц или недель на шесть в Петербург погостить у тетушек. Но поездки эти, стоившие массу денег, пользы собственно не приносили. Они только разжигали в Анюте вкус к удовольствиям, а удовлетворения не доставляли. Месяц в Петербурге пройдет всегда так быстро, что она и опомниться не успеет. Такого человека, который бы мог направить ее ум на серьезное, она в том обществе, куда ее возили, встретить не могла. Женихов подходящих тоже не представлялось. Нашьют ей, бывало, нарядов; свезут раза тричетыре в театр или на бал в дворянское собрание; ктонибудь из родственников устроит вечер в ее честь, наговорят ей комплиментов ее красоте; потом, только что она начнет входить в настоящий вкус всего этого, опять увезут ее в Палибино, и опять начнется для нее безлюдье, безделье, скука, скитание целыми часами из угла в угол по огромным комнатам палибинского дома, переживание в мыслях недавних радостей и страстные, бесплодные мечты о новых успехах на том же поприще.

Чтобы хоть чем-нибудь наполнить пустоту своей жизни, сестра постоянно выдумывала себе какие-нибудь ис-

кусственные увлечения, и так как жизнь ее домашних тоже была очень бедна внутренним содержанием, то обыкновенно все в доме с жаром накидывались на всякую ее новую затею, как на предлог для разговоров и для волнений. Одни порицали ее, другие сочувствовали ей, но для всех она доставляла приятный перерез в обычном однообразии жизни.

Когда Анюте было всего лет пятнадцать, она проявила первый свой акт самостоятельности тем, что набросилась на все романы, какие только находились в нашей деревенской библиотеке, и поглотила их неимоверное количество. По счастью, никаких «дурных» романов у нас в доме не имелось, хотя в плохих и в бездарных недостатка не было. Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением. Они ввели ее в неведомый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии. С ней повторилось то же самое, что за много веков перед тем было с бедным Дон Кихотом: она уверовала в рыцарей и самое себя вообразила средневековой барышней.

На беду еще наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его: Château Palibino*. Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой ведущей в нее лестницы заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутин, увесила ее старыми коврами и оружием, выконанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное местопребывание. Как теперь вижу я ее гибкую, стройную фигуру, облеченную в плотно обтягивающее ее белое платье, с двумя тяжелыми белокурыми косами, свешивающимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно, на большую дорогу, не едет ли рыцарь.

---

* Замок Палибино *(фр.)*.

— Soeur Anne, soeur Anne! Ne vois tu rien venir?

— Je ne vois gue la terre gui poudroit et l'herbe gui verdoit!*

Наместо рыцаря приезжал исправник, приезжали акцизные чиновники, приезжали жиды скупать у отца водку и быков, а рыцаря все не было. Наскучило, наконец, сестре ждать его, и рыцарский период прошел у нее столь же быстро, как и начался.

В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд».

После Гастингского сражения «Эдит-Лебединая шея» нашла в числе убитых труп любимого ею короля Гаральда. Перед самою битвою он совершил клятвопреступление, смертный грех, и умер, не успев покаяться. Душа его обречена на вечные муки.

После этого дня исчезла и Эдит из родного края, и никто из ее близких не слыхал более о ней. С тех пор прошло много лет, и самая память об Эдит начала забываться.

Но на противоположном берегу Англии, среди диких скал и лесов стоит монастырь, известный своим строгим уставом. Там живет уже много лет одна монахиня, наложившая на себя обет вечного молчания и восхищающая всю обитель подвигами своего благочестия. Она не знает покоя ни днем, ни ночью; в ранние часы утра и в глухую полночь виднеется ее коленопреклоненная фигура перед распятием Христа в монастырской часовне. Всюду, где есть какой-нибудь долг совершить, помощь подать, чужое страдание утешить, — всюду является она первою. Ни один человек не умирает в околотке без того, чтобы над его смертным одром не склонилась высокая фигура бледной монахини, без того, чтобы чела его, уже покрытого холодным предсмертным потом, не коснулись ее бескровные уста, скованные страшным обетом вечного молчания.

Но никто не знает, кто она такая, откуда она пришла. Лет двадцать тому назад явилась к воротам монастыря закутанная черным покрывалом женщина и после долгого таинственного разговора с игуменьей навсегда осталась тут.

* Сестра Анна, сестра Анна! Не видишь ли ты — идет кто-нибудь? — Я вижу только пылящую землю и зеленеющую траву. *(фр.)*

Тогдашняя игуменья давно уже умерла. Бледная монахиня все расхаживает тут, как тень, но никто из ныне живущих в монастыре не слыхал звука ее голоса.

Молодые монахини и бедный люд во всей окрестности поклоняются ей, как святой. Матери приносят к ней больных детей, чтобы она коснулась их рукою, в надежде, что они исцелятся от одного ее прикосновения. Но есть также люди, которые поговаривают, что, верно, в молодости она была великой грешницей, если ей приходится путем такого самобичевания искупать прошлое.

Наконец, после многих, многих лет самоотверженной работы наступает ее смертный час. Все монахини, и молодые, и старые, столпились у ее смертного одра; сама мать-игуменья, уже давно лишившаяся употребления ног, велела перенести себя в ее келью.

Вот входит священник. Властью, данной ему господом нашим Иисусом Христом, он разрешает умирающую от наложенного ею на себя обета молчания и заклинает ее поведать им перед кончиной, кто она такая, какой грех, какое преступление тяготеет на ее совести.

Умирающая с усилием приподнимается на постели. Ее бескровные губы словно окаменели в их долгом молчании и отвыкли от людской речи; в течение нескольких секунд они шевелятся судорожно и машинально, прежде чем им удается издать какой-нибудь звук. Наконец, повинуясь приказанию своего духовного отца, монахиня начинает говорить, но голос ее, не раздававшийся в течение двадцати лет, звучит глухо и неестественно.

— Я — Эдит,— с трудом произносит она.— Я невеста погибшего короля Гаральда.

При звуке этого имени, проклинаемого всеми благочестивыми служителями церкви, робкие монахини в ужасе совершают крестное знамение. Но священник говорит:

— Дщерь моя, ты любила на земле великого грешника. Король Гаральд проклят нашей общей святой матерью — католической церковью, и не будет ему никогда прощения: вечно гореть ему в адском огне. Но бог видел *твое* многолетнее подвижничество. Он оценил твое раскаяние и слезы. Иди с миром. В райской обители ждет тебя другой, бессмертный жених.

Впалые, словно восковые щеки умирающей внезапно покрываются румянцем. В ее, казалось, давно поблекших глазах вспыхивает страстный, лихорадочный огонь.

— Не надо мне рая без Гаральда! — восклицает она

к ужасу всех присутствующих монахинь. — Если Гаральд не прощен, пусть и меня не зовет бог в свою обитель!

Монахини стоят молча, оцепенелые от ужаса, а Эдит, с неестественным усилием приподнявшись со своего одра, повергается ниц перед распятием.

— Великий боже! — взывает она своим надломленным, уже почти нечеловеческим голосом. — За один миг страданий твоего сына ты снял со всего человечества печать прирожденного греха. А я в течение двадцати лет умираю каждый день, каждый час медленной, мучительной смертью. Ты видел, ты знаешь мои страдания. Если я заслужила ими перед тобой — прости Гаральда! Яви мне перед смертью знамение: когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собою свеча перед распятием. Тогда я буду знать, что Гаральд прощен.

Священник читает «Отче наш». Торжественно, внятно произносит он каждое слово. Монахини, и молодые, и старые, шепотом повторяют за ним святую молитву. Между ними нет ни одной, которая не проникнулась бы жалостью к несчастной Эдит, которая не отдала бы охотно собственной жизни за спасение души Гаральда.

Эдит лежит распростертая на земле. Ее тело уже сведено судорогой, и вся ее угасающая жизнь сосредоточилась только в ее глазах, устремленных на распятие.

Свеча все не загорается.

Священник прочел молитву. «Аминь»,— провозгласил он печальным голосом.

Чуда не совершилось. Гаральд не прощен.

Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор ее погас навеки.

И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры. Ее воображению в первый раз в жизни ясно представились вопросы: есть ли будущая жизнь? Все ли кончается смертью? Встретятся ли два любящих существа на том свете и узнают ли друг друга?

С той необузданностью, которую она вносила во все, что делала, сестра вся проникнулась этими вопросами, точно она первая на них натолкнулась, и ей преискренне стало казаться, что она не может жить, не получив на них ответа.

Как теперь помню, был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было так удивительно стройно и хорошо. В открытые окна

врывался запах роз и скошенного сена. С фермы доносилось мычанье коров, блеяпье овец, голоса рабочих, — все разнообразные звуки деревенского летнего вечера,— но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя.

У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване, с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у нее надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

— Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила ее в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

— Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудная, эта жестокая книга, — она указала на роман Бульвера, — заставила меня глубже заглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно, ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась головой в подушку дивана.

Это искреннее отчаяние 16-летней девушки, в первый раз наведенной на мысль о смерти чтением экзальтированного английского романа, эти патетические, книжные слова, обращенные к десятилетней сестре, все это, вероятно, заставило бы улыбнуться взрослого. Но у меня сердце буквально замерло от ужаса, и я вся преисполнилась благоговением к важности и серьезности мыслей, занимающих Анюту. Вся краса летнего вечера внезапно померкла для меня, и я даже устыдилась той беспричинной радости, которая за минуту перед тем переполняла все мое существо.

— Но ведь мы же знаем, что есть бог и что после смерти мы пойдем к нему, — попробовала я, однако, возразить. Сестра посмотрела на меня кротко, как взрослый на ребенка.

— Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом, — сказала она голосом очень печальным, но вместе с тем преисполненным такого сознания превосходства надо мной, что я тотчас почему-то устыдилась ее слов.

После этого вечера с сестрой моей произошла большая перемена. Несколько дней после этого она ходила кротко-печальная, изображая всем своим видом отречение от благ земных. Все в ней говорило: memento mori*. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами были забыты. На что любить, на что желать, когда все кончается смертью!

Сестра не дотрогивается больше ни до единого английского романа; они ей все опротивели. Зато она жадно поглощает «Imitation de Jésus Christ»** и решается, подобно Фоме Кемпийскому, путем самобичевания и самоотречения заглушить возникающие в душе сомнения.

С прислугой она небывалым образом кротка и снисходительна. Если я или младший брат о чем-нибудь просим ее, она не ворчит на нас, как бывало иногда прежде, а тотчас уступает нам, но с видом такой душу сокрушающей résignation***, что у меня сжимается сердце и пропадает всякая охота к веселью.

Все в доме преисполнились уважением к ее благочестивому настроению и обращаются с ней нежно и осторожно, как с больной или с человеком, потерпевшим тяжелое горе. Только гувернантка недоверчиво пожимает плечами, да папа подтрунивает за обедом над ее туманным видом, «son air ténébreux»****. Но сестра покорно переносит насмешки отца, а с гувернанткой обращается с такой изысканной вежливостью, которая бесит последнюю, пожалуй, больше грубости. Видя сестру свою такою, и я ничему не могу радоваться; даже стыдно, что я еще не довольно сокрушаюсь, и втайне завидую силе и глубине чувств своей старшей сестры.

Продолжалось это настроение, однако, недолго. При-

* помни о смерти *(лат.)*.

** «Подражание Иисусу Христу» *(фр.)*.

*** покорности судьбе *(фр.)*.

**** «мрачным видом» *(фр.)*.

ближалось 5 сентября: это были именины моей матери, и день этот всегда праздновался у нас в семье с особенной торжественностью. Все соседи, верст на пятьдесят в окружности, съезжались к нам; набиралось человек до ста, и уже всегда к этому дню устраивалось у нас что-нибудь особенное: фейерверк, живые картины или домашний спектакль. Приготовления начинались, разумеется, задолго наперед.

Мать моя была большая любительница домашних спектаклей и сама играла хорошо и с большим увлечением. В нынешнем году у нас только что отстроили постоянную сцену, совсем как следует, с кулисами, занавесью и декорациями. В соседстве было несколько старых записных театралов, которых всегда можно было завербовать в актеры. Матери очень хотелось домашнего спектакля, но теперь, когда у нее была взрослая дочь, ей как будто совестно было выказывать слишком много азарта к этому делу; ей бы хотелось, чтобы все это устроилось якобы для удовольствия Анюты. А Анюта тут-то, как нарочно, напустила на себя монашеское настроение духа!

Помню я, как осторожно, несмело подступала к ней мать, стараясь навести ее на мысль о домашнем спектакле. Анюта сдалась не тотчас же; сначала она обнаруживала большое презрение ко всей этой затее: «как хлопотливо! и к чему!» Наконец, она согласилась, как бы уступая желаниям других.

Но вот съехались участвующие, приступили к выбору пьесы. Это, как известно, дело нелегкое: надо, чтоб пьеса была и забавна, и не слишком вольна, и не требовала большой постановки. В этом году остановились на французском водевиле «Les oeufs de Perette»*. Анюте в первый раз приходилось участвовать в домашнем спектакле на правах взрослой барышни; ей досталась, разумеется, главная роль. Начались репетиции; у нее обнаружился удивительный сценический талант. И вот, боязнь смерти, борьба веры с сомнениями, страх таинственного au delà** — все улетучилось. С утра до вечера звучит по всему дому звонкий голос Анюты, распевающий французские куплеты.

После маминых именин она опять горько плакала,

* «Яйца Перетты» *(фр.)*.

** потустороннего мира *(фр.)*.

но уже по другой причине: потому что отец не хотел сдаться на ее убедительные просьбы поместить ее в театральную школу, — она чувствовала, что ее призвание в жизни — быть актрисой.

## VIII

## <НИГИЛИЗМ АНЮТЫ>

В то время, когда Анюта мечтала о рыцарях и проливала горькие слезы о судьбе Гаральда и Эдит, большинство интеллигентной молодежи в остальной России было охвачено совсем другим течением, совсем другими идеалами. Поэтому увлечения Анюты могут показаться, пожалуй, странным анахронизмом. Но тот уголок, в котором лежало наше имение, был так удален от всяких центров, такие крепкие, высокие стены ограждали Палибино от внешнего мира, что волна новых веяний могла достигнуть в наш мирный заливчик лишь долгое время спустя после того, как она поднялась в открытом море. Зато, когда эти новые течения дошли, наконец, до берега, они сразу охватили Анюту и увлекли ее за собой.

Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи — сказать трудно. Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи — оставлять по себе мало следов. Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот перед ним совсем иная формация, совсем новые типы, а откуда они взялись, как развились они из прежних,— он сказать не может.

Окаменелые экземпляры вполне развитых типов всюду находятся во множестве, ими битком набиты все музеи, но рад-радешенек бывает палеонтолог, если ему где-нибудь случайно удастся выкопать череп, несколько зубов, кусочек отдельной кости какого-нибудь переходного типа, по которым он может воссоздать в своей научной фантазии тот путь, каким совершалось развитие. Можно подумать, что природа сама ревниво стирает и сглаживает все следы своей работы; она как будто щеголяет совершенными образцами своего творчества, в которых ей удалось воплотить какую-нибудь вполне

развитую мысль, но она немилосердно уничтожает самую память о своих первых неуверенных попытках.

Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду.

Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей — отречься от детей.

Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то — убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу — учиться, которая в Петербург — к «нигилистам».

Главным пугалом всех родителей и наставников в палибинском околотке была какая-то мифическая коммуна, которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге. В нее — так, по крайней мере, уверяли — вербовали всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом. Молодые люди обоего пола жили в ней в полнейшем коммунизме. Прислуги в ней не полагалось, и благородные барышни-дворянки собственноручно мыли

полы и чистили самовары. Само собою разумеется, что никто из лиц, распространявших эти слухи, сам в этой коммуне не был. Где она находится и как она вообще может существовать в Петербурге, под самым носом у полиции, никто точно не знал, но тем не менее существование подобной коммуны никем не подвергалось сомнению.

Вскоре и в непосредственной близости от нашего дома стали обнаруживаться признаки времени.

У приходского священника, отца Филиппа, был сын, всегда прежде радовавший сердца своих родителей добронравием и послушанием. И вдруг, кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша ни с того, ни с сего превратился в непокорного сына и наотрез отказался идти в священники, хотя ему стоило только руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство, архиерей, призвал его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта заманчивая перспектива не прельстила молодого поповича. Он предпочел уехать в Петербург, поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет ученья на чай да на сухую булку.

Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его вместо того пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею, якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы, что бедный огорошенный батюшка схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой.

В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.

Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на вопрос человека: «что ему угодно?» — ответил, что просто пришел к генералу с визитом.

Отец мой уже наслышался немало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодовал, что молодой выскочка вздумал явиться к нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».

Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился нимало и, уходя, проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в его доме не будет».

Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.

Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала в кабинет отца и с раскрасневшимися щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека».

Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, Анютин внезапный припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.

Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придавать выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в присутствии Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступаться за конюха; разумеется, и царевна, и ее protégé были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину сказку, не сму-

щаясь нимало, а напротив, с задорным и вызывающим видом.

Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.

Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами, как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зонтиком в ручках поигрывает. А он себе шагает с ней рядом, своими длинными ножищами — ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И все-то он что-то разглагольствует и руками размахивает. А то вдруг вытащит из кармана растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».

Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца или на того средневекового рыцаря, о которых когда-то мечтала Анюта. Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный вульгарный выговор на О, несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, все это не делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами. Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романтической подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.

И, действительно, главный prestige молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало того, он имел даже счастье видеть собственными очами — правда, только издали — многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные: «Revue des deux Mondes» и «Atheneum» из иностранных, «Русский вест-

ник» — из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого пошиба: «Современник», «Русское слово», каждая новая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже нумер запрещенного «Колокола» (Герцена).

Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против них и спорила. Но, во всяком случае, под влиянием разговоров с поповичем и чтения доставаемых им книг она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.

К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его уехать и не возвращаться на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты, продолжали расти и развиваться.

Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятишек и учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает.

Но всего замечательнее то, что у Анюты, ненавидевшей прежде ученье, явилась теперь страсть учиться. Наместо того, чтобы, как прежде, тратить свои карманные деньги на наряды и тряпки, она выписывает теперь целые ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: «Физиология жизни», «История цивилизации» и т. д.

Однажды пришла Анюта к отцу и высказала вдруг совершенно неожиданное требование: чтобы он отпустил ее одну в Петербург учиться. Отец сначала хотел обратить ее просьбу в шутку, как он делывал и прежде, когда Анюта объявляла, что не хочет жить в деревне. Но на этот раз Анюта не унималась. Ни шутки, ни остроты отца на нее не действовали. Она горячо доказывала, что из того, что отцу ее надо жить в именье, не следует еще, чтобы и ей надо было запереться в деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья.

Отец, наконец, рассердился и прикрикнул на нее, как на маленькую.

— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану! — сказал он.

Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали очень натянутые; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась шпилька или язвительный намек.

Вообще в семье нашей стал происходить теперь небывалый разлад. Общих интересов и прежде было немного, но прежде все члены семьи жили каждый сам по себе, просто не обращая большого внимания друг на друга. Теперь же образовалось словно два враждебных лагеря.

Гувернантка с самого начала выступила ярой противницей всех новых идей. Анюту она окрестила нигилисткой и «передовой барышней». Это последнее название звучало как-то особенно ядовито в ее устах. Инстинктом чувствуя, что Анюта что-то такое затевает, она стала подозревать ее в самых преступных замыслах: убежать тайком из дома, обвенчаться с поповичем, поступить в пресловутую коммуну. Поэтому она стала бдительно и недоверчиво наблюдать за каждым ее шагом. А Анюта, чувствуя, что гувернантка за ней подсматривает, нарочно, чтобы подразнить ее, стала окружать себя раздражительною и обидною таинственностью.

То воинственное настроение, которое господствовало теперь в доме нашем, не замедлило отразиться и на мне. Гувернантка, и прежде не одобрявшая моего сближения с Анютой, теперь стала ограждать свою воспитанницу от «передовой барышни», словно от заразы. Насколько могла, она мешала мне с сестрой оставаться наедине и на каждую мою попытку убежать из классной наверх, в мир взрослых, стала смотреть как на преступление.

Этот бдительный надзор гувернантки страшно надоедал мне. Я тоже чутьем чувствовала, что у Анюты завелись какие-то новые, прежде небывалые интересы, и мне страстно хотелось понять, в чем именно дело. Вся-

кий раз почти, когда мне случалось вбежать неожиданно в комнату Анюты, я заставала ее за письменным столом, что-то пишущей; я пробовала несколько раз допытаться у нее, что такое она пишет, но так как Анюте уже не раз доставалось от гувернантки за то, что она не только сама с пути сбилась, но и сестру совратить хочет, то, боясь новых упреков, она всегда прогоняла меня от себя.

— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим! — говорила она нетерпеливо.

Я возвращалась в классную с чувством досады и раздражения на гувернантку, из-за которой и сестра мне ничего сказать не хочет. Бедной англичанке все труднее и труднее становилось ладить со своей воспитанницей. Из разговоров, которые велись за обедом, я поняла, главным образом, то, что слушать старших теперь не в моде. Вследствие этого чувство субординации во мне очень ослабело. Ссора моя с гувернанткой происходила теперь почти ежедневно, и после одной особенно бурной сцены эта последняя объявила, что не может более оставаться у нас.

Так как угроза уехать повторялась ею не раз и прежде, то вначале я не обратила на нее большого внимания. На этот раз, однако, дело оказалось серьезным. С одной стороны, гувернантка зашла уже слишком далеко и не могла с честью отказаться от своей угрозы; с другой стороны, постоянные сцены и истории так всем надоели, что родители мои не стали ее удерживать, в надежде, что без нее, быть может, в доме станет тише.

Но до самого конца мне не верилось, что гувернантка уедет, пока не наступил, наконец, самый день отъезда.

## IX

## ОТЪЕЗД ГУВЕРНАНТКИ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ АНЮТЫ

Большой старомодный чемодан, аккуратно обтянутый холщовым чехлом и перевязанный веревками, с утра стоит в передней. Над ним высится целая батарея картоночек, корзиночек, мешочков, узелков, без которых ни одна старая дева не может пуститься в путь. Старенький тарантас, запряженный тройкой в самой про-

стой подержанной сбруе, которую кучер Яков всегда пускает в дело, когда предстоит дальняя дорога, уже ждет у подъезда. Горничные суетятся, вынося и прибирая разные мелочи и безделушки, но папашин камердинер Илья стоит неподвижно, лениво прислонившись к косяку двери и выражая всей своей пренебрежительной позой, что предстоящий отъезд уже не ахти какой важный и что из-за него подымать суматоху в доме не стоит. Семья наша вся собралась в столовой. Следуя обычному порядку, отец приглашает всех присесть перед дорогой; господа занимают передний угол, а несколько поодаль теснится вся собравшаяся дворня, почтительно присевшая на кончиках стульев. Несколько минут проходят в благоговейном молчании, во время которого невольно охватывает душу чувство первной тоски, неизбежно вызываемое всяким отъездом и расставанием. Но вот отец подает знак встать, крестится на образа, остальные следуют его примеру, и затем начинаются слезы и обниманья.

Я гляжу теперь на мою гувернантку, в ее темном дорожном платье, увязанную теплым пуховым платком, и она вдруг представляется мне совсем иною, чем я привыкла ее видеть. Она как будто внезапно постарела; ее полная энергичная фигура словно осунулась; глаза ее, «молниеносные», как мы тихонько, в насмешку, прозвали их, от которых не ускользал ни один из моих проступков, теперь красны, припухли и полны слез. Кончики губ ее нервно вздрагивают. В первый раз в жизни она кажется мне жалкою. Она обнимает меня долго, судорожно, с такой порывистой нежностью, которой я никогда от нее не ожидала.

— Не забывай меня, пиши. Ведь шутка ли расставаться с ребенком, которого я вырастила с пятилетнего возраста! — говорит она, всхлипывая. Я тоже припадаю к ней и начинаю отчаянно рыдать. Мною овладевает жестокая тоска, чувство невозвратимой утраты — точно с ее отъездом вся наша семья распадается. И к этому примешивается еще сознание собственной виновности. Мне до боли стыдно вспомнить, что все последние дни, не далее как сегодня поутру, меня охватывало тайное ликованье при мысли о ее отъезде и о предстоящей свободе.

«Так вот и я дождалась своего, вот она и взаправду уезжает, вот мы и без нее остаемся». И в эту минуту

мне так ее жалко, что я бы, кажется, бог знает что дала, чтобы ее удержать. Я цепляюсь за нее, точно не могу от нее оторваться.

— Пора ехать, чтобы засветло поспеть в город, — говорит кто-то. Вещи уже все снесены в экипаж. Гувернантку тоже подсаживают. Еще одно долгое, нежное объятие.

— Барышня, берегитесь, не попадите под лошадей! — кричит кто-то, и экипаж трогается.

Я взбегаю наверх, в угловую комнату, из окон которой видна вся длинная, с версту, березовая аллея, ведущая от дома на большую дорогу, и припадаю лицом к стеклу. Пока виден экипаж, я не могу оторваться от окна, и чувство моей собственной виновности все усиливается. Боже мой! Как мне жаль в эту минуту уехавшую гувернантку! Все мои столкновения с ней — а их было особенно много за это последнее время — кажутся мне теперь в совсем ином свете, чем прежде.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто, никто не любит!» — думается мне с поздним раскаянием, и всхлипывания мои становятся все громче и громче.

— Это ты о Маргарите так сокрушаешься? — спрашивает, пробегая мимо меня, брат Федя. В голосе его слышатся и удивление, и насмешка.

— Оставь ее, Федя. Это делает ей честь, что она такая привязчивая, — слышу я за собой наставительный голос старой тетки, которую никто из детей не любит, почему-то считая ее фальшивой. Как насмешка брата, так и слащавая похвала тетки действуют на меня одинаково неприятным, отрезвляющим образом. Я с детства не могла выносить, чтобы люди, мне равнодушные, утешали меня в сердечном горе. Поэтому я с гневом отталкиваю руку, которую тетка, в виде ласки, положила мне на плечо, и, пробормотав сердито: «Я вовсе не сокрушаюсь и я вовсе не привязчивая», — убегаю к себе в комнату.

Вид опустелой классной чуть было не пробудил во мне нового пароксизма отчаяния; только мысль, что никто не будет мешать мне теперь быть с моей сестрой сколько мне угодно, несколько утешила меня. Я решилась тотчас же побежать к ней и посмотреть, что она делает.

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале.

Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так хотелось знать, о чем-то думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю, наконец, терпение и делаю попытку заговорить.

— Анюта, мне очень скучно! Дай мне одну из твоих книжек почитать! — прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит.

Опять несколько минут молчания.

— Анюта, о чем ты думаешь?— решаюсь я, наконец, спросить.

— Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты еще мала, чтобы я тебе все говорила, — получаю я презрительный ответ.

Теперь уже я в конец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала, я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать кому-нибудь о том, что ее так занимает, а так как ни с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

— Послушай, — говорит она, — если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я клянусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

— Пойдем в мою комнату, — говорит она торжествен-

но. — Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю — хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящичков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на котором вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Крюковской» и, наконец, подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что я думаю, я почти слово в слово могу передать его.

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо ваше, полное такого искреннего и милого доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа.

Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои первые литературные опыты на оценку. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в вас, что я боюсь, не нахожусь ли я и теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: «разовьется ли из вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же № моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую

вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить; общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе; сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно все это знать для правильной оценки вашего таланта.

Преданный Вам Федор Достоевский».

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что все это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

— Понимаешь ли ты, понимаешь! — заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! — почти прокричала она в порыве неудержимого восторга.

Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились как к чему-то приходящему к нам издалека, из какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, ко-

торый бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то проезжий журналист из Петербурга.

И вдруг теперь сестра моя — писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой! И ему-то было суждено стать отцом писательницы.

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Ростопчину. Он видел ее в Москве в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени — и мой отец в том числе — безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется в Баден-Бадене, в зале рулетки.

— Смотрю я, глазам не верю, — рассказывал часто отец: — идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею запанибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все до последнего золотого и кричит своим адъютантам: «Eh bien, messieurs, je suis vidée! Rien ne va plus*. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство!

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность,

* Ну вот, господа, я опустошена! Больше ничего не будет *(фр.)*.

которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О-ва (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как, разумеется, под своим именем она печатать не могла).

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновику. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною.

Содержание этого рассказа было следующее. Героиня, Лиленька, живет среди людей пожилых, потрепанных жизнью и запрятавшихся в тихий уголок, чтобы в нем искать покоя и забвения. Такой же страх к жизни и ее треволнениям стараются они внушить и Лиленьке. Но ее манит и влечет к себе эта неизвестная жизнь, от которой до нее доносятся лишь смутные отголоски, как отдаленный плеск волны скрытого за горами моря. Она верит, что есть места,

Где люди живут веселее,
Где жизнью живут, а не ткут паутин.

Но как попасть к таким людям? Незаметно для самой себя Лиленька заразилась предрассудками той среды, в которой живет. Почти бессознательно представляется ей на каждом шагу вопрос: прилично ли барышне так поступать или нет? Ей бы хотелось вырваться из того тесного мира, в котором она живет, но все некомильфотное и вульгарное ее пугает.

Однажды на городском гулянье она знакомится с молодым студентом (разумеется, герой повести того времени должен был быть студентом). Этот молодой человек производит на нее глубокое впечатление, но она держит себя так, как прилично благовоспитанной барышне, и виду не показывает, что он ей нравится, и знакомство их так на этой встрече и обрывается.

Поскучала после этого Лиленька на первых порах, потом успокоилась, и лишь когда случайно, среди различных сувенирчиков ее бесцветной жизни, которыми, как у большинства барышень, набиты ящики ее комода, ей попадалась какая-нибудь безделушка, напоминающая этот незабвенный вечер, она торопилась захлопнуть

ящик и потом весь день ходила недовольная и угрюмая.

Но вот однажды приснился ей сон: пришел к ней студент и стал ее упрекать, зачем она не пошла за ним. Перед Лиленькой во сне проходит ряд картин жизни честной, трудовой, с милым ей человеком, в среде умных товарищей, жизни, полной теплого, ясного счастья в настоящем и необъятного запаса надежд на будущее. «Смотри и кайся! Такая была бы наша жизнь с тобой!» — говорит ей студент и исчезает.

Проснулась Лиленька и под влиянием своего сна решилась пренебречь заботой о том, что прилично для молодой девушки. Она, никогда до сих пор не выходившая из дому иначе, как в сопровождении горничной или лакея, уходит теперь тайком, берет первого попавшегося ваньку и едет в ту дальнюю бедную улицу, где — она знает — живет ее милый студент. После многих поисков и приключений, обусловленных ее неопытностью и бестолковостью, она находит, наконец, его квартиру, но там от жившего с ним вместе товарища узнает, что бедняга уже несколько дней назад умер от тифа. Товарищ рассказывает, как тяжела была его жизнь, какую нужду он терпел и как в бреду несколько раз поминал какую-то барышню. В утешение или в укор плачущей Лиленьке он говорит ей стихи Добролюбова:

Боюсь, чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской.

Вернулась Лиленька домой, и никто из ее домашних никогда не узнал, где она пропадала этот день. Но у нее самой навсегда сохранилось убеждение, что она прогуляла свое счастье. Она прожила недолго и умерла, сокрушаясь о даром потраченной молодости, которую и помянуть было нечем.

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую

повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зрелее. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто.

— А ведь это, пожалуй, и правда! — сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу,— но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился,— прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печальная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история.

Произошло это опять 5 сентября, достопамятный день в летописях нашего семейства. Собралось у нас, по обыкновению, множество гостей. В этот самый день ожидали почту, приходившую к нам в имение всего раз в неделю. Обыкновенно экономка, на имя которой Анюта переписывалась с Федором Михайловичем, выходила встречать почтальона и отбирала от него свои письма, прежде чем он относил почту к барину. Но на этот раз она захлопоталась с гостями; на беду тот почтальон, который обыкновенно привозил почту, выпил маленько по случаю барыниных именин, т. е. оказался мертвецки пьяным, и на место его послали мальчика, не знавшего заведенных порядков. Таким образом, сумка с почтою попала в кабинет папаши, не подвергшись предварительному осмотру и очищению.

Отцу тотчас бросилось в глаза страховое письмо на имя нашей экономки со штемпелем журнала «Эпоха». Что за притча такая? Он велел позвать к себе экономку и заставил ее открыть письмо в своем присутствии. Можно или, лучше сказать, невозможно представить себе, что за сцена воспоследовала. На беду еще в этом именно письме Достоевский посылал сестре гонорар за ее повести: помнится, триста с чем-то рублей. Это обстоятельство, т. е. что сестра тайком ото всех получает деньги от незнакомого мужчины, показалось отцу таким позорным и обидным, что с ним сделалось дурно. У него была болезнь сердца да еще желчные камни в печени; доктора говорили, что всякое волнение для него опасно,

может привести к внезапной смерти, и возможность подобной катастрофы была общим пугалом всех членов семейства. При всякой неприятности, которую дети ему причиняли, у него чернело лицо, и нами тотчас овладевал страх, что мы убьем его. А тут вдруг такой удар! И как нарочно — весь дом полон гостями!

В этом году в нашем уездном городе квартировал какой-то полк; по случаю маминых именин все офицеры и с ними полковник съехались у нас и в виде сюрприза привезли полковых музыкантов.

Именинный обед уже часа три как кончился. В большой зале наверху были зажжены все люстры и канделябры, и гости, успевшие отдохнуть после обеда и переодеться к балу, начали сходиться. Офицерики, пыхтя и тужась, натягивали белые перчатки; воздушные барышни в тарлатановых платьях и огромных кринолинах, бывших тогда в моде, вертелись перед зеркалами. Моя Анюта в обычное время относилась свысока ко всему этому обществу, но теперь парядная обстановка, бальная музыка, пропасть света, сознание, что она на балу самая красивая и нарядная, все это опьяняло ее. Забыв свое новое достоинство русской писательницы, забыв, как мало походят эти красные, потные офицерики на тех идеальных людей, о которых она мечтала, она кружилась между ними, улыбалась всем и каждому и наслаждалась сознанием, что всем им кружит головы.

Ждали только отца, чтобы начать танцы. Вдруг в комнату вошел человек и, подойдя к маме, сказал ей: «Их превосходительство нездоровы. Просят вас пожаловать к себе в кабинет».

Всем сделалось жутко. Мама поспешно встала и, подбирая рукой шлейф своего тяжелого шелкового платья, вышла из залы. Музыкантам, ожидавшим в соседней комнате условного знака, чтобы заиграть кадриль, приказали подождать.

Прошло полчаса. Гости начали беспокоиться. Наконец, вернулась мама. Лицо ее было красно и взволнованно, но она старалась казаться покойной и улыбалась принужденно, натянуто. На заботливые вопросы гостей: «что такое с генералом?» она отвечала уклончиво:

— Василий Васильевич почувствовал себя не совсем хорошо, просит вас извинить его и начать танцы без него.

Все заметили, что происходит что-то неладное, но из

приличия никто не настаивал; к тому же всем хотелось поскорее танцевать, раз уже собрались и нарядились для этого. И вот танцы начались.

Проходя мимо матери в фигуре кадрили, Анюта заботливо заглянула ей в глаза и прочла в них, что произошло что-то недоброе. Улучив минутку, в антракте между двумя танцами, она отвела мать в сторону и пристала к ней с расспросами.

— Что ты наделала! Все открыто! Папа прочел письмо Достоевского к тебе и чуть не умер на месте со стыда и отчаяния,— сказала бедная мама, с трудом сдерживая слезы.

Анюта страшно побледнела, но мама продолжала:

— Пожалуйста, хоть теперь сдержи себя. Вспомни, что у нас гости, которые все рады про нас посплетничать. Поди и танцуй, как будто ничего не случилось.

Итак, мать и сестра продолжали танцевать почти вплоть до утра, обе вне себя от страха при мысли о той грозе, которой предстояло разразиться над их головами, лишь только разъедутся гости.

И, действительно, гроза разразилась ужасная.

Пока все не разъехались, отец никого не пускал к себе на глаза и сидел, запершись у себя в кабинете. В антрактах между танцами мать и сестра убегали из залы и прислушивались у его дверей, но войти не смели, а возвращались к гостям, терзаясь мыслью: что с ним теперь? не худо ли ему?

Когда все в доме утихло, он потребовал Анюту к себе и чего-чего только не наговорил ей! Одна его фраза особенно врезалась ей в памяти:

— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать! Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время — и себя будешь продавать!

Бедная Анюта так и похолодела, услышав эти ужасные слова. Положим, она в душе сознавала, что это вздор; но отец говорил так уверенно, тоном такого глубокого убеждения; его лицо было такое убитое, сокрушенное, притом его авторитет в ее глазах все еще был так силен, что у нее невольно, хоть на минуту, явилось мучительное сомнение: не ошиблась ли она? Не совершила ли, сама не сознавая, чего-нибудь ужасного и непристойного?

Несколько дней после этого, как всегда бывало после всякой домашней истории, все в доме ходили как в воду опущенные. Прислуга сейчас обо всем проведала. Папашин камердинер Илья, по своей похвальной привычке, подслушал весь разговор отца с сестрой и объяснил его по-своему. Весть о случившемся, разумеется, в преувеличенном и искаженном виде, разнеслась по всему околотку, и долгое время спустя между соседями только и было толков, что об «ужасном» поступке палибинской барышни.

Мало-помалу буря улеглась, однако. У нас в семье произошел феномен, часто повторяющийся в русских семьях: дети перевоспитали родителей. Начался этот процесс перевоспитания с матери. В первую минуту, как всегда бывало при столкновениях детей с отцом, она всецело взяла его сторону. Ей стало страшно, что он захворает, и она вознегодовала: как это может Анюта так огорчать отца! Видя, однако, что уговоры не помогают, а что Анюта ходит печальная и обиженная, ей стало жаль и ее. Скоро у нее явилось любопытство прочесть Анютину повесть, а потом тайная гордость, что ее дочь — писательница. Таким образом, ее сочувствие перешло на сторону Анюты, и отец почувствовал себя совсем одним.

В первую минуту, сгоряча, он потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговаривали целыми днями, и сестра не являлась даже к обеду. Мать бегала от одного к другой, уламывая и уговаривая.

Наконец, отец сдался. Первым шагом его на пути уступок было то, что он согласился прослушать Анютину повесть.

Чтение происходило очень торжественно. Вся семья была в сборе. Вполне сознавая важность этой минуты, Анюта читала голосом, дрожащим от волнения. Положение героини, ее порывания вон из семьи, ее страдания под гнетом налагаемых на нее стеснений — все это так походило на собственное положение автора, что это каждому невольно бросалось в глаза. Отец слушал молча, не проронив ни слова во все время чтения. Но когда Анюта дошла до последних страниц и, сама едва сдерживая рыдания, стала читать, как Лиленька, умирая, сокрушалась о даром потраченной молодости, на глазах

у него вдруг выступили крупные слезы. Он встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни в следующие дни он не говорил с Анютой о ее повести; он только обращался с ней удивительно мягко и нежно, и все в семье понимали, que sa cause était gagnée*.

Действительно, с этого дня в нашем доме началась эра мягкости и уступок. Первым проявлением этой новой эры было то, что экономка, которой отец сгоряча отказал от места, получила свое милостивое прощение и осталась при должности.

Вторая мера кротости была еще поразительнее: отец разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей лично с ним познакомиться.

Как уже было сказано, мать и сестра почти каждую зиму ездили в Петербург, где у них была целая колония тетушек, старых дев. Они занимали целый дом на Васильевском острове и при приезде матери и сестры отводили им у себя комнаты две-три. Отец оставался обыкновенно в деревне; меня тоже оставляли дома, на попечениях гувернантки. Но в нынешнем году, так как англичанка уехала, а новоприбывшая швейцарка еще не пользовалась достаточным доверием, то мать, к моей неописанной радости, решила и меня взять с собою.

Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

Сколько приготовлений было к этой дороге! На кухне стряпали и жарили столько вкусных вещей, что их хватило бы, кажется, на целую экспедицию. Повар наш славился во всем околотке своею слойкой, и никогда не

* что ее дело выиграно *(фр.)*.

прилагал он столько старания к этому делу, как когда готовил сдобные пирожки на дорогу господам.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше! Забудешься на минутку, вдруг проснешься от толчка, и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая,— все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг ярким лучом выступит в уме сознание: где мы, куда едем, и как много хорошего, нового предстоит впереди,— вся душа переполнится таким ярким, захватывающим счастьем!

Да, чудесная была эта дорога! И осталась она чуть ли не самым светлым воспоминанием моего детства.

## X

## ЗНАКОМСТВО С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

По приезде в Петербург Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

— Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность,— напутствовал он мать, отпуская нас из деревни.— Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист

и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, à bout de ses ressources*, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

— Всегда-то, всегда-то все испортят! — повторяла она, судорожно рыдая.

Бедная мама чувствовала себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

— Вот ты всегда такая: ничем не довольна! Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты

* исчерпав свои возможности *(фр.)*.

нас же винишь! — упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так нанеред готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые, давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивая друг друга, шутили и смеялись.

Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже 43 года! — думала я. — Неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

— Какая у вас славная сестренка! — сказал вдруг Достоевский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила даже Достоевскому, что я пишу стихи: «право, право, совсем недурные для ее лет!» И несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей.

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» — было ее первою мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того, что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: «стреляй!» — когда вдруг, наместо того, забил барабан и пришла весть о помиловании.

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому под-

вергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже,— о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть бог, есть!— закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал,— рассказывал Федор Михайлович,— что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог!— закричал я,— и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди,— продолжал он,— и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели, как замагнетизированные, совсем под обаянием

его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся:

— Не бойтесь,— сказал он,— я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии в мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки «О мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута; за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана, и ноет, ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать: что

бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку.

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

— Федор Михайлович! Помилосердуйте! Ведь дети тут!— взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать его очень полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развесть в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер из старой памяти, pour cette pauvre, chére Lise*.

Общество собралось у нас довольно большое, но очень

* ради этой милой бедняжки Лизы *(фр.)*.

разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на минутку под конец вечера, однако слова не сдержал). Был также какой-то очень старый, лысый и очень важный сановник немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

— Она была очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не короша!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренне робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость.

Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение нехорошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

— Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

— Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей,— сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов; это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков. Он считался очень блестящим молодым человеком; был и красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе — все это как следует, в меру и не чересчур. И карьеру он делал тоже как следует, не нахально быструю, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства. На правах родственника он ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной воз-

можности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир, живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклоняясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», этого «самодовольного нахала», а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен!

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником,— параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет, для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают евангелие.

— Да разве евангелие написано для светских дам?— выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский.— Там вон стоит: «Впачале сотворил бог мужа и жену» или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак! А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек!

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость ска-

занного и все заговорили разом, желая заглушить ее. Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам, мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но, при ее удивительной доброте и мягкости, она ни на кого не могла долго сердиться, а всего менее на такого человека, как Федор Михайлович, поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась.

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый. Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить.

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

— Да бросьте же шить! — скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье.

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

— Где вы вчера были? — спрашивает Федор Михайлович сердито.

— На балу,— равнодушно отвечает моя сестра.

— И танцевали?

— Разумеется.

— С троюродным братцем?

— И с ним, и с другими.

— И вас это забавляет? — продолжает свой допрос Достоевский.

Анюта пожимает плечами:

— За неимением лучшего и это забавляет,— отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

— Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! — решает он, наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды гораздо более крайние, чем каких действительно придерживались.

— Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! — кричал иногда Достоевский.— Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!

— Пушкин действительно устарел для нашего времени,— спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того, как отношения между Достоевским и моей сестрой, по-видимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью,— сестре вдруг вздумается при-

твориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга — она же нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился тогда Федор Михайлович,— то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде измене против сестры и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликованье каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

— Вы воображаете себе, что очень хороши,— говорил он сестре.— А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.

— А ведь, может быть, это и правда,— говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их

на ночь в две косы. Это дело требует времени; волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович! — начинаю я, наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое? — спрашивает сестра рассеянно, очевидно, совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой,— говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную маленькую смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаться.

— Бывают разные вкусы! — говорю я сердито.

— Да, бывают странные вкусы! — замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры,— думается мне и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: — Господи, боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой,— сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех talents d'agrément*, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех

* изящных, приятных талантов *(фр.)*.

пор я училась игре на фортепьяно, как учатся большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и уменье скоро читать по нотам.

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась: вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез.

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу, и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепьяно, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он както раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathétique* Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно, положив на нее пропасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъ-

* патетическую сонату (*фр.*).

езда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится,— все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.

Но, боже мой, что я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не друж-

бой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.

— Это ты, Соня? — окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.

Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.

Хотя мне и было всего 13 лет, я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет так, как шло эти месяцы.

«И вдруг, разом, все, все кончено!» — твердила я с отчаянием, и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!

Что такое кончилось, что изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!

«И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?» — упрекала я их с несправедливым озлоблением.

«Ну, и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!» — говорила я себе несколько секунд спустя, но слезы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль.

Время шло. Теперь мне бы хотелось, чтобы Анюта

пришла за мной. Я негодовала на нее, зачем она не приходит. «Им дела нет до меня, хоть бы я умерла! Господи! Если бы мне в самом деле умереть!» И мне вдруг стало невообразимо жалко самое себя, и слезы потекли сильнее.

«Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!» — подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась на кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества.

Первые слезы, когда организм еще не привык к страданию, утомляют скоро. Пароксизм острого отчаяния сменился тупым оцепенением.

Из парадных комнат не доносилось до нашей спальни ни единого звука, но в соседней кухне слышно было, как прислуга собиралась ужинать. Стучали ножи и тарелки; горничные смеялись и разговаривали. «Всем весело, всем хорошо, только мне одной...»

Наконец, по прошествии, как мне казалось, нескольких вечностей, раздался громкий звонок. Это вернулись с обеда мама и тетушки. Послышались торопливые шаги лакея, идущего отворять; затем в передней раздались громкие веселые голоса, как всегда, когда возвращаются от гостей.

«Достоевский, верно, не ушел еще. Скажет ли Анюта сегодня маме, что случилось, или завтра?» — подумалось мне. А вот я и его голос различила в числе других. Он прощается, торопится уйти. Напряженным слухом я могу даже расслышать, как он надевает галоши. Вот опять захлопнулась парадная дверь, и вскоре после этого по коридору раздались звонкие шаги Анюты. Она отворила дверь спальни, и яркая полоса света упала мне прямо на лицо.

Моим заплаканным глазам этот свет показался обидно, нестерпимо ярким, и чувство физической неприязни к сестре внезапно подступило к горлу.

«Противная! радуется!» — подумалось мне с горечью. Я быстро повернулась к стене и притворилась спящею.

Анюта, не торопясь, поставила свечу на комод, потом

подошла к моей кровати и простояла несколько минут молча.

Я лежала, не шевелясь, притаив дыхание.

— Ведь я вижу, что ты не спишь! — проговорила, наконец, Анюта.

Я все молчала.

— Ну, хочешь дуться, так дуйся! Тебе же хуже, ничего не узнаешь! — решила, наконец, сестра и стала раздеваться как ни в чем не бывало.

Помнится, мне снился в эту ночь чудесный сон. Вообще это очень странно: когда бы в жизни ни обрушивалось на меня большое, тяжелое горе, всегда потом, в следующую за тем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны. Но как тяжела зато бывает минута пробуждения! Грезы еще не совсем рассеялись; во всем теле, уставшем от вчерашних слез, чувствуется после нескольких часов живительного сна приятная истома, физическое довольство от восстановившейся гармонии. Вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что совершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться.

Много есть в жизни скверного! Все виды страдания отвратительны! Тяжел пароксизм нервого острого отчаяния, когда все существо возмущается и не хочет покориться и постигнуть еще не может всей тяжести утраты. Едва ли не хуже еще следующие за тем долгие, долгие дни, когда слезы уже все выплаканы и возмущение улеглось, и человек не бьется головой о стену, а сознает только, как под гнетом обрушившегося горя у него на душе совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления.

Все это очень скверно и мучительно, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности — чуть ли не самые тяжелые из всех.

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее.

Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она

тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его не было. Вот мы уже и за обед сели, а он не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того, как время шло, и он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «Верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала и, не глядя на нее, спросила:

— Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться!

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая!» — подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая! — повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом.— Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? — в человека, который в три с половиной раза ее старше! — сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудили в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила я шепотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

— Вот видишь ли,— начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: — я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! — она совсем оживилась, а у меня опять за-

щемило сердце,— но как бы тебе это объяснить? я люблю его не так, как он... ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! — решила она вдруг.

Боже! как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиняться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз, проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощанье было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил.

Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» — наивно замечал Достоевский в конце своего письма.

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного. Но дорога стерла

с души моей последние следы только что пережитой бури.

Уехали мы в апреле. В Петербурге стояла еще зима; было холодно и скверно. Но в Витебске нас встретила уже настоящая весна, совсем неожиданно, в каких-нибудь два дня вступившая во все свои права. Все ручьи и реки выступили из берегов и разлились, образуя целые моря. Земля таяла. Грязь была невообразимая.

По шоссе все шло кое-как, но, доехав до нашего уездного города, нам пришлось оставить на постоялом дворе нашу дорожную карету и нанять два плохих тарантасика. Мама и кучер ехали и беспокоились: как-то мы доберемся! Мама главным образом боялась, что отец будет упрекать ее, зачем она так долго засиделась в Петербурге. Однако, несмотря на все аханья и стоны, ехать было отлично.

Помню я, как мы, уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не прикрикивал на лошадей: слышалось только шлепанье их подков по грязи да слабое, порывистое бряцанье бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебристым светом, да так ярко и так неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы как бы по обоюдному соглашению, прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки по-прежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!



## ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В РУССКОЕ ИЗДАНИЕ «ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА» 1890 Г.

### <ПАЛИБИНО>

Та местность, где находилось именье Круковских, была очень дика, но более живописна, чем большинство местностей средней полосы России. Витебская губерния известна своими громадными хвойными лесами и множеством больших красивых озер. По некоторым ее уездам проходят еще последние отроги Валдайской возвышенности, так что в ней нет еще таких громадных равнин, как в центре России, а напротив того, весь пейзаж носит характер извилистый и волнистый. Камня, разумеется, мало, как и всюду в России; случается, однако, что вдруг среди ровного поля или поемного луга с травой в рост человека совсем неожиданно натолкнешься на большую гранитную глыбу. Эта глыба так странно выступает из окружающей ее сочной зелени, так не подходит под мягкий округленный характер остального пейзажа, что, увидя ее, невольно спросишь себя: какими судьбами попала она сюда? Невольно приходит в голову: не памятник ли она, оставленный по себе какими-то неведомыми, может быть, сверхъестественными существами? И в самом деле, геологи утверждают, что глыба эта здесь заносная гостья, что она принесена сюда издалека и действительно представляет собой интересный памятник — только не вымершего народа и не сказочных гномов,— но того великого ледникового периода, когда громадные скалы отрывались, как мелкие песчинки, от берегов Финляндии и переносились на громадные расстояния под всесокрушающим напором медленно двигающегося вперед льда.

Почти к самой усадьбе Круковских примыкал с одной стороны лес. Вначале расчищенный и похожий на парк, он становился мало-помалу все гуще и непроходимее и сливался наконец с громадным казенным бором. Этот последний тянулся на целые сотни верст в окружности и, с памяти человека, не стучал в нем топор иначе, как разве когда ночью, исподтишка, в руках вора-крестьянина, пришедшего попользоваться казенным деревом.

Про лес этот ходили в народе странные легенды, в которых трудно было отличить, где кончается правда, где начинается миф. Водилась в нем, разумеется, как во всех русских лесах, разная лесная нечисть: лешие и русалки; но хотя в существовании их мало кто сомневался, однако, по правде сказать, кроме деревенской дурочки Груни да старого знахаря Федота, кажется, никто не видал их воочию. Зато гораздо больше было людей, которые могли порассказать о встрече в лесу с тем или другим недобрым человеком. По слухам, в самой чаще леса существовали целые притоны разбойников, конокрадов и беглых солдат, и не поздоровилось бы становому и исправнику, если бы кому из них вздумалось заглянуть на то, что делается в лесу ночью. Что же касается волков, рысей и медведей, то редкий из местных жителей не имел хоть раз в жизни случая убедиться собственным опытом, что они-то, по крайней мере, несомненно водятся в лесу.

Надо сказать, впрочем, что медведи жили с окрестными крестьянами в довольно миролюбивых отношениях. Разве когда ранней весной или поздней осенью услышишь, что медведь задрал у мужика корову или лошадь; обыкновенно же мишка довольствовался тем, что таскал у своих соседей снопы овса с поля или мед из их пчельника. Редко, редко пронесется вдруг слух, что медведь облапил мужика, да и то всегда потом окажется, что виноват был сам мужик, который первый задел бедного мишку.

К лесу многие питали почти суеверный страх. Если случалось, бывало, в одной из окрестных деревень, что какая-нибудь крестьянка хватится вечером своего ребенка, первое, что придет ей в голову,— это то, что он в бору заплутался, и начнет она голосить по нем, как по мертвому. Ни одна горничная в доме Круковских не решилась бы пойти в лес одна без спутника; но обще-

ством, особенно в сопровождении молодых лакеев, они, конечно, охотно бегали в лес. Отважная гувернантка англичанка, страстно любившая моцион и длинные прогулки, отнеслась сначала свысока ко всем рассказам про лес, которыми стали пугать ее тотчас по ее приезде к Круковским, и решила, что будет ходить в лес гулять, что бы пугливые бабы про него не болтали. Но когда однажды осенью, отойдя одна со своими воспитанницами на расстояние не более часа от дома, она вдруг услышала в лесу треск и вслед за тем увидела огромную медведицу, которая с двумя медвежатами переходила через дорогу, в шагах пятидесяти от нее,— она должна была сознаться, что не все преувеличено в рассказах про лес, и с тех пор и она не стала отваживаться <уходить> далее опушки иначе, как в сопровождении кого-нибудь из лакеев.

Но не все только страшное приходило из леса. Были в нем неисчерпаемые запасы всякого добра. Водилось в нем несметное количество дичи — зайцев, тетеревов, рябчиков, куропаток. Иди себе охотничек и постреливай только; и самый неумелый, со старой кремневой винтовкой, и тот может рассчитывать на добычу. Летом разной ягоде конца не было. Сначала пойдет, бывало, земляника, которая, правда, поспевает в лесу несколько позже, чем на полях, но зато бывает гораздо сочней и душистее. Не успеет она отойти, как уже, смотришь, пошла голубица, костяника, малина, потом брусника; а тут, того и гляди, подоспеют орехи, а затем начинается грибное раздолье. Подберезовиков и подосинников попадается немало и летом, но для груздей, для боровиков, для рыжиков настоящая пора осень. На баб, на девок да на ребятишек во всех окрестных деревнях находит в это время просто исступление какое-то. Из леса их силой не вытащишь. Целой гурьбой отправляются они в него с восходом солнца, вооруженные корзинами, чашками, лукошками, и до позднего вечера их и не жди домой. И жадность же у них какая является! Уж сколько, кажется, добра понатаскали они сегодня из лесу, а все им мало! — завтра, чуть забрезжит свет, уж их опять в лес так и тянет. На сборе грибов все их мысли помутились; из-за грибов они все и домашние и полевые работы побросать готовы.

В доме Круковских тоже предпринимались иногда,— летом, во время земляники, или осенью, в грибную по-

ру,— целые экспедиции в лес. В них участвовали все домашние, за исключением только самих барина и барыни, которые оба не были охотниками до подобных сельских удовольствий.

С вечера сделаны все распоряжения. На следующее утро, с первым лучом восходящего солнца, уже подъезжают две-три телеги к крыльцу. В доме начинается веселая, праздничная суетня. Горничные бегают, торопятся, сносят и уставляют в телеги посуду, самовар, разную провизию, чай, сахар, миски, полные пирожков и ватрушек, вчера еще напеченных поваром. Сверх всего остального набрасывают пустые корзины и кузовы, предназначаемые для будущего сбора грибов. Дети, поднятые с постель не в привычный час, с заспанными лицами, по которым только что прошлась мокрая губка, заставляя их запылать ярким румянцем, бегают тут же. От восторга они не знают, что и начать, за все хватаются, мешают всем и умудряются каждому непременно попасться под ноги. Дворовые собаки, разумеется, не менее заинтересованы в предстоящей поездке. С самого утра они уже находятся в состоянии нервного возбуждения; шныряют между ногами, заглядывают людям в глаза, зевают протяжно и громко. Наконец, утомленные волнением, они растягиваются на дворе перед крыльцом, но вся их поза выражает напряженное ожидание; беспокойными взорами следят они за всем, что происходит, при первом знаке готовы вскочить и помчаться. Вся интенсивность их собачьей природы сосредоточена теперь на одной мысли: как бы господа не уехали без них!

Вот, наконец, сборы кончены. В телегах разместились как попало гувернантка, учитель, дети, штук 10 горничных, садовник, человека 2—3 из мужской прислуги, да штук пять дворовых ребятишек. Вся дворня пришла в волнение; каждому хочется участвовать в веселой поездке. В последнюю минуту, когда уже телеги было тронулись, прибежала вдруг судомойкина дочка, пятилетняя Аксютка, и подняла такой рев, увидя, что матка ее уезжает, а она остается, что пришлось и ее посадить в телегу.

Первый привал назначен у сторожки лесника, верстах в десяти от усадьбы Круковских. Телеги едут мелкой рысцой по вязкой лесной дорожке. Только в передней из них сидит на облучке настоящий кучер; остальными правят добровольцы, которые поминутно переби-

вают друг у друга вожжи из рук и невпопад дергают лошадь то вправо, то влево. Внезапный толчок. Телега наехала на толстый корень. Всех подбросило кверху. Маленькая Аксютка чуть и совсем не вылетела; едва-едва успели ухватить ее за ворот платья, как хватают щенка за шиворот. На дне телеги послышался зловещий звон битого стекла.

Лес становится все гуще, все непроницаемее. Куда ни глянешь — всюду ели, мрачные, высокие, с темно-бурыми корявыми стволами, прямыми, как исполинские церковные свечи. Только по краям дороги ползет мелкий кустарник — орешина, бузина и преимущественно ольшина. Кое-где мелькнет трепещущийся, раскрасневшийся к осени осиновый лист или ярко вспыхнет обремененная гроздьями живописная рябина.

Из одной из телег раздаются вдруг громкие испуганные ахи! Тот, кто сидит в ней заместо кучера, задел своей шапкой молодую, еще мокрую от росы ветку березы, низко перевесившуюся над дорогой. Ветка раскачнулась и с размаха хлестнула всех сидящих в телеге, обдав их мелкими душистыми брызгами. Смеху, шуткам, остротам конца нет.

Вот и сторожка лесника виднеется. Изба его крыта тесом и на вид несравненно уютнее и чище, чем обыкновенные избы у белорусских мужиков. Она стоит на небольшой полянке и (редкая роскошь у крестьян в этой местности) окружена небольшим огородом, в котором среди кочанов капусты пестреют головки мака и сияют два или три ярко-желтых подсолнечника. Те несколько яблонь, которые высятся среди огорода, обремененные румяными яблоками, составляют особенную гордость своего хозяина, так как он сам пересадил их из леса дичками, потом привил их и теперь может поспорить своими яблоками с любым из соседей помещиков.

Леснику уже лет под семьдесят; борода у него длинная, совсем белая, но вид у него еще бодрый, очень важный и степенный. Ростом и всем сложением он крупнее большинства мизерных белорусов, и на лице его как будто отражается окружающий лес с его ясным, величавым спокойствием. Детей своих он всех уже пристроил: дочек выдал замуж, сыновей определил к какому-нибудь ремеслу на стороне. Теперь он живет один со своей старухой да с приемышем, взятым им на старости, мальцом лет пятнадцати.

Завидя господ еще издали, старуха побежала ставить самовар; когда же телеги подъехали к крыльцу, и она и старик вышли им навстречу, кланяясь в пояс и прося дорогих гостей не побрезгать их чаем. Внутри изба тоже чистая и прибранная, хотя воздух в ней все же спертый и пропитанный запахом ладана и деревянного масла от лампады, так как окошечки в ней, из боязни морозов зимой, совсем крошечные и отворяются плохо. После свежего лесного приволья в первые минуты кажется здесь и дышать нельзя, но в избе так много интересного, что дети скоро свыкаются с ее тяжелым воздухом и начинают с любопытством оглядываться по сторонам. По глиняному полу рассыпаны еловые ветки; вдоль всех стен идут лавки, по которым прыгает теперь ручная галка, с подрезанными крыльями, нисколько не смущаясь присутствием большого черного кота, очевидно своего хорошего приятеля. Этот последний сидит на задних лапах, умываясь одной из передних, и с притворным равнодушием оглядывает гостей сквозь полузажмуренные веки. В переднем углу стоит большой деревянный стол, покрытый белою скатертью с вышитым бортом, а над ним высится громадный киот с удивительно безобразными и очевидно необычайно древними образами. Про лесника говорят, что он раскольник и что именно благодаря этому-то обстоятельству он и живет так опрятно и так богато, потому что известно, что раскольники никогда не ходят в кабак и придерживаются большой чистоты в своих жилищах. Говорят тоже, что леснику приходится ежегодно откупаться недешево и от исправника и от сельского попа, чтобы они не вмешивались в его религиозные убеждения, не принуждали его ходить в православную церковь и не следили за тем, посещает он или нет раскольничьи молельни. Еще рассказывают про него, что он сам никогда не съест куска в православном доме, а что у себя он держит для православных гостей особую посуду. Хотя бы эти гости были и господа, он ни за что не подаст им ничего в той чашке, из которой сам ест,— это значило бы осквернить чашку совсем так же, как если бы из нее поела собака или другое нечистое животное. Детям ужасно бы хотелось знать, правда ли, что «дядя Яков» (так они зовут лесника) брезгует ими, но они не решаются его спросить.

Дядю Якова они очень любят. Быть у него считает-

ся большим удовольствием; когда же он иногда заходит в гости к ним в Палибино, то всегда приносит им какой-нибудь подарок, более приходящийся им по вкусу, чем самые дорогие игрушки. Так, например, раз он привел с собой молодого лося, который долго потом жил у них за загородкой в парке, но совсем ручным никогда не сделался.

Огромный медный самовар пыхтит на столе, на котором расставлены разные необыкновенные кушанья: варенец*, лепешки с маком, огурцы с медом, все такие лакомства, которые никогда не достаются детям иначе, как только у дяди Якова. Лесник усердно угощает своих гостей, но сам ни до чего не дотрогивается (значит, правда, что брезгует, думают дети) и ведет степенную, неторопливую беседу с учителем. В его белорусской речи попадается немало выражений, непонятных для детей, но они все же ужасно любят слушать, как дядя Яков говорит: он знает так много про лес, про зверей в нем, про то, что каждый зверь думает.

Теперь уже около шести часов утра. (Как странно: в обыкновенные дни спишь еще в постельке в это время, а сегодня уж чего, чего только не было!) Мешкать нельзя больше. Вся компания вразброд рассыпается по лесу, перекрикиваясь и аукая время от времени, чтобы не разойтись слишком далеко и не заплутаться в лесу.

Кто-то наберет всех больше грибов? Этот вопрос волнует теперь всех; у каждого разгорелось самолюбие. Соне кажется в эту минуту, что нет ничего важнее на свете для нее, как поскорей наполнить свою корзинку. «Господи, пошли мне много, много грибов!» — думает она, невольно влагая ужасно много страсти в эту молитву и, завидя издали красную чашечку подосиновика или черную головку подберезовика, со всех ног кидается в ту сторону, чтобы неравно кто не перебил у ней намеченную добычу. А сколько у ней бывает разочарований! То примет она сухой лист за гриб, то вдруг покажется ей плотная, светло-бурая шапочка боровика, скромно выползающая из моха. Схватит она ее с восторгом — глядь, а снизу не сплошное белое донышко, а глубокие разрезные бороздки. Оказывается, это просто молодень-

---

* Русское кушанье: простокваша каким-то особым образом запекается в печке и через это становится очень жирною и вкусною. *(Примеч. С. В. Ковалевской.)*

кий, никуда не годный валуй принял сверху обманчивый вид боровика! Но всего обиднее для Сони, если она пройдет по какому-нибудь месту, ничего не заметя, а востроглазая Феклуша, чуть не из-под носу у ней, выхватит молоденький прелестный грибок. Эта несносная Феклуша! Она словно чутьем узнает, где гриб, просто из-под земли их выкапывает. У ней уже верхом полна вся корзина, и притом все больше белыми или рыжиками, подосинников — и тех мало, а лисичек, маслят и сыроежек она вовсе не берет. И что у ней за грибы! Все как на подбор — маленькие, чистые, красивенькие,— хоть сырыми их ешь! У Сони же корзина полна всего только наполовину, и то вон сколько в ней больших, дряблых шляпух, которых и показать стыдно...

В три часа опять привал. На полянке, на которой пасутся распряженные лошади, кучер развел костер. Лакей бежит к ближнему ручью наполнять взятые с собой графины водой. Горничные разостлали на земле скатерть, ставят самовар, расставляют посуду. Господа садятся отдельной кучкой, прислуга, из почтения, размещается немножко поодаль от них. Но это разделение длится только первые четверть часа. Сегодня день такой особенный, что никаких сословных различий как будто и не существует. У всех один и тот же всепоглощающий интерес: грибы. Поэтому все общество скоро опять перемешивается. Каждому хочется похвастаться собственною добычей и посмотреть, что-то нашли другие. К тому же у всех теперь так много есть что порассказать друг другу; у каждого были свои приключения: кто вспугнул зайца, кто подсмотрел норку барсука, а кто чуть-чуть не наступил на змею.

Поевши и отдохнув немножко, опять идут по грибы. Но прежнего воодушевления уже нет. Усталые ноги тащатся с трудом. Большая корзина, хотя в ней теперь и мало грибов, вдруг стала так тяжела, что совсем оттягивает руку. Воспаленные глаза отказываются служить: то вдруг так ясно померещится гриб там, где его нет, а мимо настоящего гриба пройдешь, совсем его не приметив.

Соня теперь уже равнодушна к тому, наполняется ли ее корзина или нет, но зато она стала гораздо восприимчивее к другим впечатлениям леса. Солнце уже близко к закату; косые лучи скользят промеж голых стволов, окрашивая их в кирпично-бурый цвет. Маленькое лес-

ное озеро с совсем плоскими берегами так неестественно спокойно и тихо, точно заколдованное. Вода в нем темная-темная, почти черная, только в одном месте алеет на ней ярко-багровое, точно кровяное, пятно.

Пора домой. Все общество опять сходится у телег. Днем все так были заняты каждый своим делом, что никто не обращал внимания на других. Теперь все смотрят друг на друга и вдруг разражаются громким, неудержимым смехом. Бог знает, на что все стали похожи! За этот день, проведенный на воздухе, все успели загореть; лица у всех обветрились и пылают. Волосы растрепаны, костюмы пришли в беспорядок неописанный. Отправляясь в эту лесную экспедицию, и барышни и горничные облачились, разумеется, в свои самые старые платья, которые нечего больше беречь. Но поутру все это сходило кое-как с рук; теперь же и глядеть смешно. Кто растерял в лесу ботинки, у кого наместо юбки болтаются какие-то беспорядочные лохмотья. Всего фантастичнее головные уборы. Одна из девушек воткнула большую гроздь ярко-красной рябины в свои черные спутанные косы; другая устроила себе род каски из листа папоротника; третья воткнула на палку чудовищный мухомор и держит его над собой в виде зонтика.

Соня опутала себя всю гибкою веткою лесного хмеля; желтовато-зеленые шишки его перепутались с ее каштановыми, беспорядочно рассыпавшимися по плечам волосами и придают ей вид маленькой вакханки. Щеки ее пылают, и глаза так и искрятся.

«Да здравствует ее величество, цыганская королева!» — говорит брат Федя, насмешливо преклоняя перед ней колено.

Взглянув на нее, гувернантка тоже должна сознаться со вздохом, что она действительно более походит на цыганку, чем на благовоспитанную барышню. А если бы гувернантка знала только, как дорого дала бы в эту минуту сама Соня, чтоб вдруг превратиться в настоящую цыганку! Этот день в лесу пробудил в ее душе столько диких, кочевых инстинктов. Ей бы хотелось никогда не возвращаться домой, всю жизнь проводить в этом чудном, милом лесу. Сколько грез, сколько фантазий о дальних путешествиях, о небывалых приключениях роятся в ее голове...

Возвращение домой совершается в большой тишине. Нет теперь ни веселых криков, ни взрывов смеха, как по-

утру. Все устали, все присмирели, и на всех нашло какое-то странное, почти торжественное настроение духа. Некоторые из девушек затянули песню, такую тихую и заунывную, что у Сони вдруг защемило сердце той странной беспричинной тоской, которая часто находит на нее после минут сильного возбуждения. Но в этой тоске столько своей собственной, своеобразной прелести, что она не променяла бы ее на шумную радость.

Вернувшись домой и лежа в своей кроватке, Соня, несмотря на усталость, долго не может уснуть. В каком-то лихорадочном состоянии между сном и бдением она все еще видит перед собою лес. Она видит его теперь, пожалуй, еще отчетливее, лучше схватывает общее очертание и в то же время яснее подмечает детали, чем днем, в действительности. Много разных мимолетных впечатлений, которые тогда только скользнули по ней, не дойдя вполне до ее сознания, теперь возвращаются живо и назойливо. Вот вырисовывается из темноты громадная муравьиная куча. Каждая еловая хвоя на ней выступает так рельефно, что Соня, кажется, могла бы ее приподнять. Хлопотливые муравьи тащат за собой белые яйца быстро и озабоченно, пока вдруг все куда-то не исчезают вместе с своей кучей, а на место их появляется белый мягкий комочек, похожий на большой ком снега. Соня видит теперь, что он весь состоит из мелких, мелких паутинок, а в самой середине его чернеется темное пятнышко. Ей хочется схватить комок рукой, но не успела она это подумать, как черное пятнышко в середине приходит в быстрое движение и от него во все стороны рассыпаются черные точки, словно радиусы от центра к поверхности. Но это не точки, а черные крошечные паучки, которые все вдруг забегали и засуетились. Соня, действительно, нашла сегодня поутру такой странный комочек, но тогда она его почти не приметила, а вот теперь он представился ей так живо, как настоящий...

И долго ворочается в своей кроватке усталая Соня и все не может отвязаться от назойливых видений, пока не засыпает, наконец, тяжелым, свинцовым сном.

Этот лес, игравший такую роль в детских впечатлениях Сони, примыкал к их усадьбе с одной стороны; с другой же лежал сад, спускавшийся к озеру, а за ним тянулись поля и луга. Кое-где из зелени выглядывали небольшие деревушки, более похожие на норки жи-

вотных, чем на селенья людей. Земля в Витебской губ. далеко не такая плодородная, как в черноземной полосе России и Малороссии. Белорусские крестьяне известны своей бедностью. Недаром же император Николай, проезжая однажды через эти места, назвал Белоруссию бедной красавицей, в противоположность Тамбовской губернии, которую он окрестил богатой купчихой.

Среди этой дикой, малонаселенной местности странно выступал Палибинский дом, с его массивными каменными стенами, с его причудливой архитектурой, с его террасами, окаймленными летом гирляндами роз, с его обширными оранжереями и парниками.

Летом было еще кое-какое оживление в крае, но зимою он весь как бы замирал и становился безлюдным. Снег заметал все дорожки сада и громадными сугробами накапливался к самому лесу. Куда ни глянешь, бывало, из окон, всегда белая безжизненная равнина. Часами не видно никого на большой дороге; кое-где протащатся по ней мужицкие дровни, запряженные тощей, заиндевевшей от холода клячонкой, потом опять долго-долго нет на ней признака жизни или движения, словно замерло все.

Волки подходили иногда по ночам совсем близко к дому.

Сидит, бывало, вся семья Круковских за вечерним чаем. В большой зале рядом зажжена хрустальная люстра, и пламя свечей весело отражается и множится в больших стенных зеркалах. Вдоль стен расставлена дорогая штофная мебель. Перед окнами причудливо вырисовываются большие разрезные листья пальм и других оранжерейных растений. По столам разбросаны книжки и иностранные журналы.

Чай уже отпит, но детей еще не услали спать.

Василий Васильевич курит трубку и раскладывает гранпасьянс. Елизавета Федоровна сидит за фортепьяно и разыгрывает сонату Бетховена или романс Шумана. Анюта расхаживает взад и вперед по зале, уносясь воображением далеко, далеко от действительности. Она видит себя среди блестящего общества царицей бала...

Вдруг в дверях показывается Илья. Он молчит, но переминается с ноги на ногу — его всегдашняя привычка, когда он собирается сообщить что-нибудь особенное.

«Что тебе надо, Илья?» — окликает его, наконец, Василий Васильевич.

«Ничего-с, ваше превосходительство,— отвечает Илья с какой-то странной улыбкой.— Я пришел только доложить, что волков собралось много на нашем озере. Не полюбопытствуют ли господа послушать?»

При этом известии дети приходят, разумеется, в неописуемое волнение и умоляют, чтобы им позволили выйти на крыльцо. Выказав некоторые опасения, как бы они не простудились, отец, наконец, сдается на их просьбы. Детей одевают в теплые шубки, голову им обвязывают пуховым платком, и вот они выходят на террасу, сопровождаемые Ильей.

Чудная зимняя ночь. Мороз такой сильный, что дух захватывает. Хотя луны и нет, но все же светло от массы снега и от мириад звезд, которые, словно крупные гвозди, так и понатыканы по всему небу. Соне кажется, что она еще никогда не видела таких ярких звезд, как сегодня. Они словно перекидываются друг с дружкой лучами и каждая из них так удивительно мерцает, то вспыхнет вдруг ярко, то снова на мгновенье потускнеет.

Куда ни взглянешь — всюду снег, всюду целые массы, целые горы снега, который все прикрывает и все приравнивает. Ступенек террасы не видать совсем; не заметно даже, чтобы она возвышалась над остальным садом; теперь все превратилось в одну белую ровную равнину, незаметно сливающуюся с замерзшим озером.

Но всего удивительнее тишина в воздухе, глубокая, ничем не нарушимая. Дети стоят так несколько минут на крыльце, но все еще ничего не слышно. Ими начинает овладевать нетерпение. «Где же волки?» — спрашивают они.

«Присмирели что-то, как нарочно,— с досадой отвечает Илья.— Но обождите только, авось сейчас опять начнут».

И действительно, вдруг раздается протяжный, с переливами вой, ему тотчас же отвечает несколько других голосов, и вот теперь со стороны озера доносится хор, такой страшный, такой неестественно заунывный, что сердце невольно сжимается.

«Вот, вот они, голубчики! — с торжеством восклицает Илья.— Запели свои песенки. И с чего это полюбилось им наше озеро? В ум не могу взять. Как ночь, так уж выходят они на него целыми десятками».

«Ну что, друг Полкан! — обращается он вдруг к общему любимцу, огромному водолазу, который тоже вы-

скочил за детьми на крыльцо.— Не хочешь ли и ты к ним? Не желаешь ли ты присоединиться к ним и попробовать немного волчьих зубов?»

Но на собаку этот волчий концерт производит, повидимому, страшное впечатление. Обычно такая бойкая и готовая всегда к драке, она теперь прижимается к детям с опущенным хвостом, и весь вид ее выражает непреодолимый страх.

Детей тоже начинает угнетать этот своеобразный дикий хор. Они чувствуют, как их пронизывает нервная дрожь, и торопятся вернуться в теплую, уютную комнату.

## <КУЗЕН МИШЕЛЬ>

Был конец мая. День склонялся к вечеру. Уроки все были кончены. Из открытых окон вносился в комнаты запах только что распустившихся роз, кусты которых гирляндой окружали верхнюю террасу сада. На большой дороге поднялось облако пыли, послышалось мычанье и блеянье: это пастух загоняет домой стадо. В людской раздаются зычные раскаты голоса ключницы Дарьи, встречающей по своему обыкновению бранью собирающихся к ужину работников.

Мало-помалу голоса унимаются. Из рощи за садом начинают доноситься звуки гармоники — обычное вес<елье> всех садов<ников>. Яркая полоса заката на западе постепенно бледнеет. С лугов подымается туман; черные тени ползут со всех сторон.

Я стою в верхней угольной комнате, с которой открывается вид на всю окрестность, и не спускаю глаз с большой дороги. Но с каждой минутой мой кругозор суживается, становится все трудней и трудней различать предметы.

Вся остальная семья тоже тут. В комнате совсем стемнело, трудно уже разглядеть лица. Только огонек папиной трубки вдруг внезапно вспыхивает ярко от его напряженного вдыхания и освещает на секунду его худое смуглое лицо, которое, когда он курит, всегда принимает особенно сосредоточенное, суровое, глубокомысленное выражение, и его худую, несколько сгорбленную фигуру в сером халате с генеральскими полосами.

О свечах все как будто забыли. Разговор совсем не клеится. Кто задумался, кто задремал. Стало совсем тем-

но. Все молчат, и дружный металлический писк комаров сливается в один общий протяжный гул. Но вот стук открывшейся двери заставляет всех встрепенуться. Врасплох разбуженная левретка Гризи с негодующим лаем бросается навстречу вошедшему.

— Уже одиннадцатый час. Прикажете подавать ужин или будем еще ждать? — спросил появившийся в дверях Илья.

— Неужто уже так поздно! Должно быть они сегодня не приедут,— говорит, потягиваясь в кресле и подавляя легкий зевок, мама.

— Да, ждать больше нечего! Подавай ужин,— решает папа.

У меня падает сердце. Значит, на сегодня нет больше надежды. Придется так и отправиться спать, не дождавшись.

«А вдруг они и совсем не приедут и завтра. На место их кучер привезет письмо, что тетя раздумала, что что-нибудь помешало!» — проносится у меня в голове отчаянная мысль.

Мы ждем сегодня из Москвы тетю Маню с ее сыном, которые обещали провести у нас все лето. Впрочем, мы только так называем ее тетей, в сущности же она почти и не родственница, а просто вдова папиного двоюродного брата; я ее и не видала с самого детства; но так как она находилась в постоянной переписке с моими родителями, и я уже много наслышана о ней, то и мой 16-летний cousin Michel уже давно занимал мои мысли. Из тетиных писем нам всегда прочитывались вслух те места, которые касались его, а так как тетя только и жила для сына, то и в письмах ее ему отводилось немало места. В молодости тетя была гувернанткой, покойный дядя влюбился в нее и женился на ней наперекор всем своим родным, с которыми он даже перессорился из-за этого. Дядя был человек с большим состоянием и по рассказам — очень умный, но и очень взбалмошный.

Женившись и перессорившись со всей родней, он вышел в отставку из гвардии и пустился в предприятия. Выучившись самоучкой химии, он тотчас выдумал способ гнать водку из деревянных опилок; но вот какая вышла беда. Пока он работал в своей лаборатории, опыты удавались превосходно; лишь только он построил большой завод, ухлопав в него тысяч пятьдесят, водка вдруг заупрямилась и перестала идти. Дядя заупрямился тоже

и решил во что бы то ни стало настоять на своем и заставить глупую водку вести себя, как ему хотелось. Водка упиралась, дядя горячился, делал все новые и новые усовершенствования в своем заводе, подписывал векселя, закладывал именья. Кто знает, чем бы кончилось дело, если бы вдруг в спор не вмешалась смерть и не прихлопнула дядю совсем внезапно, в самом разгаре его борьбы с водкой.

По смерти его тетя Маня очутилась не в блестящем положении. Завод стоит, именье заложено, кредиторы осаждают со всех сторон. Доброжелательная родня мужа участливо качает головой: «Чего ж и ожидать было от такого сумасброда, который на гувернантке женился!» У дяди оставалась в живых мать, властолюбивая старуха, у которой было свое довольно большое состояние. После женитьбы сына она, разозлившись, совсем прервала с ним сношения, но когда он умер, зашевелилось в ней родительское сердце, и решилась она внука к своим рукам прибрать. Она послала сказать невестке, пусть, дескать, перебирается немедленно к ней на житье с сыном. Сделав это предложение, старуха вместе со всеми окружавшими ее приживалками сама умилилась своему великодушию.

Привыкши к тому, чтобы все ее желания исполнялись немедленно, тотчас выслала она подводу за невесткой, отписав ей, чтоб она приезжала немедленно: «Вещей много не бери и с тряпками своими не возись. Приезжай как в чем есть».

Что невестка может не принять предложения, никому не входило в голову. Тетя Маня с молодости была известна как девушка кроткая, безобидная, всегда подчинявшаяся чужой воле. «Да что ж ей теперь и делать-то осталось! Она за вас, сударыня, всю жизнь бога должна молить! Без вас пришлось бы ей с ребенком побираться по чужим людям!» — говорили приживалки. И вдруг, к общему consternation*, возвращается подвода без тети Мани. От нее только письмо, почтительное, но твердое. «Благодарю вас, маменька, за вашу доброту и ласку. Но должна я сперва в порядок дела покойного моего мужа привести, а что потом буду делать, еще не решила».

Прочитала это письмо старуха-бабушка, так разгнева-

* удивлению *(фр.)*.

лась, что с досады в постель легла и три дня так, не вставая, и пролежала. На четвертый день встала, причесалась, оделась, как ни в чем не бывало, и велела, чтобы при ней никто про мерзавку и поминать не смел. Попробовала бабушка и в губернии хлопотать, и у предводителя дворянства, чтобы похлопотал, нельзя ли тетю Маню от опеки над сыном отставить. Но так как завещание покойного дяди, назначавшего жену полной опекуншей, было в порядке, то она в своих стараниях не успела и наговорила грубостей и дворянскому предводителю, и губернатору, и, рассорившись со всеми, так ни с чем и вернулась.

Тетя Маня между тем обнаружила энергию борьбы. Откуда у ней, бывшей гувернантки, кисейной барышни, вдруг нежданно-негаданно открылась практичность — бог ее знает. Во всяком случае, она повела свои дела так умно, как только возможно было при данных обстоятельствах.

Завод она тотчас закрыла, выхлопотала разрешение опеки продать имение и нашла выгодного покупателя; таким образом, по ликвидации всех счетов оказался у ней капитал тысяч в сорок. Тогда тетя объявила, что в наших краях оставаться не намерена, а переедет в Москву и будет там воспитывать сына.

Решение это тоже взволновало и привело в негодование всю родню. Опять начались толки и посыпались предсказания. «Захотелось молодой вдовушке мужа себе найти, вот почему ей в деревне не сидится»,— говорили наиболее доброжелательные. Днем на людях бабушка крепилась и никогда, ни единым словом не упоминала про невестку и внука, как будто совсем забыла про их существование.

Между тем, ее верная наперсница Домна, угадывая тайные желания своей барыни, ревностно собирала все сплетни и по вечерам, лишь только оставалась с ней наедине и принималась расчесывать на ночь, тотчас, не ожидая расспросов, заводила разговор об интересном предмете и начинала докладывать все самые дикие слухи про «взбалмошную». «Вот погодите, скоро ухлопает она детские остатки, придется ей тогда гордость-то свою смирить и вам в ножки поклониться»,— и этими словами непременно заканчивался ее доклад.

Бабушка набожно крестилась, клала несколько земных поклонов, прежде чем заснуть, долго ворочалась в

постели, глубоко вздыхая, и, вероятно, в сновидениях часто видела исполнение Домниных предсказаний. Однако дни шли за днями, а наяву они не сбывались. Гордячка с повинной не являлась, катастрофы над ней не обрушивалось, замуж она вторично не выходила, а жила себе в Москве тихо и спокойно, вся уйдя, по-видимому, в воспитание сына.

К горечи несбывшихся ожиданий присоединился вскоре для бедной бабушки новый и еще более тяжелый удар — эмансипация. Тут уж она совсем утратила почву под ногами, увидела полное торжество злого принципа, возроптала на бога и, проскрипев немного, вскоре умерла. Внука она так и не видала. За несколько дней до своей смерти она уничтожила завещание, в котором было собиралась лишить его наследства. «Пусть уж все ихнее будет. Пусть торжествует Марья Степановна! Против рожна не пойдешь!» — проговорила она с горечью.

Однако после смерти бабушки тетя Маня все же решилась остаться в Москве и не захотела возвращаться в места, с которыми было связано у ней много тяжелых воспоминаний. Именье бабушки она отдала в аренду, поручив его надзору моего отца. Изо всех родственников своего покойного мужа она с ним одним оставалась в хороших отношениях, и он всегда обнаруживал к ней живое участие и восхвалял ее при всяком удобном случае. Переписывалась она с ним аккуратно, а нам, детям, всегда читались вслух те места из ее писем, где речь шла про ее сына. А так как сын этот составлял главный интерес ее существования, то понятно, что и в письмах ее ему отводилось немало места. Поэтому этот неизвестный мне cousin Michel издавна занимал мои мысли.

«Мы с Мишелем читаем это лето «Робинзон Крузо»,— писала тетя,— и он так увлекся этой книгой, что выдум<ывает> сам такие же истории и в саду у нас в Сокольниках изображает из себя Робинзона. Он собственноручно, при небольшой только помощи кучера, смастерил себе шалаш из досок и вчера даже выпросил у меня позволение провести в нем всю ночь». Затем следовали подробности об этом шалаше, доказывающие, что тетя не менее сына увлекается этой игрой. Подробности эти привели меня в такой восторг, что и я тоже все это лето промечтала построить шалаш, но так как поддержки ни в ком из окружающих не встретила, то мечты мои так и остались мечтами.

«У Мишеля моего обнаруживается большой талант к рисованию, я думаю, из него выйдет живописец»,— писала тетя. В подтверждение этих слов в одном из следующих писем была прислана нам головка акварелью его работы, которая показалась мне чудом искусства и которую я многократно потом принималась срисовывать.

Таким образом, благодаря тетиным письмам, я уже давно принимала участие во всех мелочах Мишелиной жизни.

«Слишком она возится со своим мальчишкой. Сделает она из него тряпку, маменькиного сынка»,— ворчал иногда папа, читая эти длинные и восторженные описания всех Мишелиных гениальных выдумок. Но в моих глазах Мишель представлялся живым олицетворением всего гениального и талантливого, и каждая затея, каждое новое увлечение этого неизвестного мне cousin'a тотчас находили восторженный отголосок в моей душе.

Понятно поэтому, какую радость я ощутила, когда вдруг пришло известие, что тетя намерена на лето приехать в наши края, и так как дом в имении покойной бабушки давно пришел в запустение, то она проживет все лето у нас. Сегодня был день, назначенный для ее приезда. За два дня перед тем послали ей навстречу экипаж. С утра я уже была в волнении, несколько раз выбегала на большую дорогу, но вот уже и ночь настала, а тети все нет.

Мы сели ужинать. С большим разочарованьем на душе я уже собиралась идти спать, как вдруг на большой дороге вдалеке зазвучал колокольчик, сначала тихо, чуть слышно, видно лошади по причине темноты идут шагом; вот звон совершенно умолк. Так всегда бывает, когда экипаж заедет за лесистую горку на повороте дороги. (Я уже хорошо изучила звон почтовых колокольчиков, так как мимо нашего дома идет почтовая дорога. Сколько раз сегодня он возбуждал во мне напрасную надежду!) Но вот колокольчик опять зазвучал все громче, ближе, забористее. Слышно, как сворачивают с большой дороги к нам в аллею. Ямщик, видно, приударил по лошадям. Теперь уже нет сомнения. Еще одна минута, и звон внезапно обрывается. Экипаж остановился у крыльца. Теперь, когда настала минута увидать моего cousin'a, о котором я так много мечтала, на

меня вдруг напала робость. Я не побежала вместе с другими вниз встречать гостей, а продолжала стоять у чайного стола на месте, машинально и в каком-то странном смущении. Снизу слышатся веселые голоса, приветствия, расспросы, звуки поцелуев. Вот, наконец, все входят в комнату. Тетя, высокая стройная женщина, вся в черном, с черной кружевной косыночкой на каштановых волосах, удивительно моложава. Ее гибкая фигура так, кажется, и гнется при каждом ее движении. На ее продолговатом бледном лице разлито выражение удивительной ласки и нежности.

— Здравствуй, Соня,— обращается она ко мне, голос у нее певучий и говорит она, растягивая слова. Тонкие пальцы ее длинных белых рук с ласкою проходят по моим волосам, и бриллиантовое кольцо слегка царапает мне ухо. Я сразу чувствую наплыв нежности к этой милой, незнакомой мне еще тете.

Мишель высокий, довольно полный молодой человек, которому идет уже семнадцатый год (он года на полтора старше меня). Одет он уже не как мальчик, но и не совсем еще как взрослый, в какой-то фантастический костюм — черная бархатная куртка с отложным полуворотником и нанковые панталоны. Он походит на юного художника. Каштановые довольно длинные волосы с пробором на боку подымают живописные вихры над широким белым лбом и затем спускаются мягкими прядками до шеи. Лицо румяное и округленное. Пушок уже заметно оттеняет верхнюю губу. Глаза темно-голубые с густыми черными ресницами, как у матери, имеют такое задумчивое, томное, покорно-ласковое выражение, которое кажется даже странным, неуместным в этом еще почти детском лице. Мишель, очевидно, находится теперь в том неприятном переходном возрасте — и от маленьких уже отстал и к большим еще не пристал, и сам, очевидно, конфузится этого своего переходного состояния.

Вообще он говорит мало и держит себя как-то принужденно и натянуто; привыкший всегда быть предметом обожания своего маленького домашнего кружка, он испытывает неприятную конфузливость, попав в незнакомое общество, где ему кажется, что все его считают за мальчика. А тут еще папа подливает масла в огонь.

— Ну что, перешел в шестой класс гимназии? —

спрашивает он. Вопрос этот остается без ответа, но по напряжённому, натянутому молчанию, которое за ним следует, и по выражению лиц и тети и Мишеля видно, что папа попал прямо в больное место.

— Ну так как же, можно тебя поздравить? — немилосердно, как будто ничего и не замечая, продолжает свой допрос папа.

— Я провалился,— с виду холодно, но с легкой дрожью в голосе объявляет как можно хладнокровнее Мишель.

Папа делает вид, как будто этот ответ совсем для него неожидан.

— Как же это так, братец? — говорит он, оттопыривая немножко вперед верхнюю губу.— При твоих-то способностях да провалиться! Когда ж ты это в университет поступишь!

— Я совсем не поступлю в университет. Я пойду в Академию художеств и буду живописцем,— объявляет с решительным видом Мишель.

— Те-те-те! Вот новости! Славная, обеспеченная карьера — нечего сказать. Долго еще, видно, будешь у матери на шее сидеть! — говорит папа.

— Не из-за денег же одних жить. Есть и другие цели на свете,— задорчиво отвечает Мишель.

Тетя Маня, с глазами, полными слез, переводит умоляющие взгляды со своего сына на моего отца. Разговор этот очень для нее тяжел и касается очень больного для нее места. Дело в том, что она, по обвинению папы и всех других родственников, намудрила со своим мальчиком. Она так боялась для него всяких вредных влияний, что решилась как можно дольше держать его дома, не посылать его в гимназию, а при помощи разных учителей готовить его прямо в университет.

Вначале все шло превосходно. Мишель обнаружил большую развитость, делал быстрые успехи. Раз в год разные тетины друзья и приятели из учителей и педагогов устраивали род домашних экзаменов, на которых всегда обнаруживалось, что познания Мишеля по всем отраслям значительно превосходят познания его сверстников.

Но, увы, пришло, наконец, время, когда уже дольше держать Мишеля было невозможно и пришлось отдавать в гимназию. Оказалось вдруг, что познания эти

неровны, что, обладая большими знаниями по одному предмету, он совсем плох по другим. Особенно математика ему не давалась. На первом же публичном экзамене, который ему пришлось держать, он провалился блистательно. Для мальчика самолюбивого, взросшего на одних похвалах, это было страшным ударом и как-то сразу отбило у него всякую охоту к занятиям.

Одну зиму он еще поработал кое-как, но от излишнего ли волнения, от непривычки ли отвечать публично на следующих приемных экзаменах опять срезался. Тогда он объявил матери, что ни за что не пойдет в университет, а сделается художником. Это решение страшно огорчило бедную тетю Маню, для которой жизнь всякого художника представлялась цепью безумных, таинственных соблазнов, кутежей и опасностей. Собьется он с пути, увлечется фантазиями, как увлекся его отец, кончит так же, как и он! «И я, я одна всему виною. Не сумела удержать мужа, не сумею удержать и сына!» — с отчаянием повторяла себе бедная женщина, проводя целые ночи без сна.

Как ни тяжело ей было признаваться в своей ошибке моему отцу, который и прежде всегда осуждал ее за желание дать исключительное воспитание сыну, она все же решилась переломить себя и обратилась к нему за советом. С этою целью главным образом и приехала она к нам на лето.

— Что мне делать, что мне делать?— повторяла она теперь по уходе Мишеля из комнаты, обращая к моему отцу свои красивые голубые глаза, полные слез.

— Плакать и отчаиваться незачем. Надо за лето поучить его толково, не по-бабьи, как учили его до сих пор,— очень резонно заметил мой отец.

Было решено, что наш поляк-учитель, обладавший очень большой педагогической опытностью, уже подготовивший на своем веку немало учеников к поступлению, возьмется готовить и Мишеля к поступлению в 7-й класс гимназии. Решение это и на мою судьбу имело большое влияние.

Мишель, оскорбленный вчерашним разговором с моим отцом, сначала и слышать не хотел о том, чтобы брать уроки у Малевича.

— Я бы, может, учился и один, если бы хотел. Дело все в том, что я не желаю поступать в ваш университет,

из которого выходят чиновники да адвокаты. Я хочу быть художником,— твердил он самоуверенно.

На следующее утро между ним и матерью вышла страшная сцена. Тетя Маня пустила в ход и слезы и упреки.

— Ты меня не любишь. Ты хочешь меня убить,— твердила она, рыдая.

— Вы хотите насиловать мое призвание ходячими предметами,— патетически твердил Мишель, тоже со слезами в голосе.

Кончилась сцена объятиями и поцелуями. Мишель согласился брать уроки у Малевича, но только под условием, что если осенью ему все же не посчастливится выдержать экзамен, то мать уже не будет противиться его артистическому призванию, а отпустит его за границу, в Мюнхен, учиться живописи у одного известного там художника. Теперь вопрос о том, выдержит ли Мишель осенью экзамен или нет, был, следовательно, роковым вопросом для тети Мани.

Видя в Малевиче якорь спасения для своего Мишеля, она стала окружать его самою изысканной при<ветливостью>, такой заботой, таким вниманием, которые всецело завоевали сердце старого холостяка, весьма чувствительное к обаянию женской ласки. Малевич напрягал все уменье и способности, чтобы переложить собственные знания в голову ученика.

Но, несмотря на все его усердие, дело все же шло плохо. Особенно солоно приходились бедному Малевичу уроки математики. Мишель обнаруживал решительное parti pris* ничего не понимать. В красивых, раз навсегда заученных выражениях, с педагогической отчетливостью докажет, бывало, Малевич какую-нибудь теорему. Мишель выслушает его, по-видимому, внимательно, но когда он кончит, вдруг спросит с невозмутимым хладнокровием:

— А что же все это доказывает?

— Как что доказывает?— закипятится Малевич.— Да разве вы не слышали?— И повторит еще раз все.— И так как A=B, если мы отымем A от B, из чего следует...— выкрикивает он, наконец, торжествующе.

— Нет, позвольте, вовсе этого не следует...— переби-

* намерение *(фр.)*.

вает Мишель.— Хотите, я вам сейчас же докажу совсем обратное.— И начнет он, бывало, нести чепуху в ученых выражениях, подражая и тону и манере Малевича, но так замысловато, что бедный сбитый с толку преподаватель не сразу заметит, где тут погрешность, и только в негодовании разводит руками.

— Очевидно Мишель не хочет понимать!— объявил он, наконец, тете Мане печально.

Тетя Маня должна была согласиться с этим, но все же просила Малевича не унывать и продолжать уроки. Чтобы поддержать рвение и в ученике, и в особенности в учителе, решилась она сама присутствовать на этих несчастных уроках математики. Но так как она в науке этой, разумеется, ровно ничего не смыслила, то дело от ее присутствия пошло не только не лучше, но, пожалуй, еще и хуже.

— Кажется, ясно,— говорит, бывало, Малевич.

— Ничуть не ясно. Видите, и мама — и та ничего не поняла,— убежденным голосом отвечает Мишель.

Тетя Маня пробует уверить, что для нее все совсем ясно, но Мишель тотчас же уличает ее во лжи, и бедный Малевич остается оконфуженным. Он бы, разумеется, давно отказался от этих уроков, если бы у тети не было таких прекрасных синих глаз, которыми она глядела на него так умоляюще и беспомощно.

После долгих размышлений Малевич придумал новое средство заставить Мишеля учиться. «Он мальчик способный и самолюбивый. Если бы он учился вместе с товарищем, он бы постыдился из себя дурака корчить»,— сказал он. Таким образом, было решено взять для Мишеля товарища и, за неимением лучшего, выбор пал на меня.

Я всегда училась отлично и всю арифметику прошла без малейшего труда. Когда тетя, позвав меня к себе, обняла меня своими мягкими белыми руками и своим нежным, вкрадчивым голосом предложила мне учиться вместе с ее Мишелем, чтобы доказать ему, что даже девочка сможет легко понять такие вещи, каких он не понимает, я с первого же ее слова с восторгом согласилась на ее предложение. Мишель, со своей стороны, только плечами пожал, когда ему объявили, что он будет иметь меня товарищем по урокам математики. С первого же нашего общего урока, однако, оказалось, что выдумка

Малевича была как нельзя более хитроумна. Мишель сразу переменил тактику.

— Кто же таких пустяков не понимает! — говорил он теперь пренебрежительно после каждого объяснения Малевича, чтобы не дать мне заважничать тем, что я лучше его по знаниям.

Я, со своей стороны, напрягала, разумеется, все усилия, чтобы быть на высоте возложенной на меня миссии. Таким образом, дело пошло совсем по-иному, и за лето мы как ни в чем не бывало прошли элементы алгебры и геометрии.

Эти совместные уроки, разумеется, очень сблизили меня с Мишелем. В первые дни по его приезде отношения наши были натянутые и принужденные. Меня-то, разумеется, тянуло к моему большому cousin, но я так ясно чувствовала, что в его глазах я совсем ничтожная, неинтересная для него девочка, что невольно робела от этого сознания и не знала, как к нему подступить. Теперь же все это переменилось. Хотя Мишель и обнаруживал на словах презрение к математике и уверял, что до сих пор не учился ей потому, что не хотел, одно очевидно было, что те способности и та легкость понимания, какие я обнаружила во время наших уроков, все же ему импонировали, и хотя он по внешности даже усилил некоторую суровость в обращении со мной, чтобы не дать мне зазнаться, однако было ясно, что я все же значительно выросла в его глазах благодаря этим урокам.

Бо́льшую часть дня мы проводили теперь вместе. Новая гувернантка-швейцарка, заменившая англичанку, была сентиментальная, но весьма миролюбивая и незлобивая старая дева, лелеявшая в сердце лишь одну мечту: скопить достаточно денег, чтобы на старости лет вернуться в родную Швейцарию. Что бы ни встречалось ей по пути здесь, на чужбине, ничего она близко к сердцу не принимала. С первых же дней ее поступления к нам обнаружилось очень ясно, как мало общего между ней и ее четырнадцатилетнею воспитанницею, мало походившей на тех благовоспитанных барышень, с которыми ей прежде приходилось иметь дело. Поэтому после первых слабых попыток она раз навсегда отказалась от мысли приобрести на меня какое-либо нравственное влияние.

Она требовала только, чтобы я часа два в день зани-

малась с нею французским языком, выучивала наизусть длинные монологи из Расина и Корнеля, по вечерам читала ей вслух две-три страницы библии и, кроме того, терпеливо выслушивала бы ее замечания о моих манерах и длинные рассказы о тех князе, княгине и княжнах Мильжинских, у которых она жила, прежде чем поступить к нам. К этому сводились все мои обязанности. Во всем остальном она предоставляла мне почти полную свободу.

По вечерам мы часто делали с Мишелем длинные прогулки и иногда даже решались углубляться одни в лес. Однажды мы забрели особенно далеко. День был душный, и в воздухе парило. Но мы так увлеклись разговором, что и не замечали жары. Омахивая себя своей широкополой соломенной шляпой, Мишель бодро шагал, развивая передо мной целый ряд картин и образов. Благодаря своему одинокому, исключительному воспитанию Мишель мало походил на других юношей его лет. Он читал очень много и без разбора, что ни попадалось в его руки, увлекался предметами самыми разнородными, успел уже много передумать, но до сих пор, кроме матери, ни с кем не делился своими мыслями и для восемнадцатилетнего мальчика был замечательно чист и далек от жизни, молод. Молодых людей своих лет он дичился, в присутствии взрослых мужчин на него находила досадливая робость и страх, чтобы они не сочли его за мальчика. С женщинами он, в сущности, чувствовал себя ловчее и проще, чем с мужчинами, и скорее с ними сходился; но в доме своей матери он имел случай видеть лишь старых, совсем неинтересных женщин.

Я была его первым товарищем, и, уж, право, могу похвалиться, таким товарищем, лучше какого и пожелать нельзя, всегда готовым выслушивать его монологи, понимающим его на полслове и моментально воспламеняющимся всем, что его самого занимало. Как такого товарища Мишель очень ценил меня, хотя, как я уже сказала, обращался со мной несколько сурово и всегда делал вид, что снисходит ко мне, что если гуляет или разговаривает со мной, то делает это исключительно для моего удовольствия. О какой-либо галантности в его отношениях ко мне не было и помину.

Мишель о любви имел понятие очень высокопарное и возвышенное. Он верил, что где-то существует она — образец всех совершенств.

Говоря о женском поле, в разговорах со мной он высказывал взгляды весьма скептические и разочарованные. Не менее презрительно относился он к браку и к буржуазному счастью. Вследствие всех наших разговоров на этот счет я была глубоко проникнута убеждением, что уж если Мишель когда-нибудь влюбится, то это будет существо идеальное, прекрасное, не похожее ни на одну из тех девушек, каких я знала в действительности. Сам Мишель был, кажется, того же убеждения. Вообще грех было бы сказать, чтобы своими ожиданиями от жизни он выказывал слишком много скромности. Он твердо и наивно верил, что совершит нечто великое и прекрасное; в чем это великое будет состоять — решить еще не успел. Зато уверенность в том будущем, которое неизбежно принесет ему судьба, была в нем так велика, что, я думаю, если бы дьявол взвел его на высокую гору и показал бы ему все человеческие доли, какие ни существовали с начала мира, и сказал ему: выбирай любую,— пожалуй, что он не взял бы ни одну из них, из боязни продешевить, из убеждения, что его собственная, еще задернутая до поры до времени таинственная доля будет лучше и прекраснее всех других.

Чаще даже, чем о любви, толковали мы с ним о его будущей карьере.

— Это все пустяки, что мама пристает с экзаменом,— самоуверенно говорил мне Мишель.— Пойду ли я в университет или сделаюсь художником — в сущности, это все равно. Я сам знаю, что теперь не время для процветания художников. Наш век имеет другие, более серьезные задачи. Да, признаюсь тебе, и живопись, как и всякая другая узкая специальность, не в состоянии бы была удовлетворить меня. Но ведь не в этом совсем дело. Люди так глупы, что им всегда нужна какая-нибудь кличка, вот Петр, мол, кузнец, а Иван — сапожник. Ну, так в угоду дуракам, я и возьму себе кличку — художника или адвоката — все равно, какую с меньшей затратой сил приобрести себе можно будет. Для меня это, во всяком случае, будет только кличка, а цель моя не в том — приобрести влияние на людей, m'imposer à mon siècle*, поработить себе массы и ввести человечество на новую дорогу — вот стоит так жить.

* войти в век *(фр.)*.

В это время только появился по-русски перевод Шпильгагенского романа «Один в поле не воин» и романа...

## <О ДОСТОЕВСКОМ>

Достоевский часто рассказывал нам планы задуманных им романов, а иногда сцены и эпизоды из своего прошлого.

— Да, поломала-таки меня жизнь порядком,— говаривал он бывало,— но зато вдруг найдет на нее добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает.

Одним из самых светлых воспоминаний Достоевского были, по его словам, воспоминания, связанные с появлением в свет его первого романа «Бедные люди». Начал он его писать очень молодым, еще будучи учеником в инженерном училище, но кончил в 1845 г., года два после выхода в офицеры.

В это время в русской литературе господствовало направление, совершенно противоположное тому, которое за границей привыкли связывать с представлением о русских романистах.

Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии (в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и в знаменитой драме Грибоедова «Горе от ума») и затем достигший такого блестящего расцвета в сочинениях Гоголя, был на время забыт; вскоре после Пушкина в 1837 г. в литературе проявились совершенно обратные течения. Сам Гоголь впал в мистицизм, граничивший с умопомешательством, отрекся от всех своих прежних убеждений и в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ». В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки и затормозить дело своих великих предшественников. Культ гения и презрение к толпе — было лозунгом этого кружка.

«Все человечество, взятое как целое, глупо и ничтожно,— проповедовали они.— Роль толпы — служить лишь удобрением, на котором могут вырасти несколько отдельных выдающихся личностей. Таких избранников судьбы, «гениев», ради которых существует все человечество, является, быть может, два-три в течение целого столетия; но они составляют «соль земли». Подобно тому, как

агава растет в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распускается пышным цветком, так и миллионы людей должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем из среды себя удается выдвинуть гения. Гений носит в груди своей божественную искру и в делах своих отдает отчет одному богу. Законы обыкновенной нравственности, обязательные для простых смертных, про него не писаны. Толпа должна бежать за колесницей гения, как послушный раб или как влюбленная женщина, и не беда, если колесница эта в своем торжественном шествии придавит сотни маленьких, темных людей».

Великий — расти и возвышайся,
А низкий — терпи и умаляйся.

Вот последнее слово, конечный результат этого культа гения.

Понятно, что подобное аристократическое учение было как нельзя более с руки «рыцарю самодержавия», как звали иногда императора Николая. Оно освещало и объясняло ему смысл его царствования. Поэтому при дворе новый литературный кружок тотчас удостоился благосклонного одобрения, тогда как такие писатели, как Пушкин и Гоголь, только были терпимы.

Душою этого кружка были Сенковский и Кукольник — два «гения», творения которых, увы, составляют уже теперь не более как библиографическую редкость, хотя в течение целых десяти лет они пользовались такою популярностью, какой достигали лишь немногие из русских писателей.

Кукольник писал высокопарными стихами душепотрясающие драмы, в которых выводил на сцену титанов в человеческом образе. Сенковский же, под псевдонимом барона Брамбеуса, издал в свет томов двадцать романов, которым никак нельзя отказать в остроумии и богатстве колорита, но которые не затрагивают ни одного простого человеческого чувства. Художническая фантазия была в нем развита до такой степени, что он оставил уже немало описаний путешествий по Центральной Азии, по Африке, по Южной Америке, хотя сам, кажется, всю жизнь не выезжал из Петербурга.

Впрочем, оба «гениальных» друга привлекали на себя внимание публики не только своими литературными произведениями, но и всевозможными эксцентричностями

своей частной жизни. Весь Петербург интересовался их многочисленными любовными похождениями и теми роскошными пирами, которые они задавали время от времени в редакции издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения».

Этот журнал служил могущественным орудием для распространения взглядов кружка. Были годы, когда он имел до 50 000 подписчиков, цифра, которой никогда ни прежде, ни после не достигал ни один из толстых журналов в России. Его влияние было громадно в провинции, пожалуй, даже больше, чем в самом Петербурге. Он решал судьбу каждого начинающего писателя и либо сразу выводил человека из ничтожества на путь славы, либо бесповоротно, одним махом пера, клеймил его печатью бездарности.

В Москве существовала, однако, маленькая горсточка литераторов, сохранивших некоторую самостоятельность. «Последним из могикансв» старых традиций, завещанных Пушкиным и Гоголем, был гениальный критик Белинский, сочинения которого и теперь поражают глубиною анализа и верностью взгляда. Но голос его долго был гласом вопиющего в пустыне.

Наконец, около 1845 г., в среде молодежи все более и более стал назревать протест против господствующего в Петербурге аристократического направления в литературе. Поверхностность и неудовлетворительность теорий, проповедуемых партией «Библиотеки для чтения», стала сказываться все яснее, а осязательность и законность присвоенного ей себе патента на гениальность стала казаться все более и более сомнительной.

В воздухе чувствовались уже предвестники близкой перемены. Все жаждали нового слова, новых пророков. В это время к Белинскому явился однажды еще молодой человек Некрасов, которому предстояло сделаться в будущем одним из величайших русских поэтов.

Однако он сам еще не отдавал себе сознательного отчета в том громадном даре, которым наделила его природа и который не нашел еще своего направления. Он явился к Белинскому не с тетрадью стихов, а с кипою ассигнаций, полученных им от отца, богатого помещика. На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник», главная задача которого будет состоять в том, чтобы бороться против «Библиотеки для чтения».

Белинский согласился с радостью, но теперь представился вопрос, где подобрать подходящих сотрудников, откуда взять свежие, молодые силы. После блестящего периода Пушкина, Лермонтова и Гоголя в литературе произошел застой, продолжавшийся притом около 10 лет. Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный, писал повести. Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский — все кончили свои годы учения, ни один из них еще не вступил на литературное поприще, поэтому вопрос о сотрудниках сильно затруднял новых издателей.

Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник». Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих „Бедных людей"»,— почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь,— рассказывал Достоевский своим приятелям,— провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?

6 Заказ 1175

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то по-настоящему не был, знал их только в лицо.

Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его; это выше сна».

— Поймите же вы, поймите, что для меня такой их порыв значил,— говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании.— У иного успех — ну хвалят его, встречают, поздравляют. А ведь они прибежали со слезами в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!

Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут»,— с неудовольствием заметил Белинский.

Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.

«Шел я к нему с трепетанием сердца,— рассказывал мне Достоевский,— и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»

И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не зная, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: «Господи, да неужели же я в самом деле так велик?»

Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым, правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.

В публике проявился теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились. Идеи свободы, равенства, братства народов носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.

В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро такие сходки характер политический.

Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общею организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой.

Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замышляли.

Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и

имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь.

Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой таинственностью, но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный, например: можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или — идет ли православная религия с идеями Фурье?

Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и, кроме того, знал о предположении завести тайную типографию.

И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы.

23 апреля 1849 г. был роковой день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы.

«Вернулся я 22 апреля вечером, часов около 2 ночи, от одного из наших товарищей,— рассказывает Достоевский,— разделся, лег спать и тотчас уснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в мою комнату вошли какие-то необыкновенные и подозрительные люди. Брякнула сабля, нахально за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «вставайте!» — Смотрю: квартальный с красивыми бакенбардами. Но говорил не он: говорил господин, одетый в голубое с подполковничьими эполетами*.

— Что случилось?— спросил я, привставая с кровати.— «По повелению»...— Смотрю: действительно «по повелению».

В дверях стоял солдат, тоже голубой.

«Эге! Да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте же мне,— начал я было.

— Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с,— перебил меня подполковник еще более симпатичным голосом.

* Голубой мундир — принадлежит исключительно жандармам, полку, приставленному к тайной полиции. *(Примеч. С. В. Ковалевской.)*

Пока я одевался, они потребовали все книги и начали рыться,— немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хоть и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличной событию.

У подъезда стояла карета; в нее сел солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту*. Там много было ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин штатский, но в большом чине, принимал... беспрерывно входили голубые господа с новыми жертвами.

Нас разместили по различным углам и весь день продержали в томительной неизвестности. Кормили нас, впрочем, на славу: подавали чай, завтрак, кофе, обед, и жандармы даже угощали нас, сетовали, что мы мало кушаем.

К вечеру свезли нас в крепость. Странно, что по дороге туда мне вовсе и в голову не входило, что меня везут в крепость. По приезде, разумеется, стало ясно.

Меня отвели в крошечную каморку, едва освещенную плошкой на высоком уступе оконной амбразуры. Там меня оставили одного. Нумер мой оказался таким сырым, что когда на следующее утро зашел комендант, то должен был заметить: «А здесь ведь в самом деле нехорошо!» На мой вопрос: «Зачем меня арестовали?» — он ответил: «На допросе вам все объяснят». Однако к первому допросу меня повели лишь спустя 10 дней, а их я провел в полнейшем ничегонеделании: ни книг, ни бумаги! Разнообразие состояло разве только в том, что двери каземата отворялись по пяти раз в день: в 7 часов утра, когда приносили умываться и убирали комнату; в 10 час. при обходе казематов начальством; в 12 час.,

---

* Где помещалась тайная полиция. *(Примеч. С. В. Ковалевской.)*

когда приносили обед — два блюда: щи или суп и нарезанная кусками говядина, так как ни ножей, ни вилок не допускалось; в 7 час. вечера, когда приносили ужин, и, наконец, когда стемнеется, чтобы поставить на окно плошку, довольно, впрочем, бесполезную, так как делать все равно ничего не давали.

Подобное заточение продожалось целые восемь месяцев. После первых двух месяцев стали нам давать книги, но в очень небольшом количестве. Скука все же была такая страшная, что даже те дни, когда нас водили к допросу, считались праздниками. Как идет следствие, чем оно кончится — я ровно ничего не знал.

Вдруг рано утром 22 декабря является в мой каземат начальство и читают мне приговор: приговорен к смертной казни через расстреляние.

Когда совершится казнь — в приговоре сказано не было. Но не прошло и часа, как вошел опять надзиратель и велел мне одеться в собственное платье, а не в казарменный костюм, который я носил в каземате. Под строгим конвоем вывели меня па двор, где уже дожидались 19 человек моих бывших товарищей. Посадили нас всех в кареты, по четверо человек в одну, и с ними солдат. Было часов семь утра. Куда нас везут, мы не знали. Спросили мы об этом солдата, но он отвечал: «Не приказано сказывать!» Везли нас очень долго, но так как был мороз, то сквозь обледенелые окна кареты никак нельзя было разобрать, куда везут. Попробовал я было отчистить стекло пальцем, по солдат сказал: «Не делайте этого, не то меня будут бить». После этого пришлось, разумеется, отказаться от удовлетворения столь понятного любопытства.

После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас, всего 20 человек, взвели на него и расставили в два ряда. После долгого заточения и разлуки с товарищами хотелось нам поздороваться, поговорить друг с другом, но за нами наблюдали так строго, что удалось только обменяться несколькими словами с теми, кто стоял ближе.

На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно.

20 раз повторенные аудитором роковые слова: «Приговорен к смертной казни расстрелянием» — так глубоко

врезались в моей памяти, что многие годы спустя случалось мне вдруг проснуться среди ночи от того, что казалось, кто-то прокричал мне их в ухо. Но не менее глубоко врезалась мне в память и другая, чисто внешняя подробность, как аудитор, окончив чтение, сложил бумагу, положил ее в боковой карман и сошел с возвышения.

— В эту самую минуту,— рассказывал Достоевский,— проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мной товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей.

Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят...

Я помню, что я очень испугался, но в то же время решился не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого; зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.

На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного, но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.

Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».

Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы думать про себя. Мне все хотелось представить себе, как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже нечто, кто-то или что-то совсем другое.

С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню — я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти — моя новая природа, точно через пять

минут я сольюсь с ними. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.

Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.

Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможны ли бы...»


# Повести





# НИГИЛИСТКА

## I

Мне было двадцать два года, когда я поселилась в Петербурге. Месяца три перед тем я окончила курс в одном из заграничных университетов и с докторским дипломом в кармане вернулась в Россию. После пятилетней уединенной, почти затворнической жизни в маленьком университетском городке петербургская жизнь сразу охватила и как будто опьянила меня. Забыв на время те соображения об аналитических функциях, о пространстве, о четырех измерениях, которые еще так недавно наполняли весь мой внутренний мир, я теперь всей душой уходила в новые интересы, знакомилась направо и налево, старалась проникнуть в самые разнообразные кружки и с жадным любопытством присматривалась ко всем проявлениям этой сложной, столь пустой по существу и столь завлекательной на первый взгляд сутолоке, которая называется петербургской жизнью. Все меня теперь интересовало и радовало. Забавляли меня и театры, и благотворительные вечера, и литературные кружки с их бесконечными, ни к чему не ведущими спорами о всевозможных абстрактных темах. Обычным посетителям этих кружков споры эти уже успели приесться, но для меня они имели еще всю прелесть новизны. Я отдавалась им со всем увлечением, на которое способен болтливый по природе русский человек, проживший пять лет в неметчине, в исключительном обществе двух-трех специалистов, занятых каждый своим узким, поглощающим его делом и не понимающих, как можно тратить драго-

ценное время на праздное чесание языка. То удовольствие, которое я сама испытывала от общения с другими людьми, распространялось и на окружающих. Увлекаясь сама, я вносила новое оживление и жизнь в тот кружок, где вращалась. Репутация ученой женщины окружала меня известным ореолом; знакомые все чего-то от меня ждали, обо мне успели уже прокричать два-три журнала; и эта еще совсем новая для меня роль знаменитой женщины хотя и смущала меня немного, но все же очень тешила на первых порах. Ну, словом, я находилась в самом благодушном настроении духа, так сказать, переживала свою lune de miel* известности и в эту эпоху своей жизни, пожалуй, готова была бы воскликнуть: «Все устроено наилучшим образом в наилучшем из миров».

Сегодня я находилась в особенно благодушном настроении. Вчера была на вечере в редакции одного нового, только что открывшегося журнала, где и мне было предложено сотрудничать. Это новое дело живо увлекало всех участников, и редакторские субботы отличались необычайным оживлением. Я вернулась домой в третьем часу ночи, встала сегодня поздно, долго провозилась за своим утренним чаем и с интересом пробежала несколько газет. Увидав объявление, что продается по случаю резной книжный шкаф, я съездила его посмотреть; по дороге встретилась на конке с одной знакомой дамой, состоявшей, подобно мне, членом комитета только что открывшихся Высших женских курсов, потолковала с ней «о делах», побывала еще у двух-трех знакомых, и, часам к четырем вернувшись домой, сидела теперь в покойном кресле перед затопленным камином и с удовольствием оглядывала свой нарядный кабинет. После пятилетнего мытарства по различным меблированным комнатам у немецких хозяек я была теперь довольно чувствительна к новому для меня удовольствию своего уютного уголка. В передней позвонили.

«Кто бы это был?» — подумала я, перебирая в голове имена своих разнообразных знакомых, и с некоторым беспокойством кинула взгляд в зеркало, чтобы убедиться, в порядке ли мой туалет.

В комнату вошла высокая молодая женщина в простой суконной шубке. По близорукости я не сразу могла решить, знаю ли эту особу или нет, тем более что чер-

---

* медовый месяц *(фр.)*.

ный головной платок почти совсем скрывал ее лицо, оставляя открытым лишь маленький, правильный, слегка подрумяненный морозом носик. Любезно, хотя и с некоторым недоумением во взгляде, поднялась я навстречу гостье.

— Извините меня, что я решилась вас обеспокоить, хотя и не знаю вас лично,— заговорила вошедшая.— Я Вера Баранцова. Впрочем, вы вряд ли помните мое имя, хотя родители наши и были соседями по именью. Недавно я прочла о вас в газетах. Я знаю, что вы долго учились за границей, и о вас повсюду идет молва, что вы хороший и серьезный человек. Вот мне и пришло в голову, что вы можете помочь мне советом.

Все это пришедшая проговорила торопясь и залпом, но чрезвычайно приятным, грудным голосом. Я была и смущена и польщена этим доказательством собственной известности. В первый раз незнакомый человек обращался ко мне за советом.

— Ах, я очень рада! Пожалуйста, садитесь. Да снимите же вашу шубку,— забормотала я приветливо, тоже сильно конфузясь.

Вера сбросила с головы черный платок. Я была поражена, увидав такую красавицу.

— Я совсем одна на свете и ни от кого не завишу. Моя личная жизнь кончена. Для себя я ничего не жду и не хочу. Но мое страстное, мое пламенное желание — это быть полезной «делу». Скажите, научите меня, что мне делать?— проговорила Вера вдруг, без предисловия, сразу приступая к цели своего визита.

От всякой другой это странное, неожиданное начало могло бы поразить неприятно, показаться битьем на эффект, но Вера говорила так просто, в голосе ее слышалась такая искренняя, взволнованная, умоляющая нотка, что я и не подумала удивиться.

Эта высокая, стройная девушка с матово-бледным лицом и с задумчивыми синими глазами стала мне вдруг необыкновенно близка и симпатична. Один только был у меня страх, что я не оправдаю ее доверия, не сумею ответить как следует на ее обращение, не смогу дать ей никакого полезного совета. И собственная жизнь последних трех-четырех месяцев вдруг показалась мне пустой и мелочной; все наполнявшие меня интересы утратили смысл и значение; внезапный упрек совести кольнул меня в сердце. «Что я ей скажу? Чем помогу ей?»

Не зная, с чего начать, я пригласила Веру присесть и приказала подать чай. В России ни один разговор по душе не обходится без самовара. Что поразило меня в Вере с первого часа нашего знакомства, это — полнейшее равнодушие ко всему внешнему. Она походила на тех ясновидящих, зрение которых так поражено присутствием видимого им одним предмета, что не способно к восприятию других впечатлений. Я спросила ее, давно ли она в Петербурге, хорошо ли устроилась в отеле? Но на все эти банальные вопросы Вера отвечала рассеянно и с некоторым недовольством. Мелочи жизни, видимо, нимало не занимали ее. Хотя ей ни разу не приходилось еще жить в Петербурге, но столичная жизнь не удивляла и не интересовала ее. Она всецело была занята одной мыслью — найти назначение, цель в жизни. Меня сильно влекло к этой молодой девушке, столь не похожей на тех, каких я знала прежде. Я постаралась поэтому заслужить ее доверие, проникнуть в сокровеннейшие ее мысли. На ее вопрос я ответила, что не могу дать ей совета, пока не узнаю ее ближе. Я попросила Веру бывать у меня возможно часто и рассказать мне все ее прошлое. Вера сама только и думала о том, как бы высказаться, и на все мои вопросы отвечала с резкой откровенностью. Не прошло многих недель, и я проникла в ее сердце и стала читать в нем настолько ясно, насколько одной женщине возможно читать в сердце другой.

## II

Семья графов Баранцовых — знатная дворянская семья, хотя и нельзя сказать, чтобы она была очень старинного рода. Ее официальная родословная выведена, правда, чуть ли не до Рюрика, но в полной достоверности сего документа позволено сомневаться; вполне установлено лишь то, что некий Ивашка Баранцов служил рядовым в роте ее величества императрицы Екатерины II, с лица был кровь с молоком, а ростом косая сажень, и так сумел заслужить перед матушкой-государыней, что за верную службу сразу был произведен в капралы и пожалован поместьем в пятьсот душ крестьян и тысячью рублями — души были дешевы, а деньги дороги в то время. С этой поры началось процветание рода Баранцовых. Графским титулом они были пожало-

ваны Александром I, при дворе которого красивая графиня Баранцова играла некоторое время очень видную роль. Впрочем, в семейных летописях этого рода, за последние сто лет, насчитываются не одни только успехи; терпел он и превратности.

Все Баранцовы отличаются пылкостью и необузданностью желаний, и свойство это не раз вводило их в беду. Не одно богатое поместье, не одна доходная волость были ими за это время проиграны в карты или спущены на лошадей и на красавиц. В судьбе баранцовской семьи наступало тогда временное помрачение; но по милости божьей эта легкая тучка скоро рассеивалась солнышком государевой милости. Кто-нибудь из Баранцовых всегда умудрялся вовремя сослужить службу царю и отечеству, и новые богатые поместья являлись на место утраченных, так что в общей сложности семья продолжала расти и преуспевать. Но если поместья быстро спускались и быстро наживались в их роде, зато одно драгоценное наследство переходило у них неизменно из поколения в поколение, от отца к сыну и от матери к дочери — это была необыкновенная, так сказать, фамильная красота. Все Баранцовы хороши собой. Не только уродов или безобразных, но и просто дурнушек между ними не полагается. Как бы испытывая естественное влечение к красоте или инстинктом предугадывая Дарвина, все графы Баранцовы женились на красавицах, все их дочери находили себе красавцев мужей; так что теперь фамильный тип установился прочно и так хорошо известен в русской аристократии, что, если вам скажут про кого: у него или у нее совсем баранцовское лицо, и в вашем воображении не выступит тотчас же определенный образ — высокий, статный рост, матово-белое продолговатое лицо с легким, прозрачным румянцем на щеках, низкий, широкий лоб с тонким узором синеватых жилок на висках, черные, как воронье крыло, волосы и синие, с черными ресницами глаза,— то это значит, что вы к аристократии не принадлежите и в делах of the upper ten thousands* в России ничего не смыслите.

Этот баранцовский тип такой прочный и живучий, что в доброе старое крепостное время в нем заметили даже способность переходить на крестьян и на дворню в графских именьях. Удивительное было дело! Стоит

* верхних десяти тысяч *(англ.)*.

только самому барину или молодым господам погостить у себя в усадьбе, непременно потом в той или другой крестьянской избе — и притом все в таких, где бабы молодые и пригожие,— родится на свет ребенок, ну вылитый маленький Баранцов, с такими же тонкими, благородными чертами лица, как и у детей в господском доме.

Граф Михаил Иванович Баранцов был достойным отпрыском своего семейства. Красавец собой, он имел счастье родиться в начале царствования Николая, в период полного расцвета петербургской гвардии. Прослужив несколько лет в кирасирском полку, сокрушив множество женских сердец и честно заслужив себе между товарищами лестное прозвище «гроза мужей», он, в молодых еще годах, влюбился без памяти в дальнюю свою родственницу, Марью Дмитриевну Кудрявцеву, тоже носившую на своем красивом, точно выточенном резцом великого художника лице явную печать баранцовского рода. Встретив с ее стороны взаимность, он обвенчался с ней и продолжал служить. Может быть, он дослужился бы до высоких чинов, но в начале царствования Александра II с ним случилась маленькая неприятность, причина которой тоже лежала в бурной баранцовской крови и в роковой баранцовской красоте. Приревновав свою красавицу жену к другому гвардейскому офицеру, он вызвал его на дуэль и убил наповал. Историю затушили с грехом пополам, но молодому графу все же неловко было оставаться после этого в своем полку: он был вынужден подать в отставку и уехать в именье, которое только что унаследовал от своего отца, скончавшегося как раз впору.

Это было в 1857 году. В Петербурге ходили уже неясные слухи о предстоящей эмансипации крестьян, но до Борков, так звали именье графов Баранцовых, эти слухи еще не доходили. Там все еще шло добрым, старым порядком. Как велико было в то время состояние графа Михаила Ивановича, в точности не знал никто, всех менее он сам. Именье было большое, хотя и далеко не таких уже размеров, как прежде. Покойник папаша, будь ему добрая память, тоже любил пожить себе в удовольствие, и еще при нем была вырублена большая часть леса и продано немало десятин лугов. Михаил Иванович после почти пятнадцатилетней службы в кирасирах, разумеется, не без долгов оставил Петербург. Свое прав-

ление он начал с того, что для покрытия старых грехов продал еще порядочный кусочек земли, да и на остальное именье выдал новую закладную. Пока, однако, все это устраивалось благополучно, и графа не беспокоили. Староста был молодец; все умел устроить без шуму, без лишних разговоров: когда барину нужны были деньги, они всегда оказывались у него под рукой.

В эпоху их переселения в деревню граф Михаил Иванович и графиня Марья Дмитриевна, несмотря на трех подрастающих дочерей, все еще были и считали себя очень молодыми людьми. Забот и обязанностей они за собой никаких не ведали, и никто не отрицал за ними права жить в полное себе удовольствие.

Жизнь в деревне пошла прежним путем, веселая и вольная. Все в доме еще при покойном барине было заведено на широкую, барскую ногу: тридцать выездных лошадей на конюшне, английский сад, оранжереи и теплицы, масса праздной, ленивой дворни. Единственное изменение, которое привезли с собой молодые господа, состояло в том, что к затеям старого барства они присоединили много разных столичных, более утонченных прихотей, о которых прежде в деревне не грезили. В парадных комнатах перебили всю мебель шелковой материей. Полы и окна прежде стояли голые — теперь всюду разостлали ковры и навесили портьеры. Лакеи ходили прежде в засаленных сюртуках с барского плеча — теперь им пошили форменные ливреи. Кухню отдали в распоряжение повара, учившегося в Английском клубе, а в девичьей к толпе доморощенных горничных, с утра до ночи занятых шитьем, вышиваньем, плетеньем кружев, присоединили еще франтоватую камеристку из вольных.

Своим примером молодые господа имели благотворное влияние и па соседей. Губернатор в речи, произнесенной им на обеде в честь новоприезжих, сказал недаром, что они внесли новую жизнь в губернию. Действительно, с их приездом началась эра праздников, пиров и удовольствий. Никто не хотел ударить в грязь лицом перед столичными гостями. Помещики и помещицы стряхивали с себя деревенскую лень. Прежние бесхитростные забавы, тяжелые именинные обеды, карты и пляска заменились теперь более утонченными, так сказать, интеллектуальными удовольствиями. В первый же год после переезда графов Баранцовых в имение в их губернском

городе состоялся любительский спектакль, концерт с живыми картинами и маскарад по подписке.

И Михаил Иванович и Марья Дмитриевна были в восторге от произведенного ими в губернии впечатления, и оба вполне прониклись важностью своей, так сказать, цивилизаторской миссии. Граф произнес даже на одном официальном обеде спич о значении английской gentry* и о желательности, чтобы русские помещики превратились в английских landlord'ов**.

Графиня тоже трудилась немало для облагороживания провинциальных нравов. Она считала себя обязанной выписывать дорогие туалеты из Петербурга. Дом Баранцовых был всегда открыт для гостей. Обед был поздний, по-городскому, и все домашние были обязаны переодеваться перед обедом, как водится у англичан. За закуской подавалась не простая очищенная, а английская горькая.

Дом Баранцовых, тяжеловесной старинной постройки с каменными стенами аршина в два толщиной по наружному виду напоминал огромный четырехугольный ящик, к которому, бог знает для чего, прилеплены в разных местах фантастические фонари и балкончики. Вообще он был того определенного, хотя, кажется, еще ни в одном учебнике архитектуры не отмеченного стиля, который следовало бы назвать крепостным стилем. Всего было много, материалом всюду сорили, но все было как-то грубо и топорно. На всем было видно, что дом этот строился в такое время, когда труд был даровой и все обходились домашними средствами. Кирпичи обжигались на своем заводе, паркеты изготовлялись из своего леса и своими крепостными; даже архитектор, делавший план, и то был крепостной.

По внутреннему расположению комнат дом Баранцовых тоже не отличался от большинства помещичьих домов того времени; наверху жили господа, внизу были детские; подвальный этаж был отведен под кухню и для прислуги.

До подвального этажа графиня спускалась только в светлый праздник, когда шла христосоваться со всей дворней; но в детские она иногда заглядывала и в простые дни, когда позволяло ей время, то есть когда не было

* дворянство *(англ.)*.
** помещиков, землевладельцев *(англ.)*.

гостей или она сама не собиралась в гости,— это, впрочем, случалось не очень часто.

В детских баранцовского дома росли и развивались три барышни на попечении двух гувернанток, из которых одна, m-lle Julie, была высокая, очень живая и разговорчивая брюнетка неопределенного возраста, а другая, m-me Night,— почтенная вдовица со строгим монументальным лицом, обрамленным крупными седыми буклями. Сверх этих двух гувернанток при детях состояло еще немало другого народа: старая няня, горничная Анисья и девчонка для побегушек.

Ну, словом, все было так, как и следовало быть в порядочном барском доме. Все три барышни были высоки для своих лет, у всех троих были отличные густые волосы, которые по утрам заплетались в косу, а к обеду распускались по плечам, и все три обещали со временем быть красавицами.

Две старших, Лена и Лиза, стояли, так сказать, уже на пороге детской, и в скорости им предстояло выпорхнуть в гостиную. Одной из них было четырнадцать, другой тринадцать лет. Обе они уже со страстным любопытством прислушивались к каждому доносящемуся до них отголоску из верхнего этажа, и обе сильно роптали на то, что их водят еще в коротеньких платьях.

Третья барышня, Вера, была еще совсем маленькой девчонкой, лет восьми, с кругленьким румяным лицом и с тем страстным созерцательным взглядом, который почти всегда бывает в глазах ребенка, живущего своей особой детской жизнью. Она пока ни на что не роптала. Как у всех детей, жизнь которых идет правильно, в ней были сильно развиты консервативные инстинкты; ко всему окружающему она была привязана бессознательною, животною привязанностью холеного комнатного зверька, и ей еще ни разу не приходило в голову усомниться в достоинствах кого-нибудь из ее близких. Ее мама была лучшая из мам, ее детская — лучшая из детских.

Да и действительно, все в доме шло прекрасно. Всякий сверчок знал свой шесток, и всем жилось мирно, покойно, как всегда бывает во всяком обществе, где есть прочные устои и где отдельной личности не предоставлено биться головой об стену, ища какого-то своего собственного, отдельного исхода.

Вообще о любви и думалось, и шепталось, и мечта-

лось немало в нижнем, как и в верхнем этаже баранцовского дома.

Да и что, в самом деле, кроме радостей и печалей любви, могло, казалось, перерезать прямую, ровную, как полотно, дорогу, расстилавшуюся пред всеми тремя барышнями Баранцовыми. Во всех остальных отношениях их жизнь была определена и предусмотрена наперед. У папы с мамой совсем было решено, что Митино пойдет в приданое за Леной, Степино — за Лизой, а Борки достанутся младшей — Вере.

Знали тоже и граф, и графиня, что в свое время, годика через три-четыре, непременно явится какой-нибудь гусар или драгун и уведет Лену; потом, немного погодя, явится другой гусар и уведет Лизу. А там придет черед и за Верой.

Будут дети жить не в Борках, а в другом доме, будет им прислуживать не Анисья, а другая какая-нибудь горничная, но за этими маленькими изменениями повторит каждая мамину судьбу, как и мама повторила судьбу бабушки. Все это было очень просто и очень верно и зналось само собой, не думая, как знается то, что и завтра будет обед, и послезавтра.

Но все эти верные и несомненные расчеты внезапно пересеклись одним неожиданным событием, то есть, по правде сказать, событие это было не совсем неожиданное, так как уже лет двадцать о нем говорилось, к нему готовилась Россия; но, как и все великие события, оно имело то свойство, что когда наконец совершилось, всем показалось, что оно налетело врасплох и застало всех неприготовленными.

Первую тень этого грядущего события увидела Вера при следующих обстоятельствах. В конце 1860 года был у Баранцовых семейный обед, на котором, кроме обычных тетушек, бабушек и близких соседей, присутствовал еще один редкий и почтенный гость — дядюшка из Петербурга, важный сановник в каком-то министерстве. Приехал он всего сегодня поутру и за обедом, разумеется, почти что один говорил, рассказывал разные новости из высших правительственных сфер, о которых по газетам ничего ведь не узнаешь.

Однако во время обеда графиня несколько раз перебила его, именно тогда, когда рассказ становился всего оживленнее.

— Stépan! prenez garde*,— говорила она, таинственно кивая головой на разносивших блюда лакеев, хотя эти последние и сохраняли обычную вполне безучастную мину.

После десерта перешли в гостиную. Граф сам удостоверился, закрыты ли двери во всех соседних комнатах.

— Vous pouvez parler, Stépan!** — сказал он торжественно.

Вера сидела на коленях у нового дядюшки, с которым она уже успела подружиться. На нее не обратили внимания, думая, вероятно, что она еще ничего не поймет.

— C'est fait! L'empereur a souscrit le projet qui lui a été présenté par la comission***,— торжественно проговорил дядюшка.

У мамы, разливавшей в эту минуту кофе, бессильно опустились руки; ложечка зазвенела о блюдечко, и несколько капель кофе пролились на дорогую скатерть.

— Mon Dieu, mon Dieu****,— проговорила она, падая в кресло и закрывая лицо руками.

Все присутствующие сидели как ошеломленные дядиными словами.

— Неужели действительно совсем уже решено?— тихим, насильственно-спокойным голосом спросил папа.

— Совсем и нерушимо! В начале февраля манифест разошлют по всем приходским церквам, чтобы девятнадцатого объявить его народу,— помешивая свой кофе, отвечает дядя.

— Значит, остается теперь только положиться на милость божью,— со вздохом говорит папа.

Несколько минут общего тяжелого молчания.

— Господа, да ведь что ж это? По-моему, это грабеж, да и только,— раздается вдруг голос старика Семена Ивановича — папиного дяди.

Он вскакивает в волнении со своего места и ударяет кулаком по столу. Белые волосы его развеваются вокруг его разгоряченного, гневного лица.

---

* Степан! будьте осторожны *(фр.)*.

** Можете говорить, Степан! *(фр.)*.

*** Все кончено! Государь подписал проект, представленный ему комиссией *(фр.)*.

**** Боже мой, боже мой *(фр.)*.

— Не кричите, дядя, бога ради! Les domestiques peuvent entendre*,— пугливо умоляет мама.

— Да объясните же вы мне наконец, что же это такое будет? Значит, слушаться нас теперь перестанут, так, что ли?— с растерянным и обиженным видом вмешивается в разговор старая тетка Арина Ивановна.

— Не приставай с пустяками, сестра,— нетерпеливо отстраняет ее рукой папа,— дай расспросить Степана обо всем толком, как следует.

Мужчины собираются кучкой вокруг Степана Михайловича, который начинает что-то горячо толковать. Дамы все продолжают отчаиваться.

— Comment est-ce que l'empereur, qui a l'air si bon, peut nous faire tant de peine**,— удивляется одна из них.

Человек входит убрать кофе. Все моментально смолкают.

— Барышня, вы оставались сегодня в гостиной после обеда. Не слыхали ли, о чем господа толковали?— спрашивает поздним вечером Анисья, укладывая маленькую барышню спать.

Из того, что говорилось в гостиной, Вера поняла, что всему их семейству грозит какая-то беда. Никто и не подумал о том, чтобы приказать ей молчать, но кастовая жилка уже так сильна в породистом зверьке, что она отвечает с достоинством:

— Я ничего не слыхала, Анисья!

Хотя теперь уже всем известно, что манифест не только подписан государем, но и разослан по всем приходам, однако до последнего дня, до последней минуты господа продолжают бояться, чтобы прислуга, неравно, этого не услыхала.

Прислуга, с своей стороны, и виду не подает, что что-либо знает, и все разговоры в передней и в буфете столь же живо смолкают при приближении кого-нибудь из господ, как разговоры в гостиной при появлении кого-либо из людей.

Но вот наступило, наконец, это грозное, это давно ожидаемое, это чреватое последствиями 19 февраля. Вся семья Баранцовых едет в церковь. После обедни священник прочтет манифест.

* Прислуга может услышать *(фр.)*.

** Как мог государь, который кажется таким добрым, причинить нам столько горя *(фр.)*.

К девяти часам утра уже все в доме готовы и одеты. Все сегодня делается лихорадочно и в то же время торжественно, вроде того, как бывает, например, когда едут на похороны. Все боятся промолвить лишнее слово.

Дети и те чувствуют инстинктом важность и торжественность сегодняшнего дня, ведут себя тихо и смирно и ни о чем не смеют расспрашивать.

У парадного подъезда стоят две коляски. Экипажи вычищены с иголочки; на лошадях лучшая сбруя; кучера в новых кафтанах. Папа тоже во всем параде, в мундире и с орденами. Мама в дорогой бархатной мантильке; дети разряжены, как куколки.

В переднюю коляску садятся господа: граф и графиня на переднем, три девочки на заднем сидении. В другом экипаже размещаются гувернантки, экономка и управляющий. Остальная дворня отправляется в церковь пешком. Кроме малых ребят и выжившего из ума старого Матвея, никого не остается дома.

До церкви три версты. Во время дороги мама часто подносит к глазам раздушенный платок. Папа сурово молчит.

Вся площадь перед папертью черна народом. Собралось тысячи две-три мужиков и баб из окрестных деревень. Издали кажется, что это одна сплошная масса серых зипунов, среди которых то здесь, то там краснеет яркий бабий головной платок.

— Ce spectacle me fait mal! Je pense involontairement à 89*,— истерически бормочет графиня.

— De grâce, taisez-vous, ma chère**,— взволнованным шепотом отвечает граф.

И сегодня, как и всегда по праздникам, церковный сторож поджидает на колокольне появления господской коляски, и лишь только она показывается на повороте дороги, колокола начинают звонить.

Церковь набита битком; кажется, яблоку негде упасть; но по старой закоренелой привычке вся эта сплошная толпа почтительно расступается перед господами и пропускает их вперед, на их обычное место у правого клироса.

— Миром господу помолимся,— провозглашает священник, выходя из алтаря в полном облачении.

* Это зрелище меня удручает! Я невольно вспоминаю 89-й год *(фр.)*.

** Ради бога, замолчите, дорогая *(фр.)*.

— И духове твоему,— отвечает хор певчих.

Вся эта густая, серая, темная масса молится сегодня, как один человек, сосредоточенно, исступленно. Мужики и бабы часто крестятся и кладут земные поклоны. Смуглые, суровые, изборожденные глубокими морщинами лица, как судорогой, сведены напряженностью молитвы и ожидания.

Храм воздыханья, храм печали,
Убогий храм земли моей,
Тяжеле вздохов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей.

Но сегодня не вздохи и не стоны слышатся в этом храме. Сегодня в нем, да не только в нем одном, но и в каждой из многих ста тысяч церквей земли русской возносят к небу такие жаркие, преисполненные бесконечной веры и страстного упования молитвы, какие, может быть, ни разу с тех пор, как земля стоит, не возносились зараз целым стомиллионным народом.

«Господи, владыко наш! Смилуешься ли ты над нами? Скорбь наша велика и многолетня! Будет ли теперь лучше?»

Что-то скажет царский манифест? До сих пор даже и господам содержание его известно только по слухам. В доподлинности же никто еще ничего не знает, так как манифесты разосланы священникам, запечатанные казенной печатью, которая будет взломана лишь по окончании обедни.

От необычайного скучения черного народа и от множества зажженных свечей в маленькой спертой церкви, несмотря на открытые двери и окна, становится нестерпимо душно. Тяжелый запах потного платья и грязных сапог смешивается с гарью восковых свечей и с благоуханием ладана. Дым кадила синими клубами возносится кверху. Воздуха не хватает; грудь вздымается тяжело и болезненно, и это физическое страдание от затрудненного дыхания, присоединяясь к напряженности ожидания, становится нестерпимой мукой, вызывает чувство безотчетного страха.

— Скоро ли, скоро ли?— истерически шепчет графиня, судорожно сжимая руку мужа.

Священник выносит крест. Проходит добрых полчаса, пока все присутствующие успевают к нему приложиться. Кончилось, наконец, прикладывание. Священник

на минуту скрывается в алтаре и затем снова появляется на амвоне; в руках у него сверток гербовой бумаги, с которого висит большая казенная печать.

Глубокий, протяжный вздох проносится по церкви, словно вся толпа вздохнула зараз, одной грудью. Но в эту минуту происходит неожиданное замешательство. Огромное большинство народа, которому не удалось пробраться в церковь, спокойно оставалось на паперти, пока шла обедня, но теперь терпения не хватает. В открытой настежь двери толпа делает дружный и неожиданный натиск вперед, происходит нечто невообразимое. Люди, стоящие впереди, кучами валятся на ступеньки амвона. Крики, ругательства, стоны, визг детей.

— Mon Dieu! mon Dieu! prenez pitié de nous!*— чуть не плачет графиня, хотя ей, под защитой клироса, и не грозит никакой опасности. Дети тоже вне себя от страха.

Через несколько минут порядок в церкви восстановлен. Снова безмолвная, напряженная, благоговейная тишина. Все слушают жадно, сдерживая дыханпе, порой только вырвется глухой, сдавленный свист из груди старика, страдающего одышкой, или заплачет грудное дитя: но мать так поспешно, так испуганно принимается его укачивать, что ребенок смолкает моментально.

Священник читает медленно, нараспев, растягивая слова, так же, как он читает евангелие.

Манифест написан канцелярским, книжным языком. Мужики слушают, не переводя духа, но, как они ни напрягают свои головы, из этой грамоты, решающей для них вопрос — быть или не быть, одни отдельные слова доходят до их понимания. Общий смысл остается для них темным. По мере того как чтение приближается к концу, страстная напряженность их лиц мало-помалу исчезает и заменяется выражением тупого, испуганного недоумения.

Священник кончил чтение. Мужики все еще не знают наверное, вольные они или нет, и главное,— жгучий, жизненный для них вопрос,— чья теперь земля? Молча, понурив головы, толпа начинает расходиться.

Господская коляска подвигается шагом среди кучек народа. Мужики раздвигаются перед ней и снимают шапки, но не кланяются, как бывало, в пояс и хранят странное, зловещее молчание.

---

* Боже мой! боже мой! будь милостив к нам! *(фр.)*.

— Ваше графское сиятельство! Мы ваши, вы наши! — раздается вдруг среди общей тишины смелый, пьяный голос, и ледящий мужичонка, в изодранном тулупе, без шапки, уже успевший нализаться, пока шла обедня, бросается к коляске, стремясь на бегу прикоснуться губами к господской ручке.

— Не суйся! — злобно отстраняет его рослый парень с угрюмым, мрачным лицом.

Вечером того же дня вся семья Баранцовых собрана в маленькой гостиной графини. Кроме домашних и m-lle Julie, тут еще и тетушка Арина Ивановна и дядюшка Семен Иванович. В обыкновенное время все сидят по вечерам в разных комнатах, но сегодня чувство общей беды заставляет всех держаться вместе, тесной кучкой. Мама лежит на кушетке в мигрени. M-lle Julie прикладывает ей свежие компрессы к вискам. Папа, заложив руки за спину, расхаживает по комнате мрачный и задумчивый. Дядюшка забился в угол и глубокомысленно сопит. Тетушка раскладывает граншасьянс, время от времени громко вздыхая.

На дворе поднялась к вечеру страшная метель; в трубе словно живой кто-то возится и завывает тоскливо и протяжно.

Вдруг налетит порыв ветра, хлопнет ставней, загремит железными листами на крыше. Графиня всякий раз вздрогнет и привскочит на кушетке. В комнате становится все темней и темней. Ампель на столе, как ее ни заводи, горит тускло и копотно; очевидно, следовало бы подлить масла. Но все делают вид, будто этого не замечают. Прислуга вся сегодня разбежалась куда-то, и никому не хочется встать и позвать лакея.

— Мужики у лесковского барина намедни дом спалили! — выговаривает неожиданно тетушка.

— И не то еще спалят! — слышится из угла зловещее карканье старого дяди.

— Да, заварили кашу! — продолжал он через несколько минут унылым, пророческим голосом. — Посмотрим, каково ее будет расхлебывать. Пусть вот она, — он указывает рукою на m-lle Juie, — порасскажет нам, каково было у них в восемьдесят девятом году.

— Mon Dieu! mon Dieu! que l'avenir est terrible*, — нервно шепчет мама.

* Боже мой! боже мой! как ужасно будущее *(фр.)*.

— Полноте вздор болтать! Русский мужик не якобинец.— Папа говорит спокойно, ободряюще, но видно, что тон этот напускной, что он сам далеко не спокоен.

— Ах нет, Michel, мужик наш зверь, мужик наш хуже французского!— Мама в волнении привстает на кушетке и опирается на локоть.— Ты ведь знаешь, что мужики нас ненавидят...

В соседней комнате скрипит дверь. Все вздрагивают и пугливо оглядываются. У мамы вырывается испуганное «ах!».

Это пришел Степан доложить, что чай подан.

Вере пора ложиться спать. В детской никого нет. Она отворяет дверь в коридор. Снизу из людской, где ужинают люди, доносятся неясные звуки голосов, звон ножей о тарелки, раскаты хохота.

Вере строго запрещено бегать в людскую; но сегодня о ней забыли. Ей и страшно, и хочется взглянуть, что-то там делается. Несколько минут она стоит в нерешительности; но она не робкого десятка; любопытство берет верх, и она стрелой пускается вниз, в подвальный этаж.

Там идет пир горой. Поутру настроение духа прислуги было сдержанное, даже несколько подавленное; боязно было еще верить; но к вечеру диапазон повысился. За ужином откуда-то взялась водка; все подпили, сдержанности не осталось и помину. У всех пылают лица, глаза подернулись влагой, волосы растрепаны.

Запах щей и ржаного хлеба, смешанный с тяжелыми парами водки и с едким, разъедающим глаза дымом махорки, нестройные звуки гармоники, пьяные голоса, покрывающие друг друга,— вот что охватило Веру при входе в людскую. При появлении барышни все внезапно стихло и подтянулось; но только на минуту; скоро опять поднялся шум.

— Барышня, а барышня! Подь-ка сюда! Не бойсь!— послышался пьяный голос кучера.— Что, господа наверху плачут, чай? Жаль им, что тиранить-то нас им больше не дадут?

— Неправда! Неправда! Вас никто не тиранил. Папа с мамой добрые!

Эти слова криком вырываются у Веры. Она в бессильном гневе топает ногой о землю. Баранцовская кровь проснулась. Ей бы хотелось ударить, прибить этих бесстыжих холопов. Негодование и обида совсем заглушили в ней страх.

— Не тиранили! Как же! А дедушка-то ваш покойный мало на своем веку людей изувечил? Зачем он Андрюшку-столяра не в очередь в солдаты сдал? Зачем он девку Аринью на скотный двор сослал?— раздаются с разных сторон несколько голосов разом.

Гармоника смолкла. Вся дворня собралась кучкой, и посыпались рассказы про доброе старое время, рассказы страшные, возмутительные, какие и во сне не грезились Вере.

— Но ведь то был дедушка, а папа с мамой добрые!

Вера не кричит теперь; она говорит тихо, сквозь слезы, пристыженным голосом.

Минутное молчание.

— Да, молодые господа ничего себе, добрые!— как бы нехотя соглашаются несколько человек.

— Это теперь наш барин присмирел, а как холостым был, и он-таки порядком над нами, девками, надругался,— злобно замечает старая подпившая ключница.

— Безбожники вы! Греховодники! Ребенка малого не жалеете!— раздается вдруг гневный, негодующий голос няни.

Она уже давно хватилась своей питомицы и бегала за ней по всему дому; но ей и в голову не приходило искать ее в людской.

Долго не может уснуть в эту ночь Вера. Новые, страшные, унизительные мысли бушуют в ее голове. Она сама не могла бы объяснить хорошенько, чего ей так жалко, почему ей так горько, так мучительно стыдно. Она только лежит в своей постельке и плачет, плачет. А снизу, из подвального этажа, все доносится топанье ног, нестройные звуки гармоники и пьяные, бессвязные взвизгивания плясовой песни.

### III

После эмансипации все в доме сразу переменилось. Доходы с имения так уменьшились, что пришлось все хозяйство поставить на иную ногу. Староста из молодца внезапно превратился в мерзавца; то и дело грубил барину, во всем находил затруднения и никогда не приносил денег в срок. Надо было его отставить и взять нового, но с этим все пошло еще хуже. Чуть ли не каждый

день словно из земли вырастали старые векселя и обязательства, подписанные графом так давно, что он и забыть о них успел. При виде всякого нового векселя граф выходил из себя, кричал о подлоге, но платить все-таки приходилось. Скоро явилась необходимость продать и Митино, и Степино, и заливные луга, и лес; остались одни только Борки с незначительным клочком земли. Главная беда была в том, что покупать именья теперь мало было охотников, и все шло за полцены.

Большую часть дворни пришлось распустить; та же прислуга, которая осталась в доме, с детства привыкла к лени и безделью и теперь ворчала с утра до ночи на то, что ей прибавилось работы. У господ сердиться и «быть не в духе» сделалось нормальным состоянием. Между собой они тоже постоянно ссорились; но теперешние ссоры так же мало походили на прежние, как холодный обложной осенний дождь мало походит на хороший весенний ливень. Не из-за ревности ссорились теперь граф с графиней, а из-за денег, не из-за чего иного, как из-за денег. Всякий раз, когда графиня приходила просить денег на хозяйство, граф осыпал ее упреками за расточительность, небрежность, отсутствие порядка. Ни один заказ нового платья ей самой или дочкам не обходился без домашней сцены. С другой стороны, стоило графу заикнуться о поездке в город или к кому из соседей, чтобы у графини тотчас разыгрались нервы; но не хорошеньких соседок опасалась она теперь, а того, что муж проиграется в карты или иначе как-нибудь истратит деньги.

С каждым днем дела шли хуже и хуже. Приходилось отказываться от одной прихоти за другой, но денег все-таки не хватало, и концы все не сходились с концами. Как все непрактичные люди, граф с графиней принялись за экономию не с того конца, с какого следовало: в домашнем обиходе они урезывали себя в самом необходимом, дрожали над каждым куском сахара, над каждым сальным огарком; но все крупные расходы по дому и имению оставались те же. Управляющий, староста, экономка, повар, кучер — все это по-старому наживалось на счет господ, с тою только разницею, что прежде каждый воровал в меру и, так сказать, по-божески; теперь же постоянные сцены, попреки зря, правому и виноватым, вечные угрозы отказать от места ожесточали прислугу: каждый торопился нахапать как можно больше

напоследок, и барское добро расточалось с азартом и озлоблением.

Все в доме носило теперь неуютный, скряжнический отпечаток. Под давлением ежедневных разъедающих дрязг и неприятностей и граф, и графиня опустились както вдруг, внезапно. Когда Вера впоследствии вспоминала свою мать, ей всегда представлялось две различных и вовсе непохожих друг на друга женщины: одна — молодая, красивая, жизнерадостная — это мама ее детства; другая — капризная, сварливая, неряшливая, отравляющая жизнь себе и другим — это мама позднейшего периода.

У всех соседей дела шли на тот же лад. Помещики утратили почву под ногами и стояли недоумевающие, беспомощные, ничего не понимая в том, что с ними творилось. Об удовольствиях и весельях не было и помину. Когда соберутся два-три помещика вместе — сидят они и плачутся, и отводят души жалобами на мужиков и на правительство. Все наиболее молодые и энергичные между ними в отчаянии махнули рукой на хозяйство и уехали в Петербург искать службы. В усадьбах остались одни старики.

Лена и Лиза Баранцовы были теперь взрослыми барышнями. Обе изнывали от деревенской скуки и горько роптали на судьбу. Действительно, она сыграла с ними злую шутку. Что сталось со всеми их блестящими надеждами? Все их детство, все их воспитание было, так сказать, только приготовлением к тому счастливому дню, когда наденут на них длинное платье и выпустят в свет. И вот пришел этот день и, кроме скуки, ничего не принес.

Вере тоже жилось не особенно весело. Первая мера экономии в семье Баранцовых состояла в том, чтобы распустить весь персонал детской. M-me Night отказали под каким-то благовидным предлогом; m-lle Julie соскучилась и сама уехала. Родители Веры решили, что держать для нее одной специальную гувернантку было им не по средствам. В губернском городе открылась в это время первая женская гимназия; но туда поступали все больше мещанки, дочери мелких чиновников и купцов, и графиня Баранцова с самого начала возымела отвращение к этому заведению. Решено было отдать Веру в Смольный монастырь. Разговоры об этом шли чуть ли не год; наконец графиня написала своей старинной

приятельнице в Петербург, прося ее хорошенько все разведать об условиях приема, и вдруг получился неожиданный и досадливый ответ, что Вера уже выросла из тех лет, как могла бы быть принята в Смольный.

Граф теперь приказал Лене и Лизе заняться воспитанием младшей сестры.

Но это решение пришлось далеко не по вкусу молодым барышням.

— В гувернантки нас готовили, что ли?— ворчали они и принялись за дело нехотя.

Вера была, по их словам, и глупа, и ленива, и непонятлива. Ни один урок не обходился без слез. И учительницы, и ученица пользовались всяким предлогом, чтобы сократить его, и так как родители, с своей стороны, скоро, по-видимому, забыли этот несчастный вопрос о воспитании младшей дочери, то уроки мало-помалу совсем прекратились, и в четырнадцать лет Вера оказалась вполне предоставленной самой себе.

Летом еще шло кое-как. Она целые дни проводила в одичавшем парке или бегала по окрестным полям и лесам. Крестьянские ребятишки ее дичились, да, по правде сказать, и она их боялась не меньше. Когда ей случалось проходить через село, ей всегда казалось, что все над ней смеются и презирают ее; она начинала испытывать какое-то инстинктивно враждебное чувство к мужикам.

Зимой Вере жилось еще хуже, чем летом. Она слонялась по целым дням из угла в угол по большим пустым комнатам, не находя себе нигде дела. Со скуки стала она было рыться в книжном шкафу, но там оказались одни только французские романы, а Вера уже успела почти совсем забыть французский язык, на котором она так хорошо болтала пяти лет.

Всего хуже было то, что все в доме постоянно были не в духе. Куда ни придет Вера, все между собой ссорятся, и ей от всех достается. Заглянет она к сестрам — те бранятся из-за какого-нибудь пустяка, из-за тряпки, которую поделить не могут. Если же они, против чаяния, в добром между собой согласии, то уж наверное обе жалуются на родителей: «Сами небось не так жили, когда молоды были. Спустили все состояние, а мы теперь сиди и скучай в деревне».

Придет Вера к матери: застанет там сцену с горнич-

ной или экономкой. Побежит она в людскую: там и того хуже.

Ну, словом, казалось, что все только затем и жили на свете, чтобы взаимно мучить и грызть друг друга. Единственная в доме, которая никого не мучила, никого не грызла и ни на что не жаловалась, это была старая няня. У этой только одна была забота на душе: как бы лампадка перед образом в углу ее комнатки не погасла. Дадут ей несколько копеек на покупку масла — вот она и счастлива, и довольна. Полуслепую, отслужившую свою службу старушку оставили при доме, но все как будто о ней забыли; иногда по целым дням никто и не заглянет к ней за перегородку. Разве горничная вспомнит и принесет ей чего-нибудь поесть или ее прежняя любимица Вера забежит к ней вечерком. Всякий раз при входе в нянину крошечную каморку, где всегда стоит какой-то особенный запах — смесь ладана, деревянного масла и камфары,— удивительное чувство покоя охватывает Веру.

— Скучно, няня,— говорит она, уныло опускаясь на низенький стул и прислоняя голову к деревянному столу.

— Чего, светик, скучать. Богу надо молиться,— спокойно, ласково отвечает няня тем самым голосом, каким уговаривала, бывало, Веру, когда ей было пять лет.

И Вера действительно следует няниному совету и начинает молиться. Молится она горячо, страстно, с каким-то исступлением. Увлечение религией, ее обрядовой, внешней стороной начинает мало-помалу наполнять праздную, скучную жизнь предоставленного себе ребенка.

В нынешнем году три недели перед рождеством Вера соблюдала строжайший пост и в самый сочельник ничего не ела до звезды. Зато, когда к началу сумерек приехали, по обыкновению, попы и стали служить всенощную перед временным алтарем, устроенным в углу столовой, она чувствовала такую приятную слабость во всех членах, словно у ней не было больше тела и она каждую минуту была бы в состоянии отделиться от земли.

Синий дым кадил застилает всю комнату густым туманом, сквозь который мерцает пламя восковых свечей. Пронзительно сладкий запах ладана вызывает легкое головокружение.

— Свете тихий, святые славы, — поют певчие, и Вере

кажется, что голоса их доносятся откуда-то издалека.

«Ничего, ничего мне на свете не надо, только служить тебе, господи!» — думает она с умилением.

Душа ее преисполнена чудной, светлой радости, восторженное рыдание вырывается у ней из груди.

В этот самый день над Верой совершилось чудо — по крайней мере она сама признала чудом то, что с ней случилось.

Хотя старая няня была безграмотна, она, тем не менее, хранила у себя как святыню несколько книг религиозного содержания, из которых иногда просила свою маленькую барышню почитать ей вслух. В числе этих книг было «Житие сорока мучеников и тридцати мучениц». Вера, начав раз читать, сама так увлеклась этой книгой, что выпросила ее у няни и зачитывалась ею по целым часам.

«Зачем я не родилась в то время?» — думала она часто с сожалением.

Но в самый тот сочельник, когда она в душе произнесла обет всю свою жизнь посвятить богу, случилось с ней следующее: сидела она вечером одна в бывшей классной, и вдруг попался ей на глаза старый номер «Детского чтения», которое когда-то выписывали для ее сестер. От нечего делать стала она его перелистывать, и первое, что ей открылось, был трогательный рассказ о трех английских миссионерах в Китае, сожженных на костре рассвирепевшими язычниками. И это было всего лет пять-шесть назад. В Китае и теперь язычники! Там и теперь можно стяжать себе мученический венец.

«Господи! Это ты сам надоумил меня! Ты сам указываешь мне путь и призываешь на подвиг!»

В волнении и в восторге Вера бросилась на колени. В том факте, что этот старый журнал попался ей на глаза именно сегодня, как бы в ответ на ее жаркую молитву во время всенощной, она видела несомненное доказательство божеского промысла.

С этого дня ее судьба была решена в ее собственных глазах. Все ее мечты приняли определенный образ и определенное направление. Все касающееся Китая ее теперь живо интересует, и у нее выступает румянец, лишь только за обедом речь случайно коснется этой страны. Одного только боится Вера: как бы, чего доброго, Китай не обратился в христианство прежде, чем она успеет совсем вырасти.

7 Заказ 1174

## IV

Дом Баранцовых стоял на возвышении; к северу гора спускалась отлого к большому пруду, выкопанному, разумеется, руками крепостных людей. Здесь был разбит сад в версальском вкусе с прямыми, выложенными щебнем дорожками, с цветочными клумбами в форме ваз или сердец и со множеством жасминных, сиреневых и липовых беседок. Когда-то эта сторона дома пленила бы взгляд всякого любителя подстриженной природы; теперь же, когда вместо прежнего садовника-артиста с целым штатом помощников при саде состоял всего один мужик-самоучка да два мальчика, он представлял жалкий, мизерный вид. Пруд зарос тиной и служил рассадником бесчисленных поколений комаров; беседки расшатались. На дорожках пробивалась трава. Ничего нет печальнее вычурного помещичьего сада, когда о нем перестанут заботиться.

Зато с другой, нелицевой стороны, над которой меньше мудрили и где природе было предоставлено распоряжаться по-своему, и теперь было очень хорошо. Непосредственно к дому примыкала дубовая рощица, а за ней гора крутым обрывом спускалась к ручью, который в половодье шумел и пенился, во время же засухи представлял из себя песчаную лощинку, в самой середине которой сочилась жиденькой струйкой водица. Весь обрыв густо зарос кустарником; весной он стоял как молоком облитый белыми душистыми цветами черемухи и весь гремел песнями иволги, малиновки, пеночки и разных других мелких птичек. Иногда сюда прилетали и соловьи. Осенью здесь была масса орехов и дикой малины. Зимою же его так заносило снегом, что он представлял одну сплошную покатую белую массу, из которой то здесь, то там торчали черные прутья.

Этим обрывом и заканчивались с этой стороны владения Баранцовых. На противоположном берегу ручья шла уже земля другого помещика, Степана Михайловича Васильцева. Этот последний, впрочем, до сего времени мало беспокоил графов, так как никогда не жил в своей усадьбе. Дом его, деревянный и одноэтажный, вечно стоял с забитыми дверями и с заколоченными ставнями, а запущенный сад превратился в зеленый, тенистый пустырь, в котором, под сенью старых лип, лопух достигал громадных, баснословных размеров, и пушистые головки

куриной слепоты повсюду белели рядом с мелкими цветами одичавших колокольчиков, гвоздики и венериных голубков.

Про Васильцева шла молва, что он очень ученый человек. Зимой он жил в Петербурге, где состоял профессором в Технологическом институте; летом, в каникулярное время, уезжал обыкновенно за границу; о своем же небольшом, унаследованном от отца именье он, по-видимому, совсем и забыл. Но в эту достопамятную зиму перед крыльцом васильцевского дома остановились однажды почтовые сани с бубенчиками; в санях сидели два жандарма, а между ними сам владелец усадьбы.

Дело было очень просто. Васильцев уже давно слыл либералом и состоял на довольно плохом счету у многих влиятельных лиц в Петербурге. В эту зиму по случаю какой-то годовщины профессора и студенты Технологического института устроили банкет, на котором должен был присутствовать великий князь, высокий покровитель заведения. Его высочество дал понять, что ему нежелательно встречаться с Васильцевым; последнему это, разумеется, передали, но он ответил, что пусть в таком случае ему пришлют официальное запрещение участвовать в банкете, в котором он считает себя одним из хозяев, как и всякий другой профессор; официального запрещения, разумеется, не последовало, и в назначенный день он вместе с другими профессорами спокойно занял свое место за столом в актовом зале института.

Дня через два после этого происшествия к нему явился с визитом начальник тайной полиции и любезно предложил ему подать в отставку и отправиться на жительство в свое родовое именье, без права выезда из оного. Для большей безопасности во время дороги к нему приставили двух ангелов-хранителей в жандармских мундирах.

При таких обстоятельствах совершилось водворение Степана Михайловича Васильцева в его отцовской усадьбе.

Легко представить себе, какую сенсацию произвело это событие во всей окрестности. О новоприезжем и о причинах его неожиданного появления пошли немедленно самые нелепые и преувеличенные толки; многие подозревали в нем опасного конспиратора; это подозрение окружало его таинственным, в то же время и устрашающим, и привлекательным нимбом, так как в России лю-

ди и консервативного образа мыслей, если только непосредственно не принадлежат к тайной полиции, всегда испытывают невольное, инстинктивное уважение ко всякому политическому преступнику.

Баранцовы были ближайшими соседями Васильцева. Не удивительно поэтому, что у двух старших барышень, Лены и Лизы, явилось чувство какого-то естественного права собственности на интересного соседа, посылаемого им самим небом. Он был холост и хотя, по совести говоря, не мог уже считаться молодым человеком, так как ему перевалило за сорок, и еще того менее мог бы прослыть Адонисом, — но при теперешней бедности на женихов и он мог назваться хорошей партией.

Васильцев, вероятно, удивился бы немало, если бы ему сказали, какую роль он играл в разговорах и планах двух девиц. По странной случайности, он в течение всего следующего лета не мог выйти из дому, чтобы не встретиться, то с Леной, то с Лизой, и, что еще страннее, чтобы не застать их всегда в каких-нибудь причудливых костюмах и в необычайных, живописных положениях. То вдруг наткнется он на резвую Лену, которая, как белка, взобралась на дерево и лукаво смотрит на него из-за густой листвы; то увидит он томную Офелию — Лизу, мечтательно склонившуюся к пруду с венком незабудок в руках. И надо было послушать, как испуганно-грациозно вскрикивали барышни, когда их заставали так врасплох.

Но все эти встречи ни к чему не вели. Поклонится Васильцев обрубковато и сухо — и был таков. Разговора никакого не выходило. Не удивительно поэтому, если барышни наконец пришли к заключению, что такого грубого, неотесанного медведя, как их сосед, и свет не производил.

Но если с Леной и Лизой знакомство Васильцева не клеилось, зато с Верой оно завязывалось очень просто и, надо сознаться, далеко не поэтическим образом.

Лето приближалось к концу; начиналась осень, дождливая, грязная, с ранними темными вечерами. Вынужденная, непривычная скука однообразной деревенской жизни все еще часто выгоняла Васильцева за ворота его дома и заставляла его искать развлечения в длинных прогулках. Но, как все люди, никогда не жившие в русской деревне, он часто встречал на своем пути затруднения и попадал, как ему казалось, в большие опасности.

В профессорском кружке, где Васильцев вращался до тех пор, меньше всего пришло бы кому-либо в голову заподозрить его в трусости; наоборот, товарищи постоянно дрожали, как бы он своей неуместной строптивостью и их не подвел под ответ. Когда профессорской карьере его был положен столь неожиданный конец, даже самые храбрые из его приятелей печально соглашались:

— Это было неизбежно! Разве с такой буйной головой, как у Васильцева, можно прожить в России!

Сам Степан Михайлович сознавал себя в душе очень смелым человеком. В своих сокровенных мечтах — в тех мечтах, в которых не признаешься даже близкому другу, — он любил воображать себя в разных необычайных положениях и не раз из глубины своего кабинета участвовал в защите баррикады.

Тем не менее, несмотря на свою всеми признанную храбрость, к деревенским собакам, про которых шла молва, что они прошлой весной растерзали прохожую побирушку, и к деревенскому быку, который уже два раза подымал на рога пастуха, Васильцев питал, надо признаться, очень большое почтение и всячески избегал ближайшего с ними знакомства.

Однажды случилось ему отойти довольно далеко от дома. Большая дорога осталась в стороне. Шел он, по привычке заложив руки за спину, понурив голову, погруженный в мысли и не глядя по сторонам. Вдруг, очнувшись, он увидел себя в довольно затруднительном положении: кругом его топкий луг, в котором, чуть сойдешь с узенькой тропинки, нога уходит по щиколотку в жидкую кашицу. Перед ним довольно широкий ручей, а сзади слышится топот и мычание деревенского стада.

— Эй, пастух! Придержи твою скотину, — подумал было закричать Васильцев.

Но пастух, мальчишка лет пятнадцати, слабосильный и слабоумный — затем его отдали в пастухи, что он ни к какому другому делу не годился, — только промычал что-то бессвязное в ответ и загоготал глупым, идиотским смехом.

Васильцев стоял в нерешительности.

— Прыгайте через ручей. Он ведь не глубок! — раздался вдруг молодой, почти детский голос, в котором звучали нотки смеха.

Васильцев посмотрел в ту сторону, откуда пришел ему добрый совет, и увидел на холмике, на противопо-

ложном берегу ручья, шагах в двадцати от себя, не то барышню, не то просто девочку, лет пятнадцати, в соломенной шляпке, обвитой выцветшей ленточкой, и в простеньком ситцевом платье, слишком узком в груди и коротком внизу и в рукавах.

Вера, тоже загнанная сюда скукой, уже давно, от нечего делать, наблюдала этого забавного, худого человека, затруднявшегося перед такими пустяками.

— Прыгайте смелей! — закричала она еще раз, но Васильцев все не решался.

Тогда Вера сбежала с холма, бесстрашно зашлепала старенькими ботинками по топкому лугу, притащила откуда-то доску и с размаха перебросила ее через ручей, густо обдав грязью свои белые чулки и серые панталоны соседа.

Очутившись в безопасности, Васильцев, разумеется, тотчас же устыдился своей трусости. Торопливо и конфузливо поблагодарив свою спасительницу, он стоял перед нею, растерянно и принужденно улыбаясь. Уйти немедленно, оставив по себе такое невыгодное впечатление, ему не хотелось; но он решительно не знал, как завязать разговор с этой маленькой дикаркой, разглядывавшей его с беззастенчивым любопытством подростка.

— Что это у вас за книжка? Можно взглянуть? — нашелся он наконец.

У Веры под мышкой ее драгоценные жития.

Васильцев раскрыл наудачу и прочел следующее:

«Император Диоклетиан, осерчав на честного мученика Исидора, повелел страже отвести его в Капитолий...»

— Что за чепуха такая! — невольно вырвалось у Васильцева.

Гневно, негодующе сверкнули синие баранцовские глаза. Быстро схватив свою книгу, Вера повернулась спиной и зашагала по направлению к дому, не оглядываясь.

В течение вечера Васильцеву не раз, против его воли, приходил на ум утренний комический эпизод, и воспоминание это всякий раз вызывало в нем и смех, и легкую досаду.

На следующий день, сам не отдавая себе отчета, он опять отправился на место вчерашнего посрамления. К своему удивлению, он застал там и Веру. С задумчи-

вым, сосредоточенным лицом она стояла у ручья и как будто поджидала Васильцева.

— Здравствуйте! — сказал он, дружески протягивая ей руку.

— Неужто это все неправда? — проговорила она вместо ответа, подымая на него свои большие глаза, взгляд которых был теперь тревожный, почти умоляющий.

Вчера, услышав такой нелестный отзыв о своей любимой книге, она начала с того, что рассердилась, но скоро гнев сменился другим, более тяжелым чувством.

«Все говорят, что сосед умный и ученый. Он должен все это знать. Ну что, как и в самом деле все это о мучениках сказка?»

Сомнение это было так мучительно, что разъяснить его надо было во что бы то ни стало.

— Это вы о книге, что ли?— засмеялся Васильцев. — Ну, сами вы посудите, барышня. Император Диоклетиан царствовал в Византии, а Капитолий находится в Риме. Как же он мог велеть страже отвести туда честного мученика Исидора?

— Ах, вы об этом! Значит, только это неправда?

— Как только? Кажется, достаточно!

— Ну, а то правда, что мученики были?

— Конечно, были.

— И резали их, и жгли, и зверями травили?

— Все это проделывалось.

— Слава богу! — вырвалось облегченным вздохом у Веры.

— Как слава богу, что терзали-то их?

Оригинальная девочка решительно начинала забавлять Васильцева.

— Ах, не то, разумеется, не то! — конфузясь, заторопилась Вера,— я хочу сказать, слава богу, что хоть тогда-то были такие хорошие люди, святые, мученики.

— Мученики есть и теперь, — серьезно проговорил Васильцев.

Вера взглянула на него удивленным долгим взглядом.

— Да, в Китае!— сообразила она наконец.

Васильцев опять засмеялся.

— Зачем искать так далеко! Есть и ближе!

Вера все смотрела на него, и на лице ее отражалось все большее и большее недоумение.

— Разве вы никогда не слыхали, что и у нас в России сажают людей в тюрьмы, ссылают в Сибирь, подчас даже вешают? Как же вы спрашиваете, есть ли мученики?

— Да ведь у нас же ссылают только злодеев, преступников!..

Эти слова вырвались у Веры сами собой; не успела она их выговорить, как яркая краска залила ей лицо: «Ведь сосед-то сосланный!»

— Случается, что ссылают и за другое,— проговорил Васильцев вполголоса.

Некоторое время они продолжали идти рядом, молча, Вера — потупив голову и нервно теребя пальцами кончики шейного платка. Странные, как будто даже совсем несообразные мысли начинали целым роем возникать в ее голове. Она ужасно боялась сказать что-нибудь глупое, неравно, обидит соседа, но вопрос был такой для нее важный, такой животрепещущий, что останавливаться соображениями приличия нельзя было.

— За что вас сослали?— проговорила она вдруг очень быстро, не глядя на Васильцева.

Тот ухмыльнулся.

— Вам очень хочется знать? — спросил он, как бы поддразнивая.

Вера только головой кивнула в ответ, но лицо ее говорило за нее.

— И о мучениках современных тоже хотите знать?

Глаза Веры загорелись еще ярче.

— Хотите, я вам расскажу? Только наперед предупреждаю: придется говорить и о многом другом.

Верино лицо сияет.

— И о Диоклетиане, и о Капитолии придется, пожалуй, говорить. Будете слушать?

— Буду, буду!

## V

На следующий же день Васильцев явился с визитом к графу Баранцову. Знакомство завязалось скоро, и когда через несколько времени Васильцев пожелал давать Вере бесплатные уроки, то предложение это было принято с благодарностью, тем более что граф, несмотря на свою беспечность, по временам испытывал некоторое угрызение совести при мысли, что младшая дочь рода

Баранцовых растет столь же не обремененная познаниями, как любая деревенская девчонка.

Сестры Веры с этого времени не сомневались более в том, что ей удалось пленить собою соседа. Они шутливо поздравили ее с победой. Подтруниванья над ее «поклонником» скоро вошли у них в привычку.

Вначале эти разговоры и поддразниванья сердили и конфузили Веру. Мало-помалу, однако, она стала находить в них своего рода прелесть. Как хотите, всегда лестно, когда говорят, что кто-нибудь в вас влюблен. Вера даже и в собственных глазах выросла и поважнела с тех пор, как у ней завелся обожатель.

— Ну что? Как он был с тобой сегодня? Не объяснился еще? Да не скрытничай, пожалуйста! Рассказывай все!— приставали к ней сестры после каждого ее урока с Васильцевым.

И Вера, почти что против воли, начинала рассказывать и, тоже против воли, немножко прибавляла. Бог знает, впрочем, как это выходило! Сестры так хорошо умели объяснить и растолковать каждое слово, сказанное Васильцевым, что оно и действительно начинало казаться совсем не таким, как в ту минуту, когда было произнесено.

Вера и сама не заметила, как сосед мало-помалу завладел ее мыслями и как образ его видоизменился. «Долговязый, невзрачный, немолодой господин, с песочным лицом и такими близорукими глазами, что они, кажется, и в очках ничего не видят!» Вот как описала бы она соседа тотчас после их знакомства у канавы. Теперь же, когда он сделался ее признанным обожателем, ей так хотелось возвести его в герои, что она ежедневно стала открывать в нем новые достоинства. Сегодня она нашла, что у него улыбка приятная; завтра заметила, что, когда он смеется, у него образуются вокруг глаз такие потешные, милые морщинки, и эти морщинки вдруг ей ужасно полюбились.

Она жила теперь в состоянии какого-то хронического, безотчетного ожидания. К каждому уроку готовилась с сердцебиением и во время самого урока сидела нервная, взволнованная, в постоянном трепете: «Не сегодня ли?»

Вера и Васильцев одни в комнате. Урок кончен, но учитель уходить еще не собирается. Он отложил книгу в сторону, опустился в кресло, подпер голову рукой и

задумался. Это случается с ним нередко. Вера сидит рядом неподвижно. Ей почему-то стало вдруг неловко, страшно пошевелиться. Она уставилась глазами в небольшую смуглую худую руку Васильцева и машинально разглядывает одну толстую синюю жилку, которая, начавшись у кисти, раздвигает в сторону несколько темных волосков и, поспешно суживаясь, извивается до среднего пальца.

Начало уже смеркаться; все предметы мало-помалу тускнеют и очертания стушевываются. По мере того как рука Васильцева задергивается, словно дымкой, Вера бессознательно напрягает зрение. На нее находит какое-то странное оцепенение; с каждой минутой все труднее и труднее ей пошевельнуться; сердце колотится сильными, полными ударами; в ушах поднялся звон, словно где-то далеко вода льется.

Васильцев вдруг очнулся из забытья.

— Верочка, милая... — начал он мягко, как бы продолжая прежнюю мысль, и ласково положил свою руку на ее.

«Вот оно! — как молния мелькнуло в голове Веры.— Сейчас будет объяснение».

Но ее нервы слишком напряжены. В груди вдруг что-то сжалось и подступило к горлу; еще одно слово, и она задохнется.

— Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите! Я и так знаю!— вырвалось у ней сдавленным криком.

Она рванулась и отскочила в противоположный угол комнаты.

Ошеломленный Васильцев несколько мгновений глядел на нее молча, растерянно.

— Верочка, что с тобой? — спросил он наконец тихо, боязливо.

Звук его голоса сразу привел Веру в себя, и ей вдруг стало ясно, что она сделала большую, страшную глупость.

Как ей теперь быть? Как ему объяснить?

— Я думала... мне показалось...— бормотала она несвязно, задыхаясь.

Васильцев не сводил с нее глаз, и выражение испуганного недоумения мало-помалу сменялось на его лице выражением неприятного досадливого подозрения.

— Вера, я хочу, я требую, чтобы вы мне сказали, что такое вам показалось!

Он стоит перед ней и крепко держит ее руки. Его голос звучит сурово, металлически. Голубые близорукие глаза, как два винта, впиваются в ее лицо. Под влиянием этого пристального, допытывающего взгляда Вера чувствует, что теряет всякую волю, всякое самообладание. Она знает, что признание будет ужасно, но если бы дело шло о жизни и смерти, она все-таки не могла бы ему не ответить, не могла бы не сказать правды.

— Я думала... что вы влюблены в меня! — послышался наконец чуть внятный, прерывающийся шепот.

Васильцев, как ужаленный, выпустил ее руки.

— Ах, Вера, и вы не лучше других, такая же кисейная барышня! — проговорил он укоризненно и вышел из комнаты.

Вера осталась одна, несчастная, уничтоженная.

«Господи! Стыд какой! Как жить после такого позора!» Эта мысль первая приходит ей в голову на следующее утро, после нескольких часов тревожного, лихорадочного забытья.

Еще рано. С кроватей сестер доносится их ровное, мерное, сонное дыхание. Они вчера ничего не заметили, ни о чем не догадываются; но что они скажут, когда узнают! Быть в течение целого месяца героиней интересного, увлекательного романа и вдруг оказаться просто глупой, заносчивой девчонкой! «О, какой стыд, какой стыд!»

Вера прячет голову под одеяло и плачет горько, конвульсивно, кусая зубами подушку, чтобы заглушить рыдания.

Лена повернулась на своей кровати. Сестры начинают просыпаться.

«Только бы они ничего не заметили!» Эта мысль внезапно осушает Верины слезы. Она встает как ни в чем не бывало, одевается, в течение всего дня ходит, разговаривает, даже смеется, как будто ничего не случилось. Иногда ей действительно удается забыть на минуту о вчерашнем, но на сердце все та же тупая, неотвязная, новая совсем боль.

Опять наступил день, назначенный для урока.

«Что-то теперь будет!» — думает Вера и вся холодеет при мысли о свидании с Васильцевым.

К трем часам прибегает мальчик из соседней усадьбы с письмом от барина: он нездоров, просит извинить его, на урок прийти не может.

«Слава богу!» — думает Вера с облегчением.

Опять начинается для нее прежняя скучная, незанятая жизнь, как было до Васильцева. Опять слоняется она по целым дням из угла в угол, не зная, что с собой делать, за что приняться. Как ни скрытничала она, сестры все же что-то такое заподозрили и пристают с обидными, навязчивыми расспросами. Вера всячески избегает теперь их общества.

Таким образом прошла одна неделя, началась другая. Васильцев все не являлся. «Никогда он не придет больше!» — думала Вера с какою-то злобною тоскою. Но однажды сидела она одна в пустой классной, рассеянно и безынтересно перелистывая уже раз десять прочитанную книгу, как вдруг в коридоре послышались знакомые шаги.

Кровь вся прилила ей к сердцу; на минуту ей показалось, что оно перестало биться. Первым ее импульсом было вскочить и убежать, но, прежде чем она успела выполнить свое намерение, Васильцев был уже в комнате.

Вид у него был спокойно-добродушный, совсем как всегда, как будто ничего особенного не произошло и этих мучительных десяти дней и не было совсем. А Вера? Она так ненавидела его в эту неделю, но теперь наплыв безумной, дух захватывающей радости вдруг охватил все ее существо. Конечно, ей было стыдно, до боли стыдно, но радость все же была преобладающим чувством.

— Вера, дружок мой, так продолжаться не может! — Он говорит ровным, ласковым голосом, словно обращается к ребенку. — Между нами вышло маленькое недоразумение, — очень неприятное, досадное недоразумение, — но теперь мы потолкуем хорошенько раз навсегда и потом совсем забудем о нем и будем друзьями по-прежнему. Ведь мне уж сорок три года, Верочка; ведь я старик, чуть не в три раза старше вас; вы мне в дочки годитесь, а не в жены. Влюбиться в вас было бы с моей стороны не только глупостью, но и подлостью. Да я, слава богу, и не думал никогда в вас влюбляться. Зато полюбил я вас сильно и искренно, и крепко хочется мне, чтобы из вас хороший человек вышел. Ведь только кисейные барышни воображают себе, что не может мужчина побыть получасу в их обществе, чтобы тотчас не начать им куры строить, а ведь вы же не кисейная барышня? Не правда ли?

Вера стоит молча, потупив голову; крупные слезы дрожат на ее длинных ресницах, но она и не думает ненавидеть Васильцева в эту минуту.

— Послушайте, друг мой, дайте мне вашу руку, — продолжает Степан Михайлович.— Чтобы доказать вам, как я дорожу вашей дружбой, я скажу вам то, чего уже много, много лет никому не говорил. Раз в жизни я действительно любил одну девушку. Лучше, милее ее я никогда не встречал женщины. Но судьба ее была ужасна. Это было сейчас после Каракозовского покушения. Тогда ведь всех хватали и забирали; достаточно было одного неосторожного слова, чтобы попасть в тюрьму. И ее посадили. Тюрьмы были переполнены, и ей пришлось просидеть шесть месяцев в сыром, темном подвале, который водой заливало. А она была нежная, слабая такая! Когда пришла наконец очередь разобрать ее дело, оказалось, что никаких улик против нее нет. Пришлось ее выпустить. Но в этом ужасном подвале она схватила страшную болезнь, хуже какой нет, кажется, на свете: у ней сделался костоед лица — тюремный костоед, он так и называется. В течение целых трех лет после этого, Верочка, она умирала медленной смертью. Я, разумеется, не отходил от нее ни шагу за все это время: каждый день должен был я видеть, как ужасная, неумолимая болезнь обезображивает, съедает ее, живую. Страдания ее были так велики, что даже я, который любил ее больше всего на свете, должен был звать смерть как избавление. Теперь вы понимаете, Верочка, что когда человек перенесет такое в жизни, то он не может смотреть на любовь как на шутку. Да, поистине сказать, в стране, где подобные вещи возможны, и права почти не имеешь думать о личной любви, о личном счастье...

Голос Васильцева пресекся от волнения. Вера горько, молча рыдала.

Немного погодя Васильцев показал ей портрет своей бывшей невесты до ее страшной болезни: красивое интеллигентное смуглое лицо с темными, мечтательными глазами. Вере показалось, что никогда в жизни не видала она лица лучше этого; с благоговением прикоснулась она к портрету губами, как к лику мученицы, и со слезами на глазах повторила свой прежний детский обет добиваться мученического венца. Только не в Китай она за ним отправится; теперь она знает, что венец этот составляет удел многих в России.

С этого дня недоразумений между Верой и Васильцевым больше не было, и дружба их была скреплена прочно, навсегда.

## VI

На дворе конец апреля. Весна в нынешнем году пришла как-то разом, внезапно. После того как вскрылись реки и сошел снег, долго еще стояли холода; все развивалось медленно, вяло, словно нехотя, шаг вперед — два назад. Каждую травку, каждую былинку как будто упрашивать и уговаривать надо было, чтобы она решилась стряхнуть с себя зимнюю спячку и высунуть из-под земли кончик нежного зябкого листочка. Настоящего весеннего азарта ни в ком не замечалось.

Вдруг раз ночью собрался тихий, теплый дождик, и с этой минуты какое-то волшебство пошло. Словно бродила какие-то стали сыпаться на землю вместе с мелкими, душистыми каплями весеннего дождя. Все зашевелилось, все вдруг возгорелось желанием жить. Каждый заторопился, полез вперед, толкая и давя других, как будто боясь опоздать к сроку. Всякий решился постоять за себя и за свое право на существование.

Проснулись на следующее утро жители Борков, да так и ахнули. Что это за одну ночь поделалось! Не узнать ни сада, ни полей, ни леса. Вчера вечером все это было черно, голо; теперь все подернулось легким зеленым налетом. И воздух не тот, что вчера. И пахнет не так, и дышится иначе.

В настоящую минуту — самый разгар спешной неугомонной весенней горячки. Березки уже оделись нежной, прозрачной, как кружево, листвой. Огромные набухшие почки тополя роняют на землю клейкие, смолистые чешуйки, наполняя воздух пряным, опьяняющим ароматом. Желтая душистая пыльца с ольховых и орешниковых сережек носится повсюду вместе с беленькими лепестками черемухи и вишни. Ели пустили вверх огромные светлые ростки, которые торчат прямо, как свечи, и странно выделяются среди старых, прошлогодних хвой. Только дуб один стоит еще голый, угрюмый, словно и не помышляя о весне.

С юга каждый день прилетают новые гости. Уже с неделю тому назад обрисовался на небе первый черный треугольник журавлей. Дятел застучал в дупле старого

бука. Ласточки снуют под крышей балкона, разыскивая свои старые гнезда, и ведут ожесточенную борьбу с воробьями, успевшими в течение зимы завладеть их старинной собственностью.

Из почвы поднимаются теплые испарения. Кажется, так и чувствуешь, как там, внизу, в недрах земли, идет какая-то странная, таинственная работа. Шагу сделать нельзя, чтобы не ступить на зародыш какой-нибудь новой, молодой жизни — плесени, травки или насекомого. В пруду идут оживленные любовные объяснения. Каждая канавка так и кишит миллиардами самых разнообразных, самых причудливых форм существования; и все это копошится, все это хлопочет, все это проникнуто сознанием важности своего собственного я.

В бывшей классной баранцовского дома сидит, склонившись над письменным столом, молодая девушка, лет восемнадцати, стройная и высокая, с тонким, словно выточенным, профилем и с задумчивыми синими глазами, окаймленными черными ресницами. Перед ней на столе лежит открытая книга, томик Добролюбова, но видно, что ей трудно сосредоточить мысли на том, что она читает. Она поминутно подымает голову, откидывается на спинку стула; руки ее начинают машинально играть костяным ножиком, а в глазах является выжидательное, напряженное выражение, как будто она прислушивается, не идет ли кто.

В этой молодой красавице трудно было узнать прежнего смуглого, худенького подростка Веру. После памятного ей объяснения с Васильцевым прошло три года. По-видимому, эти годы прошли тихо, без всяких событий и потрясений, но для Веры они были богаты внутренним содержанием. Дружба ее с Васильцевым все росла и крепла; зато от всех своих домашних она как-то совсем отбилась. Сестрам надоело дразнить ее соседом, и они махнули на нее рукой. Так как близость ее с Васильцевым началась, когда она была девочкой, то родители, по привычной беспечности, не считали нужным ей препятствовать и теперь, когда Вера стала взрослой барышней.

За последнее время, однако, акции Васильцева в глазах соседей-помещиков сильно упали. За ним числилось несколько очень важных провинностей. Во-первых, он

отдал своим крестьянам без выкупа всю землю, которою они прежде владели оброчно, и тем не только нанес чувствительный ущерб собственному карману, но и показал зловредный пример всему уезду; во-вторых, его заподозривали в том, что он и в чужие дела мешается, дает чужим крестьянам непрошеные советы и расстроил не одну хитроумную комбинацию, придуманную то тем, то другим помещиком при разделе с бывшими крестьянами.

Вообще, хотя явно ни в чем противозаконном Васильцева нельзя было уличить, тем не менее все соглашались, что он ведет себя совсем не так, как следовало бы в его положении, и, по-видимому, совершенно забывает, что ссылка в собственное имение за политические дела обязывает человека к особой осторожности. Кое-кто из приятелей пробовал уже намекнуть ему, что и губернатор начинает на него зубы точить, но он и на это не обратил никакого внимания.

Тогда как помещики дулись на Васильцева, крестьяне души в нем не чаяли и не могли нарадоваться его приезду. В первое время они, правда, дичились его и даже к отдаче им земли без выкупа отнеслись недоверчиво.

Потом они решили, что он, должно быть, простоват. Мало-помалу они убедились, однако, что и глупостью его поступков объяснить нельзя. Увидели они, что всякий раз, когда обратишься к нему за делом, получишь от него либо помощь, либо толковый, разумный совет. С этих пор ему от мужиков отбоя не стало. Надо ли разъяснить какой-нибудь запутанный семейный вопрос или написать прошение в суд — так они к нему гурьбой и тащатся.

В свободное время Вера с Васильцевым занимаются чтением и разговорами; разговоры у них бесконечные, все больше о предметах абстрактных, их лично не касающихся. Как и три года назад, так и теперь часто говорят они о современных «мучениках»; Вера, как и прежде, нет, в сто раз сильнее прежнего, преисполнена решимости пойти по их стопам.

Но мученический венец — это впереди, когда-нибудь, в отдаленном будущем; теперь же, пока, жизнь ее чудно хороша и с каждым днем становится все полнее и лучше.

Только вот последние дни были скучноваты, тоскливы. Васильцеву пришлось куда-то уехать по делам

крестьян; две недели его не было дома. Страшно как тянется время, когда нет надежды вечером поговорить с другом! Как-то ни к чему и охоты нет, никакое дело в руках не спорится!

Но, слава богу, конец этим дням! Сегодня пополудни прибежал мальчик из соседней усадьбы сказать, что барин вернулся и вечером будет с ними чай кушать.

«Через каких-нибудь полчаса он здесь будет!»

Наплыв такой сильной, неудержимой радости охватил Веру, что она не могла усидеть на месте, бросила в сторону книгу и подошла к окну. Косые лучи заходящего солнца обдали ее огненным румянцем и заставили быстро-быстро зажмурить глаза.

«Как хорошо на дворе! Никогда еще, кажется, не было такой восхитительной, такой дивной весны! И как все растет! Просто чудеса, да и только! Сегодня поутру совсем была голая горка, а теперь целые пригоршни можно бы нарвать буковиц и подснежников. Точно из земли они готовые выползли! В сказке говорится про одного молодца, у которого было такое тонкое зрение, что он видел, как трава растет. Да весной это не мудрено! Если бы только глядеть попристальней, кажется, и я бы могла... Что это? Кукушка в лесу закуковала. Первая в нынешнем году... Господи, какая прелесть! Так хорошо, что даже сердце щемит и плакать хочется!»

Когда вошел, наконец, Васильцев, Вера бросилась навстречу ему так горячо, что он потерял обыкновенное самообладание.

Он берет ее за обе руки и смотрит на нее нежно и с восхищением.

— Что с вами случилось, Вера? Я с первого взгляда просто и не узнал вас! Две недели тому назад я оставил вас девочкой, а нахожу...

Он не договаривает, но взор его говорит недосказанное.

Верины щеки покрываются ярким румянцем, и она невольно опускает глаза. Ей так хорошо, так отрадно с ним. Эти две недели действительно произвели в ней какую-то перемену. Никогда прежде не холодели у ней руки и не пылали так щеки в его присутствии. Машинально, чтобы скрыть свое волнение, она начинает перебирать книги на столе.

— Нет, Вера, сегодня заниматься не будем. Давайте лучше так посидим.

Он опускается на стул возле открытого окна и закуривает папиросу. Вера садится рядом; сердце у нее бьется шибко, шибко, словно трепещущая птичка.

На дворе уже стемнело. Высоко над головой небо темно-синее, но, спускаясь к западу, оно постепенно бледнеет и на горизонте окаймляется светло-янтарной полосой. Лягушки на пруду затянули дружный хор. В углах комнаты и на потолке тоненький писк первых комаров сливается в протяжный, замирающий гул. Майский жук грузно пролетел мимо окна, наполнив воздух шумливым, басистым жужжаньем.

В кустах, отделяющих кухню от сада, мелькнуло что-то светлое. Женская фигура, с платочком на голове, остановилась на минуту в перешительности, зорко осматриваясь, не следит ли за ней кто; потом быстро-быстро засеменила по направлению к роще. Через минуту оттуда доносится ласковый мужской шепот и тихий, счастливый смех. Издали со стороны фермы несутся жалобные звуки тростниковой дудочки деревенского виртуоза-пастуха.

— Расскажите мне про это дело с мужиками. Я так много страшного и гадкого слышала сегодня за столом,— начинает вдруг Вера, но она, очевидно, принуждает себя говорить; голос звучит неестественно.

Васильцев вздрагивает, словно пробужденный.

— Да, понимаю, что меня осуждают, — говорит он, проводя рукой по лбу.— Но я не отчаиваюсь, что мне удастся склонить общественное мнение в пользу этих несчастных крестьян. Я вам все это подробно расскажу, Вера, но после. Теперь не могу!..

Опять несколько минут молчания; только комары пищат и пастух заливается на своей дудочке.

— Вера, помните ли один наш разговор, три года назад. Я тогда был так уверен в себе, что никогда этого не случится... А между тем... Вера, скажите, я вам совсем стариком кажусь?

Эти последние слова вылетают чуть внятным, дрожащим шепотом. Вера хочет что-то ответить, но голос ее обрывается.

Бог знает, каким образом рука Васильцева оказывается на ее руке. От этого прикосновения у обоих захватывает дыхание, слова не приходят им на язык, обоим страшно пошевелиться.

— Степан Михайлович! Вера! Здесь ли вы? — раздается звонкий голос Лизы в коридоре.

Васильцев быстро отскакивает.

— До завтра, Вера! — говорит он и, перешагнув через низкое окно в сад, скрывается в темноте.

Весенняя ночь, волнующая, душистая, полная таинственных чар и страстного замирания, плывет по небу. Огни на селе погашены. Все звуки мало-помалу стихают. Дудочка пастуха давно умолкла. Лягушки присмирели, комары и те угомонились. Время от времени пронесется только какой-то странный шелест в кустах, на пруду всплеснет что-то или порыв ветра донесет из дальнего села жалобный вой цепного пса, томящегося одиночеством в эту чудную страстную ночь.

Вере не спится. Ей душно сегодня в большой прохладной спальне, которую она занимает теперь одна, отдельно от сестер. Она встает с постели, открывает окно и прикладывается горячей щекой к холодному стеклу. Но это ее не освежает; лицо пылает по-прежнему, и так же томительно сладко замирает сердце, та же неясная, полная блаженства тревога охватывает все ее существо.

Как тихо все кругом! Роща кажется теперь огромной, глубокой; деревья стоят такие большие, черные, точно сдвинулись вместе, точно сговариваются о чем-то, точно скрывают какую-то странную важную тайну. Среди ночной тишины раздается вдруг тихий, переливчатый звон; это почтовая тройка проезжает по большой дороге. Воздух так чист, так прозрачен, что бряцание бубенчиков слышно уже издалека, верст за пять; на минуту оно замолкает; должно быть, тройка заехала за горку; но скоро оно опять раздается явственно, все ближе и ближе; видно, тройка несется быстро, во всю прыть; теперь слышно и хлопанье кнутом, и голос ямщика, и лошадиный топот. Но вот опять звуки удаляются. Странно! Они точно оборвались сразу; должно быть, тройка остановилась где-нибудь поблизости.

Удивительно, право! Как волнует звук почтовых бубенчиков ночью! Ведь знаешь, что интересного некого ждать. Вернее всего — это приехал мировой посредник или становой нагрянул в село для следствия о какой-нибудь потраве. А все же, как услышишь этот тоненький серебристый звон на большой дороге, сердце так и

забьется. И вдруг потянет куда-то вдаль, в какие-то неведомые страны.

«Господи, как жизнь хороша!»

Вера невольным, машинальным жестом складывает руки, как бы для молитвы. Васильцев называет себя материалистом, и Вера тоже знакома со всеми новыми теориями и думает серьезно, что совсем больше не верует в бога. Но, тем не менее, в эту минуту душа ее преисполняется страстной, беспредельной благодарности к кому-то, кто даровал ей счастье, и по старой, детской, неизгладимой привычке она обращается с горячей мольбой к богу, существования которого не признает.

«Господи! Я знаю, что на свете есть много горя, много несправедливости, много нужды! Я хочу послужить людям, я готова жизнь за них отдать! Только после, после, господи! Теперь так хочется, так мучительно хочется счастья!»

На минуту Вере удается забыться тревожным сном.

«До завтра!» — проносится вдруг ярким лучом в ее сознании, и опять начинается для нее томительно сладкая тревога, горячая, блаженная лихорадка.

Заря уже занялась на небе. Вторые петухи пропели; воробьи зачирикали под окном шумливо и озабоченно — а она все не спит, все мечется на постели с пылающим лицом и с похолодевшими руками. Лишь после восхода солнца уснула она, наконец, крепким, свинцовым сном.

Зато и спала она долго. Было поздно, уже недалеко от полудня, когда снова охватило ее неясное сознание чего-то удивительно счастливого, что произошло вчера. Как хорошо просыпаться на следующий день после большой, неожиданной радости!

Вера лежит и нежится в своей постельке.

«Что ж это я, однако? А ребятишки-то мои!» — пронеслось в ее голове.

Она вскочила и собиралась уже одеваться, но посмотрела на часы, увидела, что так поздно, и подумала, что урок все равно прогуляла и торопиться не стоит. Решив это, она опять улеглась в постель и закрыла глаза, тихо улыбаясь своему будущему близкому счастью.

В комнату, осторожно ступая и приглядываясь, не спит ли барышня, вошла горничная.

— Анисья, матушка, что ж ты меня раньше не разбудила? — весело приветствовала ее Вера.

— Я уже раз пять входила, барышня; да вы так сладко спали; жаль было вас тревожить.

«Что это у ней сегодня лицо такое странное?» — подумала Вера.

— А у нас, барышня, беда случилась! — проговорила вдруг Анисья тем особенным, взволнованным и все же как будто довольным голосом, которым прислуга всегда сообщает важные новости, какого бы свойства они ни были.

— Что такое? — вскрикивает Вера, привскакивая на кровати.

Она еще не знает, в чем дело, но сердце ее уже чует беду.

— К соседу сегодня ночью полиция нагрянула, — сообщает Анисья.

## VII

Как гром разнеслось по дому ужасное известие: сегодня ночью перед крыльцом васильцевской усадьбы снова остановилась почтовая телега с жандармским полковником и двумя ангелами-хранителями более низкого чина. Полковник показал Васильцеву бумагу, снабженную казенным штемпелем и казенной печатью. В бумаге этой стояло, что дворянин Степан Михайлович Васильцев — лицо весьма опасное для спокойствия края. Поэтому губернатор на основании власти, свыше ему данной, предлагает ему переменить свое теперешнее место жительства на прекрасный, хотя и несколько более отдаленный город Вятку.

Три дня и три ночи предоставляется ему на устройство своих дел. Но по истечении этого срока предписано препроводить его к месту назначения.

Можно представить себе, какое впечатление произвело это известие на всю баранцовскую семью. Всех больше струсил сам граф. Он обладал тем, нельзя сказать редким в России, свойством, что при закрытых дверях любил пофрондировать, полиберальничать и почесать язык на счет правительства; но стоило синему воротнику мелькнуть на горизонте, и он немедленно съеживался и превращался в самого смиренного, самого верноподданного царского служителя.

В данном случае свойственная ему трусливость усугублялась еще заслуженными упреками совести: как мог

он допустить такое сближение между своей дочерью и вольнодумцем? Где у него были глаза? Васильцев, вчера еще почтенный, зажиточный помещик, прекрасная партия, сегодня вдруг разом превратился в бездомного бродягу, в человека, с которым и знаться-то небезопасно. О свадьбе между ним и Верой не могло теперь, разумеется, быть и речи, и девушка оставалась навсегда компрометированной, опозоренной.

Как всегда бывало во всех затруднениях жизни, граф и теперь поторопился заглушить чувство собственной ответственности упреками другим.

— Вот, матушка, только и умеешь со своими нервами возиться, а за дочкой не могла присмотреть! — упрекнул он жену.

Графиня и сама ясно сознавала, какой позор падет на их семью от этого происшествия, и наперед уже предвкушала сладость тех невинных вопросов и соболезнований, которыми ее осыпят губернские дамы на первом же собрании в городе.

Всем домом, даже прислугой, овладела та особенная, безотчетная паника, какую вид синего мундира имеет способность вызывать в России. Все ждали неминуемой беды.

— Полиция, полиция к нам едет! — с криком вбежала доложить девочка Феня, заслышав раз на большой дороге почтовый колокольчик.

При этом страшном известии все словно обезумели от страха. Графиня убежала в свою спальню и улеглась в постель, как самое безопасное убежище. Граф бросился в комнату Веры и, схватив охапку, без разбору, все книги и бумаги, какие попались ему под руку, побросал их собственноручно в топившуюся как на беду печку. Прислуга вся куда-то разбежалась.

Оказалось, однако, что тревога была напрасная. Это просто проезжал акцизный чиновник, но все долго не могли успокоиться от пережитого волнения.

Что касается Веры, то обрушившийся на нее удар был так неожидан, так подавляющ, что она была ошеломлена им и не сразу могла постичь всю глубину своего несчастия.

Что Васильцева от нее увезут совсем, навсегда — эта мысль была так невообразимо ужасна, что как-то еще не укладывалась в ее голове. Что будет после его отъезда — она не думала. Это «после» представлялось ей ка-

кой-то черной, бездонной пропастью, в которую без головокружения и заглянуть нельзя было. В настоящую минуту ее главная тревога, ее самый настоятельный, самый мучительный страх состоял в одном: чтобы он не уехал, не простившись с нею. Увидеть его еще раз, хоть на часок, хоть на минутку, — потом будь что будет! Иногда ей казалось даже, что стоит им увидеться, и все опять будет хорошо, все так или иначе уладится.

Все ее желания, все ее мысли, все ее стремления сосредоточились теперь на одном: повидаться с ним. Но устроить свидание было нелегко. Васильцева, разумеется, держали эти дни пленником в его собственном доме, под строжайшим присмотром жандармов.

За Верой тоже был бдительный надзор. Что она собирается выкинуть какую-нибудь отчаянную штуку, все подозревали в семье; поэтому на нее наложили род домашнего ареста; днем мать и сестры ни на шаг не отпускали ее от себя; ночью Анисье было поручено следить за ней.

Прошло уже два дня, а Вере, как она ни изощряла свой ум, все не удавалось еще уйти тайком из дому. Даже весточки от Васильцева она не имела, так как прислуге было строго-настрого повелено собаки из соседней усадьбы на двор не пускать.

Оставалась всего одна ночь. Завтра чуть свет его увезут, и тогда — конец всему. При этой мысли Вере показалось, что она с ума сходит.

— Анисья, родная моя, голубушка! Отпусти меня к нему! На часок, всего на один часок! Никто не узнает, — взмолилась она приставленной к ней горничной.

— Что вы, барышня, и думать не могите! — испугалась сперва Анисья и даже руками замахала от ужаса.

— Анисья! Вспомни о твоей молодости! Сама ты мне рассказывала не раз, как вам прежде, в крепостное время, тяжело жилось. А ведь ты-то подумай: за вас же, за мужиков, Степан Михайлович страдает.

— Ох, барышня, болезная вы моя, и не говорите! Сама я знаю, что сосед добрый был барин. И нам, слугам, его жалко, поверите ли, до слез жалко! И вас, барышня, жалеем мы. Вот, думали, парочка-то будет! Не раз сердце радовалось, на вас глядючи! Да что поделаешь! Господня воля!.. Барышня, матушка, да что вы! С ума, голубушка, сошли! У меня, у холопки подлой, в ногах валяетесь.

Вера в отчаянии бросилась на колени перед Анисьей и целовала ее руки.

— Анисья, если не отпустишь меня, то знай, что на тебе моя кровь лежать будет. Вот тебе крест, что руки на себя наложу, коль не удастся повидать его до отъезда.

Не каменное было сердце у Анисьи. Со многими вздохами, со многими причитаниями обещала она, наконец, выпустить барышню с заднего крыльца немножко попозднее, когда все в доме улягутся.

Была уже ночь на дворе, когда Вера, одевшись в Анисьино платье и накинув на голову черную поношенную шаль, крадучись, вышла из дому. В последние дни опять стало холоднее, и хотя днем солнце жарко грело, но к вечеру завернул даже легкий морозец; лужи на большой дороге подернулись тонкою, как скорлупа, ледяною корочкой, которая хрустела под ногами Веры. Легкий озноб пробегал по ее членам. Так как ручей, отделявший друг от друга обе усадьбы, теперь разбушевался и вышел из берегов, то обычным путем через обрыв идти нельзя было, а приходилось делать обход версты в две. Никогда еще не случалось Вере быть одной в поле ночью. Знакомая дорога казалась ей теперь совсем иною, чем днем. Все предметы вдруг изменились и стали неузнаваемы.

Вера шла вперед, не оглядываясь. Она не чувствовала ни страха, ни волнения; даже печаль о предстоящем отъезде Васильцева и та улеглась. Легкое головокружение, далеко не неприятное, как туманом, заволакивало ее мысли. Ноги ее вдруг стали так легки; тело совсем не ощущалось. Она шла, как во сне, и опомнилась лишь перед самыми воротами васильцевской усадьбы.

Там все уже было темно; видно было, что все уже спят. Только в одном окне из-под спущенной шторы слабо пробивалась полоса света.

Вера постучалась в ворота, сперва тихо, нерешительно. Никто не откликнулся; тогда она стала стучать все сильнее и сильнее. Две собаки выскочили из-под ворот и подняли злобный, оглушительный лай. Наконец послышались шаги. Жандарм, заспанный, в башмаках на босу ногу и в мундире, небрежно накинутом на плечи, пришел с фонарем отворять ворота.

— Чего надо? Кто там ночью шляется? — проворчал он сердито. — Э-э, да это мамзель какая-то...

Досада сменялась удивлением.

— Мне барина надо, — проговорила Вера чуть внятно. Она дрожала всем телом, но робости большой не ощущала.

Жандарм приподнял фонарь так, чтобы свет его прямо пал на Верино лицо, и принялся ее разглядывать бесцеремонно и не торопясь.

«Горничная, надо полагать!» — решил он мысленно. Лицо его все более и более прояснялось.

— Послушай-ка, красавица, а тебе, видно, хорошо знакома дорога к барину ночью! — проговорил он, наконец, с усмешкой. — Но сегодня, видишь ли, потрудней будет до него добраться, — прибавил он, внезапно меняя тон и становясь опять суровым.

— Пустите меня, ради Христа, пустите! — взмолилась Вера.

Из слов жандарма она поняла только, что ее не пустят к Васильцеву, что ей придется уйти, не увидев своего друга. Голос ее звучал такой мольбой, таким отчаянием, что жандарм, по природе слабый к женскому полу, не устоял.

— Ну-ну! Не реви! — успокоил он ее добродушно. — Посмотрим, чем тебе услужить сможем... А полковнику-то все-таки придется доложить...— присовокупил он, подумав немножко.

Он пропустил Веру в ворота, провел ее по двору и велел подождать в передней, а сам пошел за перегородку к полковнику, который уже лег почивать, но проснулся от шума.

То же странное оцепенение, то же полное равнодушие ко всему, как и по дороге, снова овладело Верой. Не смущаясь нимало, услышала она, как жандарм доложил своему начальнику, что любовница Васильцева пришла с ним проститься. Она услышала, как полковник отпустил вольную шуточку на ее счет и осведомился, смазливенькая ли девчонка. Все это долетало до ее слуха, не производя на нее ни малейшего впечатления, как будто касалось совсем не ее.

— Эх, черт! Пусти ее! Пусть его себе повеселится напоследок, — решил, наконец, полковник.

Жандарм отворил дверь во внутренние комнаты, и Вера стрелой бросилась туда.

— Ишь как загорелось! — засмеялся жандарм. — Но послушай-ка ты, как тебя звать, душенька, и нас не забудь в другой раз, когда милый-то твой уедет! — прокричал он ей вслед.

Но Вера ничего не слыхала. Она пробежала одним духом две-три комнаты, отделявшие ее от закрытой двери, сквозь щель которой пробивался слабый свет.

Васильцев сидел в спальной, служившей ему и кабинетом. Он еще не раздевался и был погружен в разбор своих книг и бумаг. Большая просторная комната имела теперь тот жалкий, беспорядочный вид, какой бывает обыкновенно перед отъездом. На узкой железной кровати с откинутым одеялом в углу было навалено белье, портфели и тетради. Лоскутки бумаги, разорванные письма, старые счета валялись на полу. Два больших деревянных ящика битком были набиты книгами; зато голые полки вдоль стен имели вид обнаженных черных скелетов. Посередине комнаты лежал раскрытый чемодан, из которого торчало белье, платье и пара сапог.

Когда Вера открыла дверь, ее в первый раз, с тех пор как она вышла из дому, охватило такое сильное волнение, что на минуту ей почудилось, будто сердце у ней перестало биться. Она остановилась на пороге, будучи не в силах сделать шаг вперед или сказать единое слово.

Васильцев сидел к ней спиной, нагнувшись над письменным столом, и так был погружен в свое дело, что не заметил даже, как скрипнула дверь. Но когда через минуту он случайно обернулся и вдруг увидел бледную высокую фигуру Веры в дверях, лицо его не выразило удивления, а только одну бесконечную радость: он как будто ждал ее и был уверен, что она придет. Он бросился к ней и несколько секунд они стояли друг перед другом, взявшись за руки, молча, так как у обоих как судорогой было сжато горло. С сдавленным рыданием Вера наконец рванулась к нему.

Легкий шорох шагов послышался за дверью, в комнате почувствовалось вдруг невидимое присутствие постороннего лица. Нервная дрожь, как от физического отвращения, пробежала по всему телу Васильцева.

— Вера! друг мой, успокойся, ради бога. Мы не одни. Нас подслушивают. Не дадим этим мерзавцам любоваться нашими муками, — прошептал он сквозь зубы.

К нему внезапно вернулось все его самообладание. Он взял ее за руки и усадил рядом с собой на диване,

сдвинул в сторону целый ворох книг. Лицо его было очень бледно; вокруг углов рта пробегала время от времени судорога, и синие жилы на висках натянулись, как веревки. Но он заговорил спокойным, ободряющим голосом о посторонних вещах.

— Вот в этом ящике, Вера, я отложил те книги, которые оставляю вам. Мы начинали читать с вами Спенсера. Вы найдете тут несколько отметок карандашом, которые я сделал для вас...

Она сидела на диване, не шевелясь, словно застыв в одном положении; ее руки были так крепко сжаты, что ногти пальцев одной руки почти впивались в другую. Его слова доходили до ее слуха, как неясный гул без определенного смысла. Когда он обращался к ней с вопросом, она отвечала машинально кивком головы или слабой, жалкой улыбкой; говорить она не решалась, так как чувствовала, что при первом слове разразится рыданиями.

Постукивание маятника стенных часов раздавалось мерно и отчетливо. Большой шмель с тяжелым, порывчатым жужжанием метался по комнате; затихнет было на минуту, потом опять начнет неистово биться о потолок и об окна. Вера испытывала как бы физическое ощущение того, как время сочится, словно жидкость из треснувшего сосуда, капля за каплей; все меньше и меньше остается драгоценных капель. Разлука все ближе, ближе, разлука на многие годы, быть может, навсегда. И ни слова от души, ни ласки. Как чужие, сидят они друг перед другом, и все тот же легкий шорох в соседней комнате.

Пламя стеариновой свечи пожелтело вдруг; окно с опущенной шторой, казавшееся прежде большим черным пятном, приняло синевато-фиолетовый оттенок. На дворе громко пропел петух, зачирикали воробьи, замычали коровы: все — обычные предвестники весеннего утра в деревне.

Холодное, тупое отчаяние овладело Верой. Теперь в первый раз предстоящая разлука выступила во всей ее осязательной безнадежной действительности. До сих пор между ней и концом все-таки лежало еще ожидаемое счастье этого последнего свидания; безумная, безотчетная надежда на что-нибудь неопределенное была так сильна, что затемняла самую мысль о разлуке; но теперь ничего, ничего больше не оставалось. Всему был конец.

Васильцев встал с дивана, поднял штору и отворил окно. Первые лучи чудного весеннего утра хлынули снопом. Свет, шум, весенний занах цветов, весенние песни — все ворвалось зараз, радостное, торжествующее, безжалостное.

Быстрым, безотчетным движением Васильцев захлопнул окно и опустил штору. Он бросился на кушетку и горько зарыдал. Вся его рослая, сильная фигура колыхалась от рыданий.

Одним скачком Вера очутилась возле него. Она опустилась у его ног и, прижимаясь к нему всем своим существом, покрыла его поцелуями.

— Милый мой! Радость моя! Не уезжай один! Жизнь моя! Возьми меня с собой!

Васильцев сжал ее в своих объятиях. Теперь он не думал о том, чтобы ее успокоить; он отвечал на ее жаркие ласки; он прижимал ее к себе все крепче и крепче; губы их слились в первый раз в долгом, страстном поцелуе.

Внезапно Васильцев опомнился. Он резко, почти грубо оттолкнул от себя Веру, встал па ноги и заходил по комнате. Одна, на коленях перед пустой кушеткой, Вера долго продолжала рыдать, горько и беззвучно.

Когда Васильцев снова подошел к ней, лицо его както вдруг осунулось, как после долгой тяжелой болезни.

— Вера, моя голубка, прости меня! — послышались его слова. — Много я тебе доставил горя, бедняжка моя! Как мне взять тебя с собой! Могу ли я тебя — свежее, молодое существо — приковывать к старой, полуоконченной жизни! Да если бы я и хотел, разве мне дадут? Разве твои родители не вернут тебя силой?

Голос его был глухой, надтреснутый. Вера больше не плакала; она теперь знала, что действительно пришел конец всему.

Теперь уже совсем рассвело. Скоро послышался стук в двери. Жандарм пришел объявить, что через час пора пускаться в путь.

— Вера, не лучше ли тебе уйти теперь,— тихим, глухим голосом сказал Васильцев; но она молча покачала головой; она хотела остаться при нем до конца.

Странное оцепенение, сознание как бы недействительности всего окружающего снова овладело ею. Васильцев тоже ходил и говорил, как во сне.

Все его домочадцы, старая кухарка, староста, его

приятели-мужики стали приходить один за другим, чтобы проститься.

Входя в комнату, они сперва крестились на образа, потом подходили к барину и, утерев себе усы, целовали его трижды, серьезно, торжественно, как бы совершая религиозный обряд. Несколько баб с ребятишками на руках стояли у крыльца и выражали свое горе ревом, похожим на причитания по покойнике.

Вера глядела сухими глазами на этих людей, как они входили, говорили, вздыхали, плакали; они представлялись ей какими-то автоматами, совершающими странное, сложное представление.

Жандармский полковник закусывал в соседней комнате, усердно подливая себе из графинчика.

— И вам, батюшка Степан Михайлович, не мешало бы подкрепиться перед дорогой! — проговорил он добродушным, ободряющим голосом.

Через полуоткрытую дверь он бросал украдкой любопытные взгляды на Веру, но прямо к ней не обращался, разгадав, вероятно, что она не простая горничная.

Запряженный тройкою тарантас подкатил к крыльцу. Полковник уселся в нем рядом с Васильцевым; один из жандармов поместился на козлах с кучером; другой остался еще при доме.

— Эй! с богом!

Лошади подхватили, и тарантас, покачиваясь с боку на бок, понесся по топкой дороге. Скоро он скрылся на повороте за березовой рощей. Звон бубенчиков доносился с каждой минутой все слабее и слабее. Наконец он совсем замолк. Не слыхать ничего больше, ничего, кроме обычных мелодических звуков деревенского утра весной.

Потупив голову, не оглядываясь, Вера тихо шла обратной дорогой. Цветущая черемуха осыпала ее белыми лепестками; крупные душистые капли росы полетели на нее с веток. Молодой зайчик выскочил на полянку и, усевшись на кочку, забарабанил передними лапками, призывая зайчиху, но увидев вдруг человеческое существо, откинул длинные уши назад и дал стречка в лес. Небо искрилось и сияло, как будто солнце распустилось в лазуревом эфире и залило весь небесный свод. Высоко, высоко над головами, из маленькой черной трепещущей точки неслась, наполняя все пространство, могучая песнь о счастье и любви.

## VIII

Тихо, медленно тянется время. Дни ползут за днями, однообразные, тяжелые, полные серой, свинцовой тоски.

Сначала, в самое первое время после отъезда Васильцева, весь организм Веры так был потрясен пережитым ею нервным ударом, что даже печали сильной она не ощущала; всякая способность жить и волноваться замерла в ней. Преобладающим чувством была глубокая, подавляющая усталость. Целые дни проводила она как бы в спячке, не способная ни к малейшему напряжению мысли. Случалось, что среди разговора она вдруг неожиданно засыпала. Порой только это нравственное оцепенение на миг рассеивалось как бы физическим воспоминанием последних минут, проведенных с Васильцевым. В ушах ее проносился его мягкий, ласковый голос; на губах ощущался след жгучего поцелуя. По всему ее телу пробегала страстная дрожь. И странно, после всякой такой минуты на нее находило внезапное успокоение, непоколебимая уверенность: «Так не может кончиться. Мы увидимся опять».

Время шло, и по мере того как физические силы восстановлялись, оживала способность к более острому страданию. С возвращением к обычным занятиям потребность видеть Васильцева, потребность, вскормленная трехлетней ежедневной привычкой, сказывалась все настоятельней, все мучительней. Каждая мелочь, каждый пустяк немилосердно напоминал о нем; на всякий окружающий предмет он как бы наложил свою печать; что бы она ни делала, за что бы она ни принималась, непременно встретится что-нибудь такое, что живо воскресит память о прошлом, о счастливой минуте, о маленьком, маловажном эпизоде, на который, когда он происходил, не обращалось почти внимания, но воспоминание о котором вызывало теперь жгучий, страстный наплыв отчаяния.

Всего хуже было просыпаться поутру. У ней бывали теперь такие странные, яркие сны: она видела его так реально, так жизненно, так всем своим существом ощущала его близость; притом все это происходило так вероятно, было обставлено такою массою маленьких правдоподобных деталей, совсем как в действительности, что случалось ей даже самой радостно говорить себе во сне: «Нет, уж теперь это не сон! Теперь это правда!»

И вдруг, словно завеса прорвется, все моментально завертится, стушуется, расплывется, острое сотрясение пройдет по всему ее организму — и нет больше ничего. Опять она одна в постели; опять она охвачена мучительнейшим сознанием своего одиночества. Опять она лежит и корчится, и извивается в страстных безнадежных рыданиях. И что ни день, все хуже, все настоятельней становилась тоска. Домашних своих Вера и прежде чуждалась; теперь общество сестер, их мелочные интересы, их пустые разговоры стали ей невыносимы. Все казалось ей бесцветным, приторным. Когда ей приходилось быть с кем-нибудь, она только и думала, как бы поскорей уйти; ей все казалось, что ей надо остаться одной, чтобы серьезно подумать. И лишь только ее оставляли в покое, она действительно тотчас принималась думать, то есть мечтать торопливо, страстно. Картины самые безумные, самые невозможные рисовались в ее воображении: она уже столько раз переживала в уме всю сцену, как она убежит из дому, как отыщет Васильцева, где бы то ни было, хоть на дне морском. Мечты приносили минутное облегчение, но вдруг, откуда ни возьмись, явится холодная, отрезвляющая мысль: «У меня нет ни копейки денег, а до Вятки три тысячи верст! Да и куда пойдешь в России без паспорта? С первой станции вернут по этапу». Мечты уносились и оставляли по себе горькую, приторную оскомину.

Разумной надежды не было ни малейшей. Оставалась безотчетная вера в чудо. Вначале, когда слишком одолевало горе, всегда являлось физическое возмущение: «Так страдать невозможно! Этому *будет* конец!» Но конца не приходило. Страдание становилось вещью нормальной, обыденной. Теперь, при каждом пароксизме отчаяния, горечь данной минуты еще усугублялась воспоминанием о вчерашнем и уверенностью, что и завтра будет то же.

И вдруг в тот момент, когда Вера уже совсем начала поддаваться безнадежности, когда мрачная, тупая, свинцовая тоска стала ее постоянным настроением духа, вдруг сверкнул луч счастья: она получила письмо от Васильцева. Писать ей обыкновенным образом по почте он не мог: письма были бы перехвачены либо полицией, либо ее родителями; но он умудрился прислать ей весточку через одного знакомого купца, имевшего торговые сношения с Вяткой.

Письмо было короткое, очень сдержанное, без всяких

нежных излияний: видно было, Васильцев имел в виду, что оно может попасть в чужие руки. Но вряд ли когда самое длинное, самое страстное послание принесло больше радости, чем этот маленький лоскуток бумаги. Вера чуть с ума не сошла от счастья! Как всегда бывает, когда уж очень настрадается человек, при первом облегчении она так заторопилась радоваться, что ей показалось, будто теперь все прошло; горя — как не бывало. Главное было иметь от него известие. Всего ужаснее было чувство, что он вдруг куда-то пропал, как сквозь землю провалился, что даже связи никакой с ним не осталось. Теперь же, лишь только явилась возможность переписываться, отъезд его сделался обыкновенным отъездом, разлука с ним стала временной неприятностью, а не тем подавляющим, безысходным несчастьем, как прежде.

Хотя после первых же минут Вера не только знала письмо Васильцева наизусть, но даже внешний вид его как бы врезался ей в памяти, однако не проходило дня, чтобы она не читала и не перечитывала драгоценной бумажки. В первую неделю по получении письма она жила этой радостью; потом ушла вся в ожидание следующего.

Как все люди, живущие исключительно одной мыслью, одним интересом, и притом таким, в котором они поневоле должны ограничиваться пассивной, выжидательной ролью, Вера вдруг стала ужасно суеверна. В каждой мелочи видела она теперь хорошее или дурное предзнаменование, хорошую или дурную примету. У ней явилась какая-то ребяческая привычка постоянно загадывать. Когда она проснется поутру, вдруг ни с того ни с сего пронесется в голове мысль: «Если Анисья, войдя в комнату, первым делом поздоровается со мной, это будет значить, что все благополучно и скоро придет письмо; если же она, не говоря ни слова, подойдет сперва к окну и подымет штору, то это будет худой знак». Стоило такой нелепой мысли мелькнуть, и Вера против воли тревожно, с бьющимся сердцем начинала поджидать появления горничной и потом была весь день бодра или печальна, смотря по тому, какой ответ дала ей пифия.

Несмотря на трудность переписываться, Васильцев в течение лета и следующей осени нашел возможность прислать Вере три письма. По мере того как он убеждался, что письма доходят благополучно по назначению, он начинал писать все свободнее и задушевнее. Послед-

нее письмо было особенно нежное и ободряющее. Он жаловался, правда вскользь, на упорный кашель, от которого никак не может отделаться, но вообще казался в хорошем, бодром настроении духа; в первый раз даже коснулся он определенно планов на будущее.

«Мне подают надежду,— писал он,— что ссылке моей будет конец. Но если бы даже эта надежда и не оправдалась, то ведь, во всяком случае, через два с половиной года ты будешь совершеннолетней и будешь сама располагать своей судьбой. Дитятко мое дорогое! Если бы ты только знала, каким сумасшедшим мечтам предается иногда твой старый, безумно любящий тебя друг!»

Вера себя не помнила от радости, получив это письмо. Теперь она не сомневалась в будущем. Два с половиной года — не вечность; они пройдут, а после ничто, ничто в мире не удержит ее вдали от милого.

Но увы! За этим радостным письмом других не последовало. Знакомый купец, на беду, уехал куда-то по делам на долгий срок. Он обещал, правда, что в его отсутствие его приказчик будет передавать письма. Но неделя проходила за неделей — известий все не было. Вера так твердо верила теперь в счастье, что вначале это отсутствие писем не очень даже ее беспокоило; она выдумывала всевозможные причины, чтобы объяснить его себе. Мало-помалу ее тревога усилилась и скоро стала поглощающим чувством. Все ее мысли сосредоточились на одном: получить письмо. Днем она то и дело прислушивалась, не едет ли кто от знакомого купца, ночью только о том и грезила, что ей подают конверт с милым почерком.

Мука этого бесплодного, томительного, ежеминутного ожидания становилась подчас так невыносима, что все ее существо возмущалось. Иногда даже против самого Васильцева являлась у ней горечь и злоба. «Если бы я его никогда не встречала, жила бы я себе спокойно, как сестры мои живут!» — думала она с сожалением в припадках малодушной слабости. Однажды у ней на душе поднялась такая буря противоречащих друг другу мучительных чувств, что она в каком-то неистовстве взяла и разорвала в клочки последнее его письмо. Но когда белая измятая, истерзанная бумага снегом посыпалась на пол, в ней вдруг проснулось раскаяние; явилась какая-то гадливость к самой себе, точно она сама подняла руку на то, что ей было всего дороже. Целый час потом про-

возилась она, собирая драгоценные клочки и слепливая их вместе на листе чистой бумаги.

Снова весна на дворе, а известий все нет. При хорошей погоде Вера уходила на обрыв, с которого был вид на соседнюю усадьбу, и часами просиживала на старой, полуразрушенной скамейке в тупой, тоскливой апатии.

Однажды сидела она так по обыкновению и вдруг увидела почтовый тарантас, который свернул с большой дороги по направлению к дому Васильцева.

«Что это значит? Куда это он?— подумала она, и сердце ее вдруг шибко, шибко забилось. — Проедет он, может быть, мимо на соседнее село? Нет, вот он, гремя, въезжает на старый полусгнивший мостик, вот он повернул в аллею. Отсюда уже другого пути нет... Господи, кто это такой?»

Волнение, охватившее ее, было так сильно, что ноги у ней затряслись, и она едва была в силах встать с места. Сердце ее кольнуло болезненным предчувствием, и в то же время и радостная дрожь по ней пробежала: «Все хоть знать буду! Все лучше неизвестности!»

Быстро набросив платок на плечи, она побежала по направлению к соседней усадьбе; но, подходя к дому, шаг ее невольно все больше и больше замедлялся; все больней, все мучительней сжималось сердце.

На поросшем травой дворе стоит пустой тарантас. Ямщик, сняв шапку и отирая пот с лица, возится с лошадьми. Парадная дверь на крыльцо, столько времени стоявшая заколоченной, теперь открыта настежь. Вера входит в переднюю, в залу — там все пусто. Пахнет сыростью, нежилым; сквозь полураскрытые ставни слабо брезжит свет.

Мебель, стулья, столы, диван — все расставлено совсем так же, как в день его отъезда. Физическое воспоминание этого ужасного утра вдруг разом, всецело охватывает ее.

Из его кабинета доносится шум, голоса. Вера идет туда. Старик дворник возится у окна со ставней, которая не поддается, так как засовы заржавели. Бывшая кухарка с большой связкой ключей в руках утирает передником слезы. В полумраке Вера едва может разглядеть еще три фигуры у письменного стола. В одной из них она признает, наконец, исправника, две другие — мужчина и женщина, в дорожном платье, совсем ей незнакомы.

Когда ставня наконец отворена, исправник с своей стороны тоже узнает ее и подходит.

— Вот позвольте представить, господа Голубинские — родственники нашего бедного Степана Михайловича. На днях получили официальное известие, что двоюродный братец их скончался в Вятке от чахотки. Вчера приехали к нам в город и обратились ко мне, чтобы я ввел их во владение. Им, по закону, родовое именье достается...

На этот раз природа оказалась милостивой к Вере; услышав грозную весть, Вера потеряла сознание. У ней открылась белая горячка. Целые недели пролежала в бреду. Выздоровление шло медленно.

Вера стала мало-помалу возвращаться к жизни, и, как у всех воскресающих после тяжелой болезни, она испытывает теперь в высшей степени физическую радость существования. С свойственным выздоравливающим инстинктом самосохранения, она удаляла от себя все тяжелые, серьезные мысли; все ее помыслы и желания сосредоточивались теперь на мелочных радостях и печалях, какими богата жизнь больной, и мелочи эти принимали в ее глазах странную, непропорциональную важность; все опять приобрело для нее прелесть новизны, как для ребенка. Она радовалась, если бульон вкусно приготовлен, и плакала, если подушку ее поправят не так, как следует. Было целым событием в доме, когда ей позволили в первый раз скушать крылышко жареного цыпленка.

Когда, наконец, настал период полного выздоровления и жизнь вошла в свою норму, прошедшее представлялось ей в отдалении, как через дымку.

Однажды, когда она уже начала сидеть в постели, отец принес ей какие-то бумаги, под которыми ей надо было подписаться. Вера слабой, дрожащей рукой пачертила свое имя, но, с каким-то инстинктивным предчувствием чего-то страшного, не спросила даже, почему это нужно.

Лишь несколько недель спустя, когда она уже совсем оправилась, родители сообщили ей, что Васильцев перед смертью написал завещание, по которому оставил ей часть своего состояния.

В благодарность за это отец счел себя обязанным передать ей и письмо, которое Васильцев написал ей перед смертью.

«Ты была для меня и дочерью и возлюбленной, Ве-

ра! — писал он ей, — и теперь, умирая, о тебе я только и думаю, ты будешь как бы продолжением меня. Самому мне ничего не удалось совершить на земле. Всю мою жизнь я был праздным, бесполезным мечтателем; умру я — и следа моего не останется, как трава в поле, про которую говорится в песнях; скосили ее и высушили, и места, где она росла, не видать больше. Но ты, моя Вера, ты еще молода, ты сильна. Я знаю, я чувствую, что ты призвана к чему-то высокому и прекрасному. То, о чем я только мечтал, ты совершишь, то, что я только смутно предчувствовал, ты это выполнишь!»

С глубоким, все ее существо охватывающим благоговением читала Вера эти строки, написанные теперь уже похолодевшей навеки рукой. Ей казалось, что с ней говорит голос с того света. Прежнего страстного, негодующего отчаяния она теперь не испытывала, но она чувствовала, будто черная тень легла на всю ее жизнь и навсегда отрезала у нее возможность всякого простого, эгоистического счастья.

Болезнь Веры как будто вдруг нарушила весь строй баранцовского дома и положила конец долгому периоду спокойного, скучающего затишья. После нее посыпались вдруг перемены одна за другой.

Первая перемена была очень приятного свойства, именно такая, какую уже давно все желали и ждали: Лена сделалась невестой. В их губернский город прислали новый полк, один из офицеров этого полка и был виновником этой счастливой перемены. Вскоре после брака, однако, молодым пришлось уехать, так как полк услали совсем в другой конец России. Лиза, заскучавшая дома еще сильней прежнего, поехала к сестре с тайной надеждой между товарищами зятя найти и себе жениха.

Таким образом семья Баранцовых вдруг распалась и рассыпалась. Огромные покои старого барского дома казались теперь еще пустее прежнего.

А тут случилось вдруг новое неожиданное событие, далеко не веселое: графа хватил паралич. Но на этот еще раз смерть только постучалась в окно и прошла мимо, оставив, однако, за собой неизгладимые следы. У графа отнялись ноги и ослабела память. Он впал во второе детство. Полулежа в большом вольтеровском кресле, он весь день капризничал, плакал и требовал, чтобы его забавляли, как ребенка. Но всего тяжелее для окружающих сделалась его мания рассказывать бескон-

чаемые истории. Целыми часами говорил он, с трудом шевеля языком, путая слова, раз сто повторяя то же самое и горько обижаясь, если его не слушают. Одна только Вера имела терпение ухаживать за больным стариком и умела понимать его все более и более бессвязную речь.

Графиня, немного приободрившаяся по случаю Лениной свадьбы, теперь окончательно пала духом и опустилась. Она стала страшно религиозна, окружила себя божьими людьми, монахами и странницами, и на все житейское махнула рукой.

Вере, которой приходилось быть сиделкой больного отца, нельзя было теперь и думать о какой-либо собственной деятельности. Ею овладела мало-помалу покорная, безнадежная апатия. Конца ее теперешнему существованию не предвиделось, так как доктора объявили, что граф может прожить еще лет десять.

По счастью, однако, эти предсказания не оправдались. Года через три смерть явилась в один прекрасный день, совсем нежданная. Граф уснул однажды спокойнее обыкновенного, но когда Вера, удивленная его продолжительным сном, пришла разбудить его, она нашла его уже похолодевшим.

На похороны в последний раз съехалась семья и потом уже окончательно распалась и разбрелась в разные стороны.

Графиня объявила дочерям, что решилась поступить в монастырь: родовое именье купил бывший управляющий; по продаже его у каждой из дочерей остался капитал тысяч в двадцать. Старшие сестры возвратились к своей жизни полковых дам.

Вера теперь осталась одна на свете полной себе госпожой. Недолго думая, решилась она поехать в Петербург и там искать себе какой-нибудь деятельности.

## IX

Первое время своего пребывания в Петербурге Вера не испытывала ничего, кроме разочарования. Она убедилась, что гораздо труднее быть полезной, чем она думала. В ее глазах быть полезной значило или работать лично над разрушением деспотизма и тирании, или поддерживать тех, кто работает в этом направлении. Она не понимала, что можно быть полезной и другими про-

стейшими способами. Но к кому обратиться за работой, которая бы подошла к ней? Ее разговоры с Васильцевым мало подготовили ее к какой бы то ни было деятельности. Они неизменно носили характер чего-то абстрактного, идеального. Благодаря Васильцеву Вера прочла ряд революционных изданий. Сам Васильцев в своих разговорах представил ей поразительную картину всех бедствий, от которых страдает человечество, и указал ей источник этих бедствий в том факте, что современная жизнь построена на угнетении и конкуренции, а не так, как следовало бы,— на свободе и единении. Не раз заводил он с нею речь о мучениках, о всех современных героях свободы, пожертвовавших жизнью и счастьем ради торжества святого дела. И она страстно полюбила этих героев и пролила не одну слезу над их судьбой. Но ни в одном разговоре Веры с Васильцевым не было и речи о том, что ей самой нужно делать для того, чтобы уподобиться этим героям. И в годы, последовавшие за арестом Васильцева, в годы одиноких размышлений она ни разу не останавливалась над этим вопросом. Ее всегда поглощала мысль о ближайшей задаче, о разрыве всяких связей с семьей, об оставлении того тесного круга, в котором проходила ее жизнь. Ее незнание действительных условий жизни было так велико, что в ее воображении нигилисты являлись чем-то вроде правильно организованного тайного общества, работающего по определенному плану и стремящегося к достижению ясно обозначенных целей.

Поэтому она не сомневалась в том, что, раз попавши в Петербург — в этот очаг нигилистической агитации,— она немедленно будет завербована в великую подземную армию и займет в ней определенный пост, как бы скромен он ни был.

Таковы были ее мечты за все эти годы. Но вот она в Петербурге, полная госпожа собственной жизни, свободная делать, что ей вздумается. И что же? Цель так же неясна перед нею, как и прежде. Она не знает, к кому прибегнуть, как найти даже этих настоящих нигилистов. Великим разочарованием для нее было узнать, что мне лично ни один из этих нигилистов не был знаком и что я даже не верила в существование обширной революционной организации в России. Это нимало не входило в ее расчеты. Она ждала от меня лучшего.

Я, тем не менее, позволила себе дать ей совет в ожи-

дании лучшего заняться посещением лекций по естественным наукам.

Женские курсы только что были открыты в Петербурге.

Она послушалась меня и стала ходить на лекции, но ум ее не был направлен в эту сторону. Ей не удавалось стать на один уровень со своими товарками, войти в их научные интересы. Большинство этих товарок были молодые девушки; они работали усердно, имея в виду определенную цель. Они стремились поскорей и лучше выдержать экзамен, чтобы сделаться учительницами и жить собственным трудом.

Все их интересы сосредоточивались пока на учении, и в их разговорах профессора, курсы, практические занятия составляли единственное содержание. Мировой скорбью они нимало не страдали. В свободную минуту они не прочь были собраться и при случае, то есть каждый раз, когда к их обществу присоединялись студенты, они не могли устоять от желания потанцевать и пококетничать. Все это, очевидно, нимало не отвечало меланхолической экзальтации такой мечтательницы, как Вера. Не удивительно поэтому, если, помогая им своим кошельком, она в то же время относилась к ним как к детям и держала себя несколько вдалеке от них.

Учение также не удовлетворяло ее. «Будет еще время заниматься науками,— думала она,— надо прежде добиться того, чтобы главная часть задачи была исполнена». В этом же смысле отвечала она на все мои убеждения — более серьезно отнестись к своим занятиям.

— Я не понимаю,— говорила она мне,— как среди окружающих нас со всех сторон бедствий и под впечатлением тех страданий, на которые жалуется человечество, можно находить удовольствие в том, чтобы рассматривать под микроскопом глаз мухи; а между тем этим возвышенным предметом и занимал нас целый час наш добрый профессор В.

Убедившись в том, что Вера имеет мало вкуса к естественным наукам, я посоветовала ей заниматься политической экономией. В результате оказалось то же. Чтение ходячих трактатов по политической экономии только вызывало в ней усталость, не оставляя в то же время никакого следа в ее голове. Принимаясь за них, она наперед уже была убеждена в том, что интересующая их авторов задача — устроить человеческое благополучие —

будет достигнута только тогда, когда люди разделят все между собой и не будет более ни угнетения, ни собственности.

Она считала это неоспоримой истиной, не допускавшей сомнения, не требовавшей доказательств. К чему, в таком случае, ломать себе вечно голову над всеми этими вопросами о заработной плате, о процентах, о кредите и о целом ряде столь же скучных и запутанных вещей, единственное назначение которых производить путаницу в уме и отклонять людей от их настоящей цели! В наше время всякий порядочный человек не вправе спрашивать себя: «Какую цель я поставлю для своей личной жизни?» Он может только интересоваться выбором кратчайшего пути, ведущего к достижению общей цели. Для русского такой целью может быть только социальная и политическая революция. А на эти вопросы никакие учебники политической экономии ответа не дают; следовательно, нечего их и читать. Вот так рассуждала со мною Вера. И все же, как ни покажется это странным, мы сделались друзьями. Наши свидания стали часты, и в разговорах не раз проглядывала личная симпатия. Объясняю я это той странной прелестью, какою отличалась вся личность Веры.

Черты ее лица были так благородны, каждое ее движение так грациозно и гармонично и, что всего важнее, столько было искреннего и наивного во всей ее манере держать себя, что я чувствовала себя нравственно удовлетворенною. Но спорить с нею не было возможности, и мне оставалось только жалеть о том, что ум ее мало развит и что она поэтому равнодушна ко всем великим благам современной цивилизации.

Что касается до Веры, то она предпочитала меня всем своим знакомым. Но в то же время она не могла понять, как я всецело отдаюсь занятиям математикой.

Ей казалось, что математик — своего рода чудак, занимающийся решением выраженных в цифрах шарад. Можно простить ему его манию, так как она весьма невинного свойства, но трудно отказаться от некоторого презрения к его слабости.

Таким образом, каждая из нас смотрела на другую свысока, с некоторым снисхождением. Но это не мешало нашей приязни.

А между тем время шло, и Вера, чувствуя, что не сделала еще ни одного шага к достижению намеченной

ею цели, становилась все раздражительнее и нетерпеливее. Ее здоровье начало страдать от неудовлетворенности этого странного желания «посвятить себя делу». Яркий румянец стал сходить с ее щек и выражение ее больших темно-голубых глаз становилось с каждым днем более задумчивым и печальным.

Вспоминается мне, как однажды веселым зимним утром мы прогуливались по Невскому. Небо было ясно, и солнце разливало повсюду свои яркие резкие лучи. Можно было думать, что какое-то чудо перенесло нас в то светящееся царство, о котором говорят наши народные сказки. Серебром отливало от окон магазинов. Серебро блестело под ногами и разлеталось вокруг нас мелкими блестками. Столько освежающего заключал в себе чистый зимний воздух, что становилось веселее жить. Несмотря на широту тротуаров, мы с трудом могли двигаться, так как со всех сторон нас теснили прохожие. Мужчины, женщины, дети, с ярким румянцем на щеках, с уходившим в мех подбородком, дышали здоровьем и весельем.

— И сказать,— внезапно обратилась ко мне Вера,— что среди этих людей, быть может, находятся те самые, которых я так давно ищу. Не один, пожалуй, мог бы сказать мне все то, что я тщетно хочу узнать. Знаешь ли, каждый раз, когда мне приходится встретить симпатичного человека, я готова остановить его, посмотреть ему прямо в глаза и спросить, не из них ли он.

— Что же, ради меня, пожалуйста, не стесняйся,— отвечала я самым спокойным тоном,— посмотри, например, на этого офицера с блестящими золотом эполетами или на этого франтоватого адвоката, который так самодовольно рассматривает тебя в свой монокль. Не начнешь ли с них свои расспросы? Их внешность многое обещает.

Вера пожала плечами и тяжко вздохнула.

К концу зимы произошло нечто, сразу положившее конец терзаниям Веры и давшее ей возможность открыть то, чего она искала.

Еще с начала января распространился слух, что значительные аресты были произведены в различных местах России и что правительству удалось раскрыть хитро задуманный социалистический заговор. Слухи эти вскоре подтвердились: в «Правительственном вестнике» напечатан был официальный отчет, которым оповещалось

верноподданным, что правосудию удалось наложить руку на целое сообщество политических преступников в числе семидесяти пяти человек.

После подавления польского восстания, неудачного покушения Каракозова и ссылки в Сибирь Чернышевского настал в России период относительного политического затишья. Правда, и в это время было немало заподозренных. Частые аресты и ссылки продолжались своим порядком. Но нельзя указать за это время ни одного общего движения. Период систематических покушений еще не наступил. Самый характер революционной пропаганды значительно изменился, не без влияния иноземных воздействий. Прежде заняты были мыслью о политических реформах и низвержении самодержавия; теперь выступили на очередь социалистические задачи. Революционная интеллигенция постепенно проникалась тем убеждением, что пока простой народ останется в невежестве и бедности, трудно ждать каких бы то ни было существенных результатов.

Чтобы добиться чего-нибудь, надо работать среди народа, искать с ним сближения, «опроститься». Людей этого поколения как нельзя лучше изобразил Тургенев в романе «Новь». К их числу, к числу наивных и далеко не преступных пропагандистов принадлежали и те семьдесят пять обвиняемых, о которых я только что упомянула. Они не орудовали ни бомбами, ни динамитом; большинство их вышло из хороших семей и не знало за собой другой вины, кроме «хождения в народ». С этой целью они одевались в крестьянские платья и шли работать на фабрики, с тайною мыслью о пропаганде в среде трудящегося люда. Всего чаще, однако, дело ограничивалось посещением кабаков и базаров, произнесением революционных речей и раздачей брошюр крестьянам. Незнакомые с нравами народа и с самым его говором, пропагандисты осуществляли свою миссию так непрактично и неловко, что после первых же попыток «произвести брожение» между рабочими хозяева фабрик и кабатчики, нередко также сами крестьяне, выдавали их головой полиции.

Как ни малы были достигнутые революционерами практические результаты, правительство, тем не менее, сочло нужным отнестись к ним с большой суровостью,

в надежде положить сразу конец всякой дальнейшей пропаганде. Дан был приказ задерживать всех, кто только попадется в руки. Чтобы попасть в число заподозренных и подвергнуться аресту, достаточно было нарядиться в крестьянское платье. Схваченные препровождались в Петербург для следствия и суда. Хотя большинство их не знало друг друга, их объявляли, тем не менее, участниками общего дела. Так было и на этот раз. Начальство хотело одновременно поразить умы силою возмездия и строгостью правосудия. Правда, дело передано было на разбирательство не присяжных, а специальной судебной комиссии, по назначению от правительства, но каждому из подсудимых предоставлено было право иметь своего адвоката, и процесс должен был разбираться при открытых дверях.

Правительство, по-видимому, не сумело дать себе отчета в том, что в такой стране, как Россия, при громадности расстояния и отсутствии свободы печати политические процессы являются лучшим орудием пропаганды. Много молодых людей, разделявших одни убеждения с Верой, не нашли бы в течение ряда лет возможности «служить делу», если бы политические процессы по временам не указывали им на то, где искать «настоящих» нигилистов. Как общее правило, подсудимые вызывают живую симпатию в самых разнообразных кружках. Если непосредственно с ними нельзя иметь сношений, так как в большинстве случаев они сидят за запорами и решетками, то с их друзьями и родственниками сношения вполне свободны; им-то и спешат показать свои симпатии. Взаимное доверие устанавливается между сочувствующими и теми, в пользу кого высказывается сочувствие; один поддерживает и возбуждает другого. Не удивительно поэтому, что после каждого политического процесса повторяется то, о чем говорится в русских былинах: на смену одного богатыря выходят десять.

И Вера испытала на себе это влияние политических процессов. При первом известии о предстоящем суде она перестала думать обо всем другом. Каждый номер «Правительственного вестника» сделался для нее предметом внимательного изучения. Она знала наизусть не только имена подсудимых, но и их адвокатов и поспешила воспользоваться первым попавшимся случаем, чтобы завязать знакомство с семьями обвиняемых.

Таким образом открылось перед нею то широкое поле деятельности, о котором она мечтала. Семьдесят пять семейств, повергнутых в нищету и отчаяние арестом близких им людей, нуждались в ее участии. Она могла оказать им деятельную помощь, она могла «послужить делу»; и это же давало ей возможность сразу окунуться в среду людей, близких ей по чувствам и убеждениям. Нечего и говорить, что, всецело занятая своими новыми друзьями, она сразу оборвала и посещение курсов, и свиданья со мной. Если иногда она и забегала ко мне на минуту, то только чтобы воспользоваться моим содействием и оказать услугу дорогим для нее людям. То приходилось мне устраивать подписку в пользу той или другой из потерпевших семей, то пристроить оставшегося без призора ребенка, то убедить кого-нибудь из выдающихся адвокатов взять чью-либо защиту. Словом, Вера не жалела ни собственных, ни чужих трудов.

К концу апреля следствие было кончено, и начались судебные заседания.

С шести часов плотная толпа теснилась у входа в суд. Только лица, снабженные билетами, могли проникнуть в зал заседания; остальные устраивались у входа в надежде поскорее узнать о результате. В половине девятого стали впускать публику, и мы внезапно очутились в обширном зале меж двух шпалер жандармов, которые внимательно заглядывали нам в лицо, как бы желая проверить наше право иметь входные билеты.

Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться в том, что публика состоит из лиц двоякого рода. Одни пришли из любопытства, как на редкое зрелище. Это были большею частью люди хорошего общества, которым нетрудно было заручиться входными билетами. В их числе можно было видеть дам далеко не первой молодости, одетых в черное, как этого требует хороший тон. Многие держали в руках бинокли. Видимо, они боялись упустить малейшую подробность той драмы, которая должна была развернуться на их глазах. Их любопытство было так возбуждено, что в жертву ему они согласились принесть и привычку позднего вставанья и естественную боязнь всякого соприкосновения с толпой. Мужчины этой группы почти все имели вид сановный, кто в мундире, а кто только при звезде.

В первые минуты все как бы замерли в ожидании, но вскоре торжественная тишина была нарушена. Наш-

лись знакомые. Стали обмениваться поклонами. Любезность мужчин сказалась в желании уступить дамам лучшие места. Мало-помалу завязались разговоры — сперва шепотом, потом все громче и громче. Не происходи все это ранним утром среди голых стен и окон, на простых деревянных скамьях, можно было бы подумать, что находишься на светском собрании.

Наряду с этой группой зрителей была и другая. Ее составляли родственники и ближайшие друзья обвиняемых. Печальные, похудевшие лица, старенькое платье, мрачное, тяжелое молчание, взоры, устремленные со страхом на дверь, из которой должны были показаться обвиняемые,— все в них говорит о горестной действительности, о близости жестокой развязки.

Ровно в десять часов раздается обычный возглас: «Суд идет!» В зал входят двенадцать сенаторов, все люди преклонного возраста, у которых на груди больше орденов, чем волос на голове. И все же можно приметить в их среде все категории русского сановничества. Рядом с надутым, самоуверенным, еще не закончившим своей карьеры государственным мужем бросается в глаза и одряхлевший старец с повисшей губой и полупотухшим взглядом. Не спеша, с некоторой торжественностью опускаются они в кресла.

И вот открывается вторая боковая дверь, и на этот раз в зал суда входят в сопровождении жандармов семьдесят пять обвиняемых. Странный вид имеют эти преступники. Изможденность их лиц стоит в резком противоречии с их молодостью. Старшему нет еще и тридцати лет, младшему едва минуло восемнадцать. Все они принарядились — у всех своего рода праздничный вид. Есть между ними и хорошенькие молодые девушки. Охватившее их волнение придает глазам лихорадочный блеск и покрывает болезненной краской щеки. Долгие месяцы провели эти молодые люди в полной разобщенности с остальным миром. И вот им суждено внезапно встретиться с близкими, узнать своих в пестрой толпе присутствующих. Неудержимая, почти детская радость рисуется на их лицах. Они, по-видимому, забывают об ужасающей серьезности наступившей минуты, о близости приговора, приговора, который на многие, многие годы лишит их всякой житейской радости. Они в эту минуту не помнят ничего; они только смотрят друг на друга с радостью и умилением. Несмотря на сопротивле-

ние жандармов, многим удается пожать протянутые навстречу руки и переброситься парою слов. При виде их родственники и друзья не в силах овладеть собою: они бросаются к перегородке с радостными приветствиями. Я уверена, что никто из бывших в зале суда никогда не в состоянии будет забыть этой минуты.

Даже господа из высшего круга, давно потерявшие способность к сильным ощущениям, поддаются общему настроению. Их симпатии на минуту переносятся на подсудимых. Позже, когда они вернутся домой и время принесет успокоение их нервам, они не раз покраснеют при мысли о своем невольном увлечении, но в данную минуту они не владеют собою, и многие из этих почтенных дам машут платками при виде этих ужасных нигилистов. Но все это длится только минуту; и жандармам вскоре удается восстановить порядок и вернуть подсудимых на их места.

Разбирательство в полном ходу. Прокурор произносит обвинительную речь. Несмотря на важность выдвигаемых в ней фактов, подсудимые пропускают мимо ушей его красноречие. Они глядят друг на друга и пытаются передать каждый свои впечатления, если не словами, то знаками. И как ни велико пережитое ими горе, как ни страшна ожидающая их участь, они в данную минуту вполне счастливы, точно победа осталась за ними.

Прокурор — человек молодой, желающий сделать быструю карьеру. Красноречие его поэтому оглушительно. Более двух часов рисует он перед судьями мрачную картину революционного движения в России. Он сортирует обвиняемых по группам и в каждой видит возможность установить новые подразделения — и все это он делает с такою же смелостью и быстротою, с какою ботаник классифицирует растения своего гербария по родам и видам. Против каждой категории он выдвигает особые обвинения, но ядовитейшие стрелы его красноречия направлены почти исключительно против пяти подсудимых. Из этих пяти двое — женщины: одна совсем молодая девушка с бледным продолговатым лицом, с мечтательными серо-голубыми глазами. Это дочь высокопоставленного чиновника. Товарищи называют ее «святой». Другая старше по возрасту, крепкого телосложения, по-

видимому, более грубой породы; ее широкое плоское лицо совсем не красиво и носит отпечаток фанатизма и упрямства.

Из мужчин — один работник с интеллигентной наружностью; другой — школьный учитель со всеми признаками скоротечной чахотки; третий — студент-медик Павленков, родом еврей. Он особенно вызывает ненависть и негодование прокурора.

Раз заходит речь о Павленкове, прокурор не может сдержать своей ярости: он рисует его настоящим Мефистофелем. Прочие подсудимые, несомненно, все — народ очень вредный,— утверждает он. Общество обязано устранить их в интересах собственной безопасности, но за ними все же надо признать смягчающие обстоятельства. Как бы нелепы ни были проповедуемые ими теории, они все же верят в них сами; но о Павленкове этого сказать нельзя. Для него революционная пропаганда только средство возвыситься самому и потопить других в грязи. Природа наделила его разумом свыше обыкновенного, но этим драгоценным даром он воспользовался только для того, чтобы повергнуть в бездну себя и других.

Следуя примеру своих французских собратий, прокурор описывает жизнь Павленкова, начиная с его ранней молодости. Он рисует его нам самолюбивым мальчишкой, растущим в среде бедных, не заслуживающих уважения родителей. Им чужды были, утверждает он, всякие нравственные принципы. И, не имея их сами, они не в состоянии были привить детям то, без чего немыслима борьба с порочными инстинктами. Богатый еврей негоциант, пораженный умом молодого Самуила, отдает его в школу; Самуил учится прилежно и с успехом, но учение не развивает в нем нравственных чувств. Получивши аттестат зрелости, он поступает в Медицинскую академию. Это был, очевидно, неожиданный успех для бедного еврейского мальчишки, братья и сестры которого, в рубище и о босу ногу, продолжают бегать по улице. Но вместо того чтобы благодарить бога и благодетеля, Павленков поддерживает и развивает в себе то злобное чувство, которое вызвали в нем бедность и унижения детства. Им постепенно овладевает неукротимая ненависть ко всему и всем, кто стоит выше его; свой ум, свои способности он направляет на то, чтобы приобрести влияние на товарищей, вышедших из лучших, нежели

он, семей. В душе своей он лелеет мысль, как бы приобщить их к своим преступным замыслам.

И в этом духе прокурор говорит безостановочно. Речь свою он заканчивает просьбой, чтобы суд покарал Павленкова со всею строгостью закона. К таким преступникам, как он, жалости быть не может.

Пока прокурор громил Павленкова, я внимательно следила за лицом обвиняемого. В известном смысле наружность его была интереснее всех остальных. Он казался старше и годами, и опытом. В нем нельзя было найти и следа той детской наивности, какой дышали лица прочих обвиняемых. Это был брюнет с резкими еврейскими чертами. Глаза его поражали умом и красотою, но горькая саркастическая и вместе чувственная улыбка искажала его рот. Его красные толстые губы неприятно поражали своим контрастом с верхней частью лица, производившей тонкое впечатление. Подергивания лицевых мускулов и резкие движения рук обнаруживали его нервность. Один из всех подсудимых, он не обнаруживал ни малейшей радости при виде товарищей, и никакие влажные от слез взоры не встретили его при входе. Павленков внимательно следил за каждым словом прокурора и по временам делал заметки на бумаге, но никакое самое гневное обращение не выводило его из себя. И не будь нервных подергиваний на его лице, легко было бы принять его за равнодушного, хотя и внимательного зрителя, лично не заинтересованного в исходе дела.

После речи прокурора последовал перерыв в полтора часа. И зрители, и обвиняемые оставили зал суда. Сенаторы и адвокаты поспешили заняться завтраком, а публика разбрелась по соседним ресторанам.

Но вот заседание вновь открыто, и на очередь выступают адвокаты. Нелегкое дело быть защитником в политическом процессе. Правда, такой процесс — отличное средство выдвинуться вперед, сделать себе имя. Но зато стоит только адвокату обнаружить в своей речи некоторый огонь и убеждение, и он сразу попадает в категорию людей подозрительных. Еще многие помнят, как за красноречивой защитой следовала административная ссылка. Но к чести адвокатского сословия надо сказать, что в его среде всегда находились люди, достаточно великодушные, чтобы отдать себя в распоряжение обвиняемых без всякой даже надежды на вознаграждение. Так было и в данном случае. И на этот раз нашлись

люди, охотно принявшие на себя неблагодарную и ответственную роль защитников. Они и не думали о том, чтобы выгородить своих клиентов, отрицая всякое их участие в революционном движении. Они довольствовались тем, что рисовали в самом выгодном свете мотивы их действий; развивали смелые теории и нередко позволяли себе выражения, которые были бы немыслимы во всяком ином процессе, кроме политического.

Председатель суда не раз пробовал прерывать их. Но все усилия его были тщетны: минуту спустя они возвращались к прежнему и высказывали мысли еще более смелые и решительные.

Публика все более и более проникалась симпатией к обвиняемым. Люди светского круга, попавшие сюда из любопытства, с изумлением прислушивались к вещам, о которых дотоле им ни разу не приходилось и думать: их умственные силы были так же мало изощрены в этом направлении, как способности Веры в направлении противоположном. Подобно тому, как Вера находила социализм единственным средством к решению всех вопросов, так точно эти люди принимали на веру, что все идеи нигилистов были своего рода сумасшествием.

Не удивительно поэтому, что, знакомясь с красноречивым изложением этих идей и видя, что эти страшные нигилисты далеко не те чудовища, каких рисовало их воображение, а несчастная, полная самоотвержения молодежь, новый мир предстал перед их глазами, и они не знали более, с каким чувством отнестись к обвиняемым. О прежнем презрительном, саркастическом отношении не было и помину. Постепенно накопившиеся в них симпатии грозили перейти в энтузиазм. Одни судьи продолжали обнаруживать обычную невозмутимость. Красноречие адвокатов мало их трогало. Им наперед даны были инструкции, и приговор их можно было предсказать. По временам только заметны были в них признаки усталости и апатии.

«Когда же настанет конец всему этому?» — как бы бормотали их уста.

Наступает вечер. Председатель закрывает заседание. В ближайшее утро возобновляются дебаты и снова до ночи.

И так со дня на день в течение целой недели. Интерес публики не только не падает, но, наоборот, заметно растет.

В числе самых блестящих защит надо поставить речь Павленкова. Правда, и ему не отказано было в адвокате, но, не довольствуясь его помощью, Павленков решил воспользоваться правом самозащиты. В техническом отношении речь его была несравненно ниже тех, которые произнесены были раньше. Но что дало ей особенную силу и значение — это простота и безыскусственность. Он кончил ее следующими словами:

— Господин прокурор сказал вам, что я бедный, нищий еврей, и он сказал вам правду; но потому именно, что мне известна бедность, что я вышел из рядов презираемой нации, я и сочувствую всем тем, кто страдает и борется. Когда я увидел, что не в силах сделать что-либо обыкновенными средствами, я решился прибегнуть к чрезвычайным, не задаваясь мыслью о том, легальны они или нелегальны. Но господин прокурор говорит вам, что ввиду моего убожества меня и следует наказать строже других; пусть будет так, пусть сделают со мной все, чего он хочет. Я не буду искать вашего сострадания, так как принадлежу к народу, который привык страдать и терпеть.

По окончании прений судьи удалились для постановки решения, но публика оставалась в зале. Часа два спустя они вернулись к своим местам, и председатель тихо и торжественно приступил к чтению приговора. Оно длилось около часу. Большинству подсудимых назначена была ссылка на поселение в Сибирь или в отдаленные губернии.

Одни упомянутые пять преступников присуждены были к каторге сроком от пяти до двадцати лет. Павленкову, как и можно было ожидать, назначена была высшая мера наказания.

В правительственных сферах приговор этот единогласно был признан снисходительным. Все ожидали более сурового решения.

Но не так думала собравшаяся в зале публика. Он пал на нее как грубый, ошеломляющий удар. В течение недели она жила одною жизнью с обвиняемыми, она узнала каждого из них лично, проникла в сокровеннейшие стороны его прошлого. Трудно было ей поэтому отнестись равнодушно к их судьбе. Трудно было ей стать на ту точку зрения, на какую так часто становится читатель, узнающий, что какая-то неотвратимая беда обрушилась на плечи неизвестного ему лица.

Едва кончено было чтение, в зале воцарилась мертвенная тишина, изредка прерываемая рыданиями.

Взгляды мои невольно устремились на Веру. Она стояла, держась за перила, бледная, как полотно, с широко раскрытыми глазами, с тем недоумевающим, почти экстатическим выражением, какое встречаешь на лицах мучеников.

Толпа стала расходиться медленно и безмолвно.

На дворе играла весна; вода стекала по крышам и спускалась вдоль тротуаров быстрыми ручейками. На смену миазмам врывался в грудь чистый, свежий воздух. Все пережитое за эти дни казалось не более как кошмаром. Трудно было верить в действительность всего случившегося. Как в тумане рисовались облики этих двенадцати бессильных старцев, давно испытавших все радости жизни, теперь с спокойствием и довольством произнесших приговор, которым подкошено было в корне счастье и радость семидесяти пяти молодых существ. Это не могло не показаться всякому горькой иронией.

## X

Прошло несколько недель. Вера не показывалась и ничем не напоминала о себе. Я, с своей стороны, собиралась навестить ее, но как-то все был недосуг.

Однажды в конце мая,— были у меня в этот день гости за обедом, и мы только что встали из-за стола,— вдруг открывается дверь гостиной и входит Вера. Только, боже мой! как она изменилась! Я так и ахнула. Всю зиму проходила она в каком-то черном бесформенном балахоне, в монашеском подряснике, как в шутку называла я ее костюм, а сегодня внезапно явилась она в светло-голубом летнем платье, сшитом по моде и подпоясанном серебряным кавказским кушаком. Платье это удивительно шло к ней, и она казалась в нем помолодевшей лет на шесть. Но не в платье было все дело. Вид у Веры был сияющий, победоносный; на щеках играл румянец, темно-синие глаза так и искрились, так и метали огоньки. Знала я прежде, что Вера хороша собой, но что она — красавица — не подозревала я доселе.

Большинство моих гостей видело ее впервые. Вход Веры в гостиную вызвал настоящую сенсацию. Не одни мужчины, но и дамы были поражены ее красотой, и не успела она присесть, как ее окружили со всех сторон.

Прежде, когда Вере случалось зайти ко мне невзначай и встретить у меня кого-нибудь постороннего, она тотчас пряталась в угол и слова от нее нельзя было добиться. Дикарка по природе, она инстинктивно сторонилась всякого нового человека, особенно, если подозревала, что не встретит в нем сочувствия к своим идеям. Но сегодня было совсем не то. Вера находилась в каком-то милостивом, любовном настроении; ко всем относилась приветливо и благосклонно. Казалось, что великая радость ключом кипит в ней и так переполняет ее существо, что изливается сама собою на все ее окружающее.

Прежде для Веры не было ничего неприятнее комплиментов, но сегодня она и их выслушивала спокойно, с несколько высокомерной грацией, отшучиваясь от них весело, бойко и так метко, что я только дивилась, смотря на нее. Откуда берется у нее все это? И светскость, и остроумие, и кокетство! Вот оно, что значит кровь! Думаешь, нигилистка, нигилистка, а тут, глянь,— светская барышня!

Это необычайное зрелище продолжалось, однако, недолго. Оживление Веры вдруг словно оборвалось. Говорливость ее исчезла, в глазах появилось скучающее, презрительное выражение.

— Скоро ли уйдут твои гости? Мне надо поговорить с тобой о серьезном,— шепнула она мне на ухо.

Гости, по счастью, стали расходиться.

— Что с тобой, Вера? Я не узнаю тебя,— спросила я ее, едва мы остались одни.

Вместо ответа Вера указала мне на четвертый палец своей левой руки, на котором я теперь только, к крайнему изумлению, приметила гладкое золотое кольцо.

— Вера, ты выходишь замуж? — воскликнула я с изумлением.

— Уже вышла! Сегодня в час пополудни была моя свадьба.

— Вера, да как же это? Где же твой муж?— спросила я растерянно.

Лицо Веры внезапно озарилось. Блаженная, восторженная улыбка заиграла на губах.

— Мой муж в крепости. Я вышла замуж за Павленкова.

— Что ты? Ведь ты же прежде не знала его! Где же вы успели познакомиться?

— Мы и не знакомились вовсе. Я видела его издали на процессе, а сегодня за четверть часа до свадьбы мы в первый раз обменялись несколькими словами.

— Так как же это, Вера? Что же это значит?— спросила я, не понимая.— Влюбилась ты в него, что ли, с первого взгляда, как Юлия в Ромео; уж не в то ли время, когда прокурор разносил его на суде!

— Не говори пустяков,— строго перебила меня Вера,— о каком-нибудь влюблении нет тут и речи, ни с той стороны, ни с другой. Я просто вышла за него замуж, потому что должна была выйти, потому что это было единственным средством спасти его!

Я молча, вопросительно глядела на Веру.

Она уселась в углу дивана и стала рассказывать, не торопясь и не волнуясь, словно речь шла о вещах совершенно простых и обыденных.

— Вот видишь ли, после суда я имела долгий разговор с адвокатами. Они все были того мнения, что дела остальных подсудимых, кроме Павленкова, далеко не плохи. Школьный учитель, конечно, умрет месяца через два или три, но ведь он, во всяком случае, не протянул бы долго, так как у него злая чахотка. Других же всех пошлют в Сибирь. Можно надеяться, что каждый, отбывши срок ссылки, вернется в Россию и опять примется за дело. Не то ожидало Павленкова. Ему действительно приходилось плохо, так плохо, что почти лучше было бы, если бы его приговорили к расстрелянию или виселице. По крайней мере разом был бы всему конец. А то мучайся целых двадцать лет в каторге!

— Ну что ж, Вера, мало ли кого приговаривают к каторге!— заметила я несмело.

— Да, но, видишь ли, каторга-то бывает разная. Был бы он простым преступником, не политическим, не постарайся прокурор расписать его на славу, ну, тогда другое дело! Послали бы его в Сибирь, и было бы в этом лишь полбеды. В Сибири тоже ведь люди живут. Да и «политических» теперь там много, что они — в своем роде сила; с ними и начальство принуждено бывает считаться. Теперь, если кого в Сибирь пошлют, он почти что и не горюет — знает, хоть и тяжко там будет, все когда-когда приведется и со своим братом единомышленником встретиться. Все не совсем еще отрезанный ломоть; надежда не покидает. Ну, если кто очень в Сибири стоскуется, при счастье ведь и бежать можно: не-

мало ведь бегало из Сибири. У правительства есть острастка похуже ссылки. Для политических преступников, преступников высшего разряда, для самых опасных существует Алексеевский равелин в Петропавловке. С кем правительство хочет вконец порешить, того оно посылает отбывать каторгу не в Сибирь, а в эту дьявольскую яму. Лежит она в самом Петербурге, на виду, так сказать, у высшего начальства. О попущениях и послаблениях и речи там быть не может. Одиночная система во всей ее строгости. Кто раз попал туда — все равно, что заживо похоронен. Ни с другими заключенными видеться, ни писем от друзей получать, ни самому им вестей давать о себе не позволено. Исключен человек из списка живых — и все тут. Наше правительство, конечно, не очень церемонится, ну, а все же больно уж часто смертные приговоры подписывать и ему зазорно; что за границей скажут? Ну, вот и придумали этот Алексеевский равелин. Звучит оно лучше виселицы, а в результате то же. Сколько политических уж туда засадили, а и до сих пор не слыхать, чтоб хоть один оттуда вышел. Обыкновенно проходит несколько месяцев, много год — два, и извещают родных, что такой-то или такая-то благополучно преставились, сошли с ума или порешили с собой. Больше трех лет заключения в Алексеевском равелине, говорят, еще никто не вынес. И в эту-то яму проклятую предстояло попасть Павленкову.

Вера остановилась, вся бледная от волнения. Голос ее дрожал, и на длинных ресницах нависли слезы.

— Но как же ты-то могла спасти его? — спросила я с нетерпением.

— Погоди, узнаешь сейчас, — продолжала Вера, успокоившись несколько. — Как услышала я, какая судьба предстоит Павленкову, так мне его жаль стало, что и сказать нельзя. Днем ли, ночью из мыслей он у меня не выходит. Пошла я к его адвокату, спрашиваю: «Неужто уж так ничего и придумать нельзя?» — «Ничего, — говорит адвокат. — Будь он еще женат — тогда другое дело, была бы еще надежда! Ведь у нас по закону жена, если захочет, имеет право следовать за мужем в каторгу. Ну вот, будь у Павленкова жена, она могла бы подать прошение государю, заявляя о своем желании следовать за ним в Сибирь, и государь, может быть, смилостивился бы, не захотел бы лишить ее законного права, но, на беду, Павленков холост...» Ты понимаешь, — продолжала

Вера, опять впадая в деловой спокойный тон,— как услышала я эти слова, тотчас же мне стало ясно, что теперь надо делать. Надо просить государя о позволении повенчаться с Павленковым.

— Но, Вера!— воскликнула я.— Неужели ты не подумала о том, что для тебя самой будет значить такой шаг! Ты ведь не знаешь, что за человек Павленков, и стóит ли он такой жертвы.

Вера взглянула на меня строгим, изумленным взглядом.

— И ты это серьезно говоришь?— спросила она.— Неужели ты сама не понимаешь, что если бы я не сделала всего, решительно всего, что было в моей власти, я бы тоже стала участницей его гибели. Скажи мне по совести, если бы ты не была еще замужем, неужели ты не сделала бы того же?

— Нет, Вера, право, не думаю, чтобы решилась,— ответила я чистосердечно.

Вера поглядела на меня пристально.

— Жаль мне тебя! — проговорила она в ответ и продолжала:— Во всяком случае, мне было ясно, что мой долг — выйти за него замуж. Но как получить на это разрешение? Вот в чем была загвоздка. Когда я сообщила адвокату о моем решении, он воскликнул в первую минуту, что об этом и думать нечего — никогда не позволят. Я и сама не знала, как приняться за дело, но вдруг вспомнилось мне, что есть один человек, который может помочь мне. Слышала ты о графе Ралове?

— О бывшем министре, кто же о нем не слыхал? Говорят, он и теперь, хотя удалился от дел, все еще — близкое лицо к государю! Но какие же у тебя с ним могут быть связи?

— Видишь ли, он нам приходится дальним родственником, но этого мало, главное: он когда-то был влюблен в мою мать, да, кажется, не на шутку. И меня, девочку, сколько раз, бывало, на руках нянчил и конфеты возил. Само собой разумеется, что до сих пор мне и в голову не приходило напомнить ему о моем существовании. Чего мне искать у таких людей, как он! Ну, а теперь я тотчас сообразила, что он может мне быть полезен. Я и написала ему письмо, прося аудиенции. Он ответил немедля и назначил мне час, когда я могу явиться.

— Ну, Вера, расскажи скорей, как обошлось у вас

дело?— спросила я с любопытством.— Вот-то воображаю, огорошила ты старика; порадовался он на свою прежнюю любимицу.

Мне вспомнилось все, что я слышала о старом графе, как он весь теперь ушел в набожность и проводит дни в посте и молитве.

Мудреное, должно быть, было свидание между ним и Верой. И при этой мысли я невольно рассмеялась.

— Нечего смеяться, ничего нет смешного,— сказала обиженным тоном Вера.— Вот ты послушай только, какая я подчас бываю умница, какие блестящие мысли приходят иногда мне в голову,— продолжала она весело.— Ты воображаешь, пожалуй, что я к нему нигилисткой явилась! Ничуть не бывало! Знаю ведь я, что все эти старые грешники, хотя и постничают на закате дней, а хорошенькие личики все же страсть как любят. Как увидят смазливую рожицу, так сейчас растают, в умиление придут, ни в чем ей отказать не могут. Вот я и принарядилась, идя к нему; по этому, собственно, случаю и платье заказала.— Вера самодовольно указала на свой наряд,— а уж вид какой скромный приняла: подумаешь, воды не замутит.

— Назначил мне граф свидание в девять часов утра. Пришла я к нему. Ну уж, скажу тебе, живут же эти вельможи! Для схимника, для смиренника, который грехи свои отмаливать хочет, в таких палатах жить бы не полагалось! У входа встретил меня швейцар с булавой, такой грозный на вид, сам на вельможу похож. Сначала и пускать меня не хотел; показала я ему письмо графа; тогда ударил он в медную доску на стене; в ту же минуту, словно из-под земли, вырос какой-то гайдук, рослый, весь в галунах, и повел меня вверх по мраморной лестнице, уставленной цветами; наверху встретил нас другой гайдук, тоже рослый, провел меня через несколько зал и передал на руки новому лакею в ливрее. Водили меня, водили из зала в зал и из гостиной в гостиную. Всюду паркеты узорные из разноцветного дерева, блестят, как стекло, и такие скользкие, что того и гляди растянешься. Потолки расписные, на стенах зеркала в раззолоченных рамах, мебель штофная с позолотой. И всюду пусто — ни души. А лакей такой важный, идет молча, слова не проронит... Подвели меня, наконец, к самому графскому кабинету; принял нас тут графский камердинер. Другие лакеи, что прежде меня водили, все

были рослые и в расшитых золотом ливреях, а этот — маленький старичок, мизерный на вид, в простом сюртуке, даже как будто попошенном, а лицо умное, хитрое — совсем дипломат. Оглядел он меня пристально, с ног до головы, точно в самую душу мне впиться хотел, потом, не торопясь, проговорил:

— Вы здесь сударыня, обождите. Их сиятельство граф только что встали, богу молиться изволят.

Оставили меня одну в кабинете. Комната огромная, с одного конца, кажется, и не разглядишь хорошенько, что делается на другом. Только тут уж ни зеркал, ни позолоты не видно; мебель простая, дубовая, всюду темные портьеры и гардины, даже окна полузавешаны, так что в комнате царит полумрак. Один угол весь занят огромным киотом, перед которым теплятся несколько лампад.

Сижу я тут, сижу. Страшно тянется время. Графа все нет! Нетерпение, наконец, разобрало. Стала я прислушиваться. Из-за одной портьеры слышу — точно бормотание какое-то несвязное доносится. Вот приподняла я тихонько угол — вижу, другая комната, вся черным сукном обита, на католическую молельню похожа; всюду образа, распятия и лампадки; стоит там в углу маленький, тщедушный старикашка, на мумию похож, шепчет что-то, крестится поминутно и поклоны земные кладет, а два громадных лакея с обеих сторон его поддерживают и, словно куклу на пружинах, то опускают на колени, то снова на ноги становят... А один из них при этом еще громко считает, чтобы не потерять из виду, сколько земных поклонов их сиятельство сегодня положить изволили.

Так мне смешно стало глядеть на них, что и робость моя прошла. Только как сосчитал лакей до сорока, на сегодня, значит, довольно, и графа отвели от иконостаса. Я едва успела опустить портьеру и принять скромный вид,— их сиятельство уже передо мною.

Как увидали они меня, тотчас воскликнули: «Господи, да ведь это Алина (мать мою так звали), вылитая Алина!» — и прослезились даже. Стал это он меня благословлять и крестить, а я ему руки целую и тоже слезинку из глаз выжать стараюсь.

Стал мой старик старое припоминать, душой умиляться; а я, не будь дура, все под его тон подделываюсь; о деле — ни слова, а все ему разные сказки рас-

сказываю, как мать моя постоянно его вспоминает, молится и сны о нем разные видит. И откуда это у меня все в ту минуту бралось — сама теперь не постигаю, право!

Размяк его сиятельство совсем, точно кот старый, которому за ухом щекочут. Стал он мне всякие блага сулить; планы разные на мой счет строить. Уж он чуть ли не ко двору меня представлять задумал. Да была, знаешь ли, минута, когда он на место дочери родной меня принять готов был — благо у него своей семьи нет, и жена, и дети — все померли.

Только вижу я, настала, значит, самая настоящая минута. Я вдруг в слезы и говорю ему: «Люблю я одного человека, и если не удастся мне за него замуж выйти, то ничего мне другого на свете не надо».

— Ну что ж, как же граф принял это признание? — спросила я, смеясь.

— Ничего, сперва отнесся сочувственно; стал меня утешать, чтобы я не плакала, обещал за меня постараться; только как узнал он, за кого я замуж собираюсь,— тут другая пошла история! Рассвирепел старик, слышать ничего не хочет. Совсем переменил тон, с «ты» вдруг на «вы» перешел. Уж не зовет меня ни дитяткой, ни ангелочком, а все сударыней величает. «Если, говорит, сударыня, девице приличной случится недостойного полюбить, то родственникам ее остается только одно: бога молить, чтобы он разум ее просветил». Ну, вижу я, плохо дело, совсем уже, было, отчаялась.

Вера вдруг оборвала свой рассказ и замялась.

— Ну, что же, Вера, что случилось? Доскажи, пожалуйста,— приставала я.

Вера покраснела.

— Видишь ли, я, право, и сама теперь не помню, как все это было и что я ему, собственно, сказала,— только... только он вдруг понял так, что мне нужно непременно выйти замуж за Павленкова, чтобы грех покрыть и честь мою спасти.

— Ах, Вера! И не стыдно тебе было бедного старика так морочить! — воскликнула я укоризненно.

Вера поглядела на меня с удивлением.

— Бедного старика морочить,—передразнила она насмешливо.— Есть чего стыдиться тоже. А ему, небось, не стыдно! При его-то положении и влиянии на государя, сколько бы он мог сделать добра, пользы принесть.

А он что? Колотится лбом о землю, в надежде, авось и на небесах отведут ему такое же тепленькое местечко, как и здесь на земле. А о других ему и заботы мало. Ко мне он любовно отнесся, так почему? Потому что рожица моя ему по вкусу пришлась; старые грехи ему напомнила, кровь его старую расшевелила. Очень его за это благодарить стоит. А к остальной-то молодежи, которая гибнет, которую в Сибири гноят, хорошо он относится? Нечего сказать! Сам, небось, на своем веку сколько приговоров подписал!.. Стала бы я его обманывать, если бы с ним было возможно говорить по-человечески. Но ведь этого нельзя. Попробуй-ка я прийти и сказать ему просто,— спасите Павленкова. Он бы ответил: «Не мешайтесь не в свое дело, сударыня» — вот и весь бы был сказ. Ну как тут не обманывать.

Вера расходилась и вся раскраснелась от волнения.

— Ну, продолжай, продолжай, пожалуйста,— торопила я ее.— Дальше как было?

— Да так. Вначале он страх как рассердился; зашагал по комнате и по привычке всех стариков, когда они волнуются, стал бормотать себе под нос, да так громко, что я могла расслышать: «Несчастная девчонка! Забыться до такой степени! Из такой прекрасной семьи! Не стоит она того, чтоб из-за нее хлопотать, а из-за матери придется-таки спасти ее, негодную. Надо будет как-нибудь грех покрыть, чтобы пятна на всю семью не нажить...»

Ходит он так по комнате, все бормочет. А я слушаю, и смех меня берет, а вид приходится иметь такой сокрушенный. Сижу, опустив руки, глаза поднять не смею — ну, словом, Гретхен — и только.

Наконец остановился он это передо мной и говорит строго так и внушительно: «Садись, Вера, и пиши сейчас государю, что припадаешь к его стопам и просишь разрешить тебе выйти замуж за твоего негодного обольстителя. Я берусь передать твое прошение и устроить все так, чтобы не было огласки».

Стала я благодарить старика, но он меня отстранил. «Не для тебя, говорит, делаю, а для твоей матери».

Села я писать под его диктовку, но тут, смотрю, опять выходит загвоздка. Диктует он мне прошение, а о Сибири в нем ни слова не упоминает. «А как же, спрашиваю я, Сибирь? Ведь я в Сибирь за мужем пойду». Старик мой даже рассмеялся. «Ну, говорит, этого

с тебя не потребуют; грех будет покрыт, а потом живи себе, где хочешь, честной вдовушкой в некотором роде».

Ну уж испугалась же я, скажу тебе, как эти слова услыхала! Что тут делать? Слишком на Сибири настаивать боюсь, неравно ему это подозрительным покажется и начнет он догадываться, в чем дело. Не знаю просто, как и быть. Только вдруг точно осенило меня. Говорю ему, что от раскаяния, мол, хочу подвиг этот на себя принять, за мужем в Сибирь пойти, чтобы этим грех свой искупить. Ну, это старик мой понял, это в его было духе.

Растрогался он; сказал, что препятствовать мне не станет. «Божье это, говорит, дело!» Благословил меня даже, отпуская, образок со стены снял, мне на шею повесил.

— Ну а дальше, дальше что же было? — спрашиваю я.

— Дальше уже все, так сказать, само собой устроилось. Вернулась я домой, никому ни слова о том, где была, не говорю. Только не проходит недели, как прибегает ко мне моя квартирная хозяйка, вся красная, запыхавшись, подает мне карточку, а сама чуть может говорить от волнения: «К вам генерал приехал, важный такой; прислал наверх ливрейного лакея спросить, дома ли барышня, очень нужно их видеть; а сам внизу в коляске сидит, дожидается».

Смотрю я, на карточке стоит: «Son excellence le prince Gelobitzky»*, а внизу карандашом приписано: «de la part du Comte Ralof»**, ну, я сейчас догадалась, по какому он делу приехал. «Проси», — говорю. Хозяйка моя совсем растерялась: «Ах, батюшки светы! Как тут быть! Генерал такой деликатный! А у нас не прибрано! Да как на беду еще щи сегодня к обеду варим; по всему дому дух капустный идет, так что упаси боже!» — «Ну, говорю, ничего! Будет генерал знать, что мы щи едим. Проси, все равно».

Вот слышу я, подымается генерал по лестнице, а она у нас и темная, и узенькая, и старенькая, так и скрипит под ним; поминутно он саблей за перила цепляет. Ребятишки, какие были в доме, все повыскочили; подойти близко не смеют, а стоят, засунули пальцы, кто в рот, кто в нос, и смотрят на него, как на зверя дикого.

* «Его сиятельство князь Жлобицкий» *(фр.)*.

** «от графа Ралова *(фр.)*.

Вот вошел ко мне генерал, нестарый еще, так, средних лет, щеголеватый; усы длинные, с проседью, стоят прямо, — видно, напомажены; духами от него так и разит. Отродясь, я думаю, не приходилось ему в такой обстановке быть, только, как светский человек, он и виду не дает, что ему это не в привычку. Хозяйка заторопилась, подставила ему кресло деревянное с обитой ручкой. Он — ничего, как будто и не заметил, сел так развязно, как в любой великосветской гостиной, каску на колени поставил, ногу вперед вытянул, обращается ко мне с любезной улыбкой и говорит: «C'est bien à la princesse Vera Barantzof, que j'ai l'honneur de parler?»* «Да,— говорю я,— она самая и есть». Махнул он хозяйке рукой, чтобы она нас одних оставила, нагнулся ко мне, принял конфиденциальный вид и говорит, что прислал его ко мне сам государь узнать, правда ли, что я желаю за политического преступника Павленкова замуж идти и за ним в Сибирь следовать? «Правда»,— отвечаю я.

Вот и начал он меня урезонивать. Как это можно такой молодой, прекрасной девице, красавице такой, губить себя! Да подумала ли я о том, что делаю! Я, русская дворянка, выйти замуж за жида-перекреста, за государственного преступника! У детей моих не будет ни имени, ни звания! Сами же они меня попрекнут, когда вырастут!

«Обо всем этом я уже думала и передумала,— говорю я,— а все же решения своего не меняю».

Видит генерал, что я на своем стою. Скорчил он лицо такое доброе, отеческое, глаз даже один прищурил, нагнулся ко мне, взял меня за руки и заговорил шепотом: «Я, говорит, человек немолодой. У самого дети есть. Я с вами как с дочерью родной говорить буду. Мало ли чего с девицами молодыми не бывает! Не вы первая, не вы и последняя! Из-за необдуманного шага губить свою жизнь не стоит. Государь милостив, и граф к вам расположен: много для вас сделать готов. Если и был грех, его иначе покрыть можно, мы вам и другого жениха приищем!»

А я все делаю вид, что ничего не понимаю, только свое твержу: хочу за Павленкова замуж идти, хочу за ним в Сибирь следовать.

---

* «Я имею честь разговаривать с княжной Верой Баранцовой?» *(фр.)*.

Видит генерал, что ничего не поделаешь. Встал, раскланялся и ушел; а я — к адвокату Павленкова, рассказала ему все дело и говорю: «Ступайте скорей к вашему клиенту, сообщите ему, какой мы план выдумали для его спасения».

Через несколько дней пришла и бумага, что разрешается мне, графине Баранцовой, вступить в законный брак с государственным преступником евреем Павленковым после того, как он от еврейства откажется и перейдет в православную религию; а венчать нас будут в тюремной церкви.

Вера замолчала и задумалась. Несколько минут мы просидели, не говоря ни слова.

— Вера, — проговорила я наконец печально, — теперь уже дело сделано и тужить о нем поздно. Ты, очертя голову, бросилась в омут. Но скажи ты мне на милость, как же ты перед свадьбой ни разу не зашла ко мне, не сказала ни слова о том, что затеваешь! А ведь мы с тобой друзьями считаемся.

Вера обняла меня и засмеялась.

— Вот еще чего захотела! — проговорила она весело.— Да разве слыхано когда, чтобы люди иначе, как очертя голову, в омут бросались! Как же, по-твоему? Когда человек задумает вешаться, так, прежде чем голову в петлю сунуть, ему следует всех друзей обойти, благословения у них попросить?

— Так, значит, ты сознаешься, что бросилась в омут? — спросила я тихо.

— Видишь ли, — проговорила Вера, подумав немного, — я не стану перед тобой рисоваться, роль разыгрывать. Я скажу тебе откровенно: в ту минуту, когда пришла эта бумага и я узнала, что все препятствия устранены, добилась я своего, значит — мне бы радоваться следовало, не правда ли, а у меня вдруг на сердце кошки заскребли. И вот так-то всю неделю, что еще до свадьбы оставалась! Уж я себе и работу всякую и дела всякие придумывала, только чтобы в движении постоянно быть, — не думать ни о чем. Ну еще днем, пока я на людях, ничего было, молодцом ходила, а как ночь придет, и останусь я одна, — ну, тут просто беда, начнет сердце ныть, и стану я труса праздновать.

Вот сегодня прихожу я в тюрьму. Впустили меня. Тяжелая, железом окованная дверь захлопнулась за мной с шумом. На улице было тепло, солнце играло, а тут

вдруг темнота меня охватила, сыростью пахнуло. Жутко стало на сердце. Подумалось мне, что и счастье, и свободу, и молодость — все я за дверью этой оставила. В ушах у меня даже зашумело, и почудилось мне вдруг, что суют меня в какой-то мешок, черный и бездонный.

Показала я, кому следует, бумагу. Повели меня какими-то коридорами, длинными, бесконечными. Два жандарма шли со мной, один спереди, другой сзади. Из боковых дверей постоянно высовывались какие-то фигуры в мундирах и оглядывали меня с ног до головы с наглым любопытством. Должно быть, весь тюремный персонал проведал о предстоящем венчании, и каждому хотелось поглядеть на невесту. Они, не стесняясь, вслух делали разные замечания на мой счет. Я слышала, как один офицер громко сказал другому: «Ces sacrés nihilistes ne sont pas dégoutés, ma foi! C'est vraiment dommage d'accoupler un beau brin de fillette comme ça à un brigand de forçat. Passe encore, si l'on avait le droit du seigneur!»*

Товарищ ответил что-то такое, чего я не поняла, должно быть, непристойность какую-то, потому что вдруг оба громко загоготали, забрякали шпорами и, проходя мимо меня, нагнулись и нахально заглянули мне прямо в лицо, да так близко, что почти коснулись меня своими усищами.

С каждым шагом на сердце у меня все больше и больше щемило. Признаюсь тебе откровенно, если бы в эту минуту пришел кто и предложил мне отказаться от свадьбы, я бы охотно убежала назад без оглядки.

Наконец ввели меня в какую-то комнату, пустую, с голыми крашеными стенами, с двумя деревянными стульями взамен всякой мебели, оставили меня тут одну и велели подождать. Долго ли я тут сидела одна — не знаю. Время казалось мне бесконечным. В голове все более и более возникало сомнение: хорошо ли я поступаю? Не делаю ли страшной, непростительной глупости! И всего ужаснее было мне думать о нашей предстоящей встрече с Павленковым. Боялась я, что, чего доброго, не узнаю его. И что он мне скажет? Понял ли меня? Я ста-

---

* «Эти проклятые нигилисты не лишены вкуса, черт возьми! Поистине, жаль сочетать такую лакомую штучку с разбойником, каторжником. Добро б он еще был дворянином!» *(фр.)*.

ралась вызвать в моем воображении его образ таким, каким он представлялся мне все прошлые дни, но, как я ни пыталась это сделать, все было понапрасну.

Наконец послышались шаги, дверь отворилась, и два жандарма ввели Павленкова. Как он выглядит, какое у него лицо — я и сказать не могу. Помню только, что на нем была серая арестантская шинель и волосы были подстрижены под гребенку.

Несколько минут нас оставили одних, жандармы отошли в сторону и притворились, что не глядят.

Что между нами было, я помню как во сне. Кажется, Павленков взял меня за обе руки и сказал: «Спасибо, Вера, спасибо!» Голос у него оборвался; я тоже не находила, что сказать. Только, поверишь ли, с самой минуты, как он вошел в комнату, вдруг все мое мучение прошло. На душе стало так светло, так ясно. Сомнений — как не бывало. Я знала теперь, что поступила хорошо, что иначе и поступить не следовало. Нас повели в церковь, поставили рядом, священник взял нас за руки и стал обводить вокруг налоя. И это все мне тоже помнится теперь как в тумане. Одну минуту, когда пахнуло вдруг сильно кадилом и певчие грянули «Исаия, ликуй!», на меня даже забытье какое-то нашло: представилось мне, что вовсе и не Павленков возле меня, а Васильцев, — и голос его милый я услышала так ясно и отчетливо. Знаю я, хорошо знаю, что он бы меня одобрил; порадовался бы, смотря на меня. И вдруг все мне так ясно представилось; вся моя жизнь в будущем развернулась передо мной, как на карте. Пойду я в Сибирь, буду там при сосланных состоять, буду утешать их, служить им, письма их на родину пересылать.

Голос Веры пресекся, и она зарыдала.

— ...И подумать, подумать только, что всю зиму-то я промаялась, ища дела,— заговорила она голосом, звучавшим бодро и радостно. — А дело-то тут, под рукою — и какое дело! Лучшего бы я и придумать себе не могла. Признаюсь тебе откровенно: для другой бы работы, ну хоть бы для революционной пропаганды, для конспирации, я бы, пожалуй, и не годилась вовсе. Уж тут большой нужен ум, красноречие, умение на людей действовать, их себе подчинять, а у меня этого вовсе нет. К тому же постоянно бы меня жалость разбирала, как это я других под опасность подвожу. А вот в Сибирь пойти — это совсем для меня, как есть настоящее дело!

И как это все просто, неожиданно, будто само собой устроилось. Господи, как я счастлива!

Она бросилась мне на шею, и мы долго целовались и плакали.

Недель шесть спустя я стояла на вокзале Николаевской железной дороги и провожала Веру в ее дальний путь. Тотчас после венчания Павленкова услали в Сибирь вместе с партией других арестантов. Большую часть дороги им предстояло пройти пешком. Теперь пришло время и Вере пуститься в путь, чтобы встретиться с мужем уже на месте. Она ехала не одна; с ней отправлялись еще две женщины, у которых были — у одной дочь, у другой — муж в числе сосланных. Они ехали, разумеется, в третьем классе, но это был еще весьма роскошный и удобный способ путешествия в сравнении с тем, какой ожидал их впереди. Железная дорога доходила в то время только до границы Европейской России; потом предстояло ехать в телегах или в санях. В самом благоприятном случае, то есть если никаких особых препятствий не встретится на пути, путешествие должно было продолжиться два-три месяца. А что ожидает их по приезде? Но все трое, казалось, об этом и не думали, все трое были спокойны и как-то торжественно-ясно радостны.

Необычайное возбуждение, в котором Вера находилась в первое время после своего смелого шага, успело улечься, и она опять ушла в себя, опять стала той тихой, мечтательной, несколько скрытной девушкой, какой я знала ее вначале. Она похудела только немного и казалась старше прежнего; но синие глаза продолжали глядеть бодро, смело вперед, и чрезвычайно трогательно было видеть, какими нежными попечениями окружала она своих двух спутниц, особенно ту, которая была постарше. Всех троих связывала, по-видимому, тесная дружба, та дружба, какую только общее несчастье умеет закрепить.

Народу на вокзале собралось много; кто пришел просто из любопытства или участия, а у кого были родственники и друзья в Сибири — хотелось послать им поклон и весточку с отъезжающими. Полиция, разумеется, была в полном сборе.

Мне едва удалось перекинуться несколькими словами с Верой, так как все толпились вокруг нее.

Но когда раздался последний звонок, и поезд должен был тронуться, она из окна протянула мне руку на прощанье. В эту минуту мне так живо представилась та судьба, которая ожидает это прелестное юное существо, что мне сделалось тяжело на душе, и слезы так и покатились из глаз.

— Ты обо мне так плачешь? — проговорила Вера с ясной улыбкой. — Ах, если бы ты знала, как мне, напротив того, жалко вас всех, вас, которые остаетесь!

Это были ее последние слова.



# <НИГИЛИСТ>

«5 фунтов винограду самого лучшего, полсотни яблок ранетовых, три дюжины груш дюшес, сига маринованного, сыра честер кусок фунта в 3, шесть бутылок мадеры, 5 бутылок... кажется, вот и все, ничего не забыла; только уж, пожалуйста, пожалуйста, чтобы к восьми часам непременно было доставлено!» — диктовала деловым тоном в лавке Елисеева молодая нарядная барынька, в бархатной шубке, обитой бобром, и с такой же меховой шапочкой на пушистых каштановых волосах, молодому приказчику, почтительно заносящему ее приказания в конторскую книгу.— «А икры свежей не угодно ли будет, сударыня? Приказали бы, право! Сегодня поутру прямо из Астрахани получили, и недорога — с вашей милости 4 рублика за фунт взяли бы!» — услужливо предложил приказчик.

Барынька приказала отпустить и икры; взяла еще мармеладу, и рябчиков заливных, и пирога страсбургского, который особенно рекомендовал ей приказчик. Она покупала все, что ей ни предлагали, не торгуясь, видимо наслаждаясь и самым процессом выбиранья и заискивающим ухаживаньем за ней приказчиков. У ней был счастливый вид девочки, которой в первый раз приходилось иметь в своем распоряжении туго набитый портмоне и закупать, что ей ни вздумается, в самом дорогом магазине, не стесняясь ценой. В лавке она, очевидно, производила некоторое впечатление. Незанятые приказчики повстали с своих мест, чтобы служить ей. Другие покупатели оглядывались на нее. Набрав всякой всячины и еще раз безо всякой нужды повторив свое приказание, чтобы к восьми часам все непременно, непременно было достав-

лено к ней на дом, молодая барынька вышла из лавки и, провожаемая поклонами и заискивающими улыбочками приказчиков, пошла пешком вдоль по Невскому. Она шла бодро, эластической походкой, как-то подобрав кверху всю свою маленькую упругую фигурку и твердо попирая высокими каблучками миниатюрных меховых сапожков утоптанный уличный снег.

Молодой франтик офицер, проходя мимо нее, уставил монокль в глаз и, придав своему бритому лицу <*не разобр.*>, вполголоса, но слышно прозюзюкал «Charmante!» «Барышня, барышня, прикажите подать!» — кричали ей стоящие длинной линией у тротуара извозчики. Молодая женщина шла, не оглядываясь, только чуть заметная самодовольная улыбка скользнула по ее губам. Что ни говорите, но когда вам 27 лет, вы уже шестой год замужем и дома двое ребят копошатся, приятно казаться еще такой молоденькой, что все принимают вас за барышню! Марья Павловна Репина, Маруся, как все ее называют, действительно имеет вид совсем еще девочки. Фигурка у ней крошечная, гибкая, словно стальная, с высокой грудью. Смуглое личико с нежным загаром все покрыто шелковистым пушком, словно спелый персик. Рот маленький, пунцовый, с красивым властным изгибом верхней губы. Губка эта уморительно вздергивается кверху всякий раз, когда Маруся смеется и выставляет тогда на вид ряд маленьких синевато-белых ровных зубков. С левой стороны над губкой — черная родинка, и эта-то родинка, может быть, и делает ее такой обворожительной. Не над одной только губкой есть у Маруси родинка, есть у ней другая, не менее обворожительная, но о существовании другой родинки знает только ее муж, так как Маруся на балы не ездит и не декольтируется.

Какого цвета глаза у Маруси, сказать трудно: кажутся они темными, но это зависит от длинных черных ресниц; в сущности же они бывают то синими, то темно-серыми, карими; иногда в них вдруг запрыгает множество золотых точек, и тогда кажется, точно маленький бесенок из них выглядывает. Все, что с уверенностью можно сказать о Марусиных глазах, это то, что у ней настоящие малороссийские глаза. Да и вся Маруся вылитая хохлушка. Есть в Малороссии, как известно, два типа красавиц: одни — высокие, бледные, с томной поволокой в очах, с затаенной страстностью во взоре; красавицы, перед которыми так и хочется стать на колени. Не к это-

му типу принадлежит Маруся, а к другому, так сказать, более обыденному. Вся ее маленькая подвижная фигурка кажется пропитанной горячими лучами полтавского солнца; от ее молодого упругого тела веет запахом степных трав; в крови точно подмешано шампанское, которое и бьет, и шипит, и рассыпается золотистыми искрами в ее чудных глазах. Встреть вы Марусю где на полях Киевской или Полтавской губернии, может быть, не обратили бы внимания на нее; там вы, наверное, встретите десятками таких женщин, как Маруся; там она принадлежит, так сказать, к типу заурядному. Но здесь, на холодных улицах Петербурга, среди белокурых малокровных немочек и чухонок не мудрено, что на нее заглядываются прохожие. К тому же Маруся решительно en beauté* сегодня; лицо у ней именно принадлежит к типу тех лиц, которые страшно безобразятся слезами и грустью и удивительно хорошеют от радости, от оживления, вроде тех южных пейзажей, которые не выносят ни туч, ни полусвета, которые надо видеть только при безоблачном небе, при ярком солнечном освещении. Но на Марусином небе не видать сегодня ни единой тучки. Весело ей идти по Невскому в этот чудный зимний день, среди этой праздничной, нарядной толпы, сознавать себя самое молодой и красивой и нарядной и видеть, что все на нее любуются и заглядываются. Весело ей смотреть на эти красивые нарядные магазины и думать, что все эти блестящие безделушки выставлены специально для нее, что в кармане у ней денег много, а понадобится еще — Миша еще даст. Ни в чем ей теперь не надо себе отказывать, всякую прихоть она себе позволить может! А как еще недавно все это иначе было! Всего несколько месяцев тому назад, когда они только что приехали в Петербург, как все тогда иначе было. Подумать, как весной она разревелась, да, так-таки разревелась, увидя, что прошлогоднюю мантильку поела моль; и не мудрено! Было с чего реветь: тогда это значило для нее большое несчастье. Помнится, оно грозило ей скукой на все лето, так как, разумеется, уж она бы лучше все лето в комнате просидела, чем показаться в Павловске в старой заштопанной мантильке. Как она тогда с завистью глядела на все эти выставленные в магазинах наряды и сколько раз она обдумывала и передумывала, как бы ей урезать из хозяйственных денег достаточно! Господи, просто и

* во всей красе *(фр.)*.

смешно, и досадно это вспомнить! Что это было за скверное время! Ах! как теперь все лучше!

И вспоминание прожитых стеснений заставило Марусю еще задорнее приподнять свою головку и бодрее зашагать по Невскому. Нет, право, как подумаешь, жизнь ее просто на волшебную сказку похожа.

Родилась она в маленьком полтавском городке; отца она и не помнит, а мать ее была простая мещанка. Правда, не худо ей жилось в детстве: мать ее не обижала, баловала ее даже по-своему! Только что ж это было за баловство! Бедные они очень были! Ни нарядить Марусю как следует, ни повеселить ее мать не могла. <*не разобр.*> Выросла Маруся — и того хуже стало: все говорят про нее, что она красавица, заглядываются на нее молодые люди, а замуж ее никто не берет. Женихи получше да помоложе приданого ищут, а к ней только одни старички или же дрянь всякая сватается — из рук вон дрянь какая: посватался к ней, например, старый купец Мармеладов, польстился на ее красоту, да который уж двух жен в гроб вогнал, посватался еще чиновник пьянчужка — так ведь это что за женихи; матери пригрозила, что в воду лучше бросится, чем за уродов таких идти. И горько, и досадно становилось подчас Марусе, когда думала она и сравнивала: вот и ту, и другую из ее подруг, и Машу некрасивую и глупую под венец снарядили, а она, красавица и умница, все в девках сидит. Вот и за двадцать ей перевалило, а это, как известно, в купеческом быту уж очень почтенный возраст для девиц считается; после двадцати сейчас тебя в перестарки зачислят. Когда Маруся оставалась наедине сама с собой, не раз случалось ей всплакнуть над своей собственной горькой долей; но слишком была она горда, чтоб чужим людям свое горе показать. Бывало, на девичнике иной из ее подруг у ней на сердце кошки скребут, а она и виду не показывает, звончее всех девичьи песни распевает, пуще всех долю девичью вольную расхваливает. И с каждым годом все разбитнее на вид, все бойчей на язык, все изобретательнее на выдумки разные веселые становилась Маруся. С молодыми людьми она стала обращаться надменно. Кто к ней подойдет, всякого отделает, так что молодые люди стали ее побаиваться, а подругам и в голову не входило жалеть ее или трунить над ней, что замуж ее никто не берет, а говорили про нее напротив: «Наша Маруся волю свою так любит, что ни

за какого мужчину замуж не пойдет». И такая о ней слава установилась. В это время приехал к ним в город человек один молодой, сын покойного батюшки их соборного. Говорили про него, что чудак он большой. Кончив курс в семинарии, не захотел идти в священники, хоть и место ему хорошее архиерей сулил, а пошел в университет. Долго в городе у них ничего о нем не слыхали, так как с отцом своим он перессорился; но вот умер старый батюшка, и сын вернулся наследство, какое после него осталось, получать. Поселился он на первых порах у мещанки одной, сняв у ней мезонинчик маленький в ее саду. В городе губернском всякое новое приезжее лицо на себя внимание обращает. К тому же батюшка покойный у всех почетом большим пользовался, потому и к сыну его все готовы были с лаской отнестись. Стали все ждать, что он старым знакомым отца поклонится, с визитами их обойдет. Но не тут-то было, ни к кому он и носу не кажет. От этого пуще стало всех любопытство по отношению к нему разбирать. Барышни молодые соберутся иногда вечерком толпой целой и, взявшись все под ручки, как будто ненароком, раз пять или шесть пройдутся по улице мимо его мезонина и всякий раз, проходя мимо его окон, громко начинают между собой разговаривать и пересмеиваться, а иногда так даже прямо на его счет шуточки разные отпускают. А он все ничего, и виду не показывает, что замечает, к окошку не подходит, на шутки их не отвечает. Стали ту мещанку, у которой он квартиру снимал, про него расспрашивать; так она говорит, что барин он добрый, ласковый, но целый-то божеский день все в книгах сидит и не только барышень городских приличных конфузится, но и с горничной даже простой слова лишнего не скажет: «Совсем не как барин молодой, а, прости господи, как схимник какой-то живет». И озлились, наконец, городские барышни на новоприезжего. Прозвали его дикарем и медведем и выдумали, что и вид-то у него страшный, и глаза сумасшедшие. «Ах, душенька! Как я же сегодня перепугалась! С медведем на улице повстречались. Я даже в лавку ближнюю от него шарахнулась. У-у, какой он противный!» — уверяли теперь друг друга городские барышни. Наступили святки. В это время, как известно, девушкам в купеческом быту предоставляется гораздо больше свободы, чем обыкновенно. В каждом городе ведется это обыкновение: нарядятся девушки вечером все, какая как умеет, в ко-

стюм какой попало <*не разобр.*> — расхаживают целой гурьбой по улицам, несмотря на мороз, песни во все горло распевают, в гости друг к другу заходят, веселятся как умеют. Однажды вечером разбуянились, развозились уж больно девушки, не знают, что бы и придумать им такого бы особенного. Случилось так, что подошли они в это самое время к мезонину, где жил учитель. Видят — у него в доме свет есть, и рисуется на окне тень его большая и согнутая. Одна из них вдруг и выдумала: «Что ж это, барышни,— говорит,— есть у нас сегодня и черкесы, и турок, и цыган много, а медведя-то у нас нет. Не годится ряженым быть без медведя. Надо нам медведя в свою компанию пригласить!»

И все поняли, что она на учителя намекает, расхохотались все и стали друг дружку подговаривать: «Вот бы вы, Саша, или ты, Груня, пошла, позвала бы его к нам». И все девушки смеются и каждая отказывается. А Маруся вдруг выскочила и говорит: «Я пойду». И стали над ней смеяться, что храбрости у ней недостает, не посмеет к учителю в дом войти. А ее их насмешки еще подзадоривают. «Вот увидите,— говорит,— что не струшу, пойду». Подошли девушки всей гурьбой к его дому; видят: в одном месте плетень у сада погнулся, перепрыгнуть легко можно. Недолго думая, Маруся взяла да и перескочила. Очутившись одна в чужом саду, в темноте струсила она маленько, но возвращаться не хочет: боится, осмеют ее подруги. Нечего делать, пошла она храбро вперед, подошла к дому, взялась за ручку входной двери — видит: дверь на замок не заперта, должно быть хозяйка квартирная забыла ее запереть или оставила, чтобы лучше ей было входить, когда понадобится. Собралась Маруся с духом, вошла в сени и прошла прямо в комнату учителя. Учитель сидит за столом, головой совсем близко к бумаге пригнулся и строчит что-то, да так усердно строчит, что и не заметил, как дверь скрипнула, не оглянулся даже на Марусю. Постояла Маруся, посмотрела на него, и вдруг робость ее совсем прошла и смешно ей и жалко его вдруг стало. Лицо у него молодое совсем, только худое очень, нахмуренное и бледное, близорукий он, видно, так носом к бумаге и пригнулся, и губами забавно шевелит, видно, повторяя написанное; большой клок волос навис у него на лоб, прямо в глаза ему лезет, а он и этого не замечает, так усердно строчит. Подошла к нему Маруся на цыпочках, стала сзади

и вдруг провела рукой по его лбу, откинула пависший клок волос назад и говорит задорно: «Что это, как вам не стыдно, у добрых людей праздник сегодня, все гуляют, веселятся, а вы все за вашими книгами сидите! Поедемте-ка лучше с нами, девушками, в санках покатаемся!» Вздрогнул учитель, взглянул на Марусю; а она в этот вечер цыганкой была одета; из-под красного платка на голове черная коса выбилась, на груди ее монисто и золотые монеты переливаются, а в глазах ее золотые искорки так и бегают, так и прыгают. Посмотрел на нее учитель сначала, как растерянный, будто ничего не понимая, потом вдруг у него тоже в глазах искорки забегали и такое у него во взоре зажглось, что хоть храбра была Маруся, а веки ее невольно к земле опустились и яркий румянец так и залил ее щеки.

— Что же это,— спрашивает учитель,— вы меня звать с собою на ваши святочные игры пришли, так ли?

— Так,— говорит Маруся, голос у ней дрожит и к глазам слезы подступают; готова бы она теперь была со стыда сквозь землю провалиться. А учитель вдруг засмеялся, да добрым таким, радостным смехом.

— Ну, спасибо вам,— говорит,— что про такого бирюка, как я, вспомнили. И в самом деле! Что в праздник-то за работой сидеть! Коли хотите меня иметь в вашей компании, так я с удовольствием!..

Встал он из-за стола, откинул бумаги и книги в сторону и заторопился. Не успела Маруся опомниться, а у него уже и шапка меховая и шуба одета и готов он с ней к остальным девушкам идти. Ну и веселый же выдался вечер! Еще несколько молодых людей из городских к нашей компании присоединилось; взяли они несколько санок, за город поехали кататься! Ночь была чудная, морозная, лунная. Потом в гости к одной из барышень, у которой родители подобрей были, заехали; до поздней ночи у ней просидели. Господи, смеху-то, веселья сколько было. И гадали-то они, и песни пели, и в игры разные играли. А он, учитель-то, совсем своим человеком стал; учености либо важности в нем и помину не осталось. Все девушки только смотрят на него и дивятся. Сказки им стал рассказывать, да такие все необыкновенные; иная сказка страшная, так что ужас берет, а другая сказка — потешная такая, что все только за бока держатся, помирая от смеха, а у него самого лицо серьезное остается, ни жилка на нем не дрогнет, и другим еще смешней от

этого станет. Откуда только у него все это бралось в этот вечер!

С этого дня стал Михаил Гаврилович часто заходить к Марусе в дом. Как станет, бывало, смеркаться, уроки в гимназии кончатся, смотришь — уж учитель к ним стучится в сени.

Марусина мать скоро так его полюбила, что просто души в нем не чаяла и всячески его расхваливала: «Этот,— говорит,— не чета другим молодым людям; на него положиться можно; он не озорник. Девушку не охулит, дурной славы на нее не положит». И Маруся привыкла к учителю: полюбить его страстно не полюбила, а нравился он ей, не скучно ей в его обществе было. Только, видит бог, в голову ей тогда не входило, что в Михаиле Гавриловиче что-нибудь особенное есть, что знаменитым он человеком когда-нибудь сделается! Так, казался ей добрым малым, чудаком только немножко. Когда он к весне к ней посватался, она не сразу и решилась. Боязно ей было, да и что за судьба учительшей весь век прожить. Но выбора-то ей другого не оставалось; а тут еще одно обстоятельство подошло: место ему в другой гимназии, в губернском городе открылось, и это-то ее окончательно и решило, потому что уж очень ей родной городишко опостылел и больно уж ей хотелось из него выбраться.

Вот поженились они, переехали в другой город. Первое время — ничего себе, хорошо было. Миша в ней души не чаял, на руках ее носил, целовал ее, ласкал постоянно. Да и ей внове было хозяйкой быть, начальства никакого над собой не чувствовать. Ну, а потом, как поприелось ей все это, на новом месте, пожалуй, скучней, чем на старом, стало. Та же беднота, те же лишения. Жалованье учительское маленькое, квартира скверная, кухарка глупая и воровка. В родном городе у ней все же знакомых было пропасть. Хоть и горько завидовала она подчас богатым подругам, а все же в их компании весело было; тут у ней и общества никакого нет. Жены других учителей все старые, чванные, только дети да кухня у них в голове. Скучно с ними.

Что всего хуже, и Миша опять за работу принялся. Как вернется из гимназии, не шутит, не балуется с молодой женой, а поцелует ее разок — и сейчас к письменному столу и давай писать. Сердилась на него Маруся за это; да, надо признаться! Не умно она себя тогда ве-

ла, счастья своего не понимала. Сколько раз она капризничала и дулась на мужа за то, что он все пишет, и бумаги его глупые даже разорвать грозилась. Только раз пришел Миша домой весь сияющий и показал жене толстую книжку журнала и в ней на заглавном листе свое собственное имя. Маруся не сразу поняла, чему ж тут так радоваться; но когда Миша вынул из кармана франкированный конверт и вручил ей две радужных бумажки — тут Маруся вразумилась, что в работе ее мужа есть прок, и перестала мешать ему работать. Но скучно ей все же было. Даже и с прибавкой этого нового <*не разобр.*> дохода денег у них все-таки не хватало, так как расходы все увеличивались. Пошли у них дети; в течение трех лет Сашка да Петька родились. Начались заботы о мамках, о няньках. Скрепя сердце, готова уже была Маруся на мечтания свои прежние и рукой махнуть; видно ей <написано> на роду, что теперь уже все так пойдет: серая, будничная жизнь, сегодня, как вчера, завтра — как сегодня, пока и она не превратится в такую же старую, постную учительшу, как и жены всех других учителей...

Вдруг однажды приходит Миша и говорит ей, что издатель того журнала, куда он посылал свои статьи, предлагает ему место в редакции и жалованье хорошее, и в барышах с журналов, коли таковые будут, ему доля дается, и что ради этого места он бросит гимназию и все они переедут на житье в Петербург. Испугалась даже в первую минуту Маруся; никогда она прежде о таком месте не слыхала, так это известие было неожиданно; но всякая перемена в ее существовании казалась ей желательной. Не без своей приятности была при этом и мысль: как удивятся их отъезду другие учителя гимназии и как разинут рты от изумления и начнут сплетничать все их противные жены. Поэтому она не стала делать возражений и сразу согласилась на предложение мужа. Продали они старый скарб, забрали только с собой Сашку и Петьку да старую няньку, сели на чугунку и укатили в Питер. Ах, и в Петербурге же не сладко было в первое время. Словно в лесу она тут дремучем очутилась, все-то ей тут ново, все непривычно было. И холодно ей, и неприглядно тут показалось после Малороссии, и люди тут все такие холодные, расчетливые, злые; всякий обмануть тебя норовит. Сначала, как услышала она, сколько жалованья будет Миша из журнала

получать, показалось ей это очень много; но как увидела она, как все в Петербурге дорого, она даже руками всплеснула. За что она прежде гривну платила, тут рубль стоит. Никто ничего даром не сделает — за все плати. Пуще прежнего пришлось ей себя стеснять да обрезывать во всем. А тут еще Миша по уши в работу ушел, на целый день, бывало, в свою противную редакцию убежит, а она — сиди себе дома да плачь. Нет, право! Марусе даже смешно теперь вспомнить, какая глупенькая она была тогда. Дурочка совсем! Всего-то она боялась, все ее пугало. Только же, слава богу, недолго это так продолжалось. Мало-помалу все проясняться стало. Журнал пошел так, как и ожидать нельзя было. О Мише вдруг все в Петербурге заговорили; всюду она слышит: «Ах, какой ваш муж умный, какой гениальный человек!» Ну кто бы, право, про него это подумал! Сразу он в знаменитости попал. Что он ни напишет, все это так нарасхват и читается. Подписчики на журнал стали являться со всех сторон; страсть, сколько их пришло! Денег вдруг явилась такая куча, что у Маруси даже голова кругом пошла. Общество у них тоже завелось,— и знакомые, и друзья, и удовольствия, ну, словом, все, решительно все!

Переехали они на другую квартиру, не то что большую, но хорошенькую, чистенькую, рядом с редакцией. Миша? Ну, он, конечно, все такой же остался!

«У ты, мой глупенький, глупый!» — так ему Маруся и говорит, и он так же посмеивается своим прежним смехом, добро и ласково, когда на жену и детей глядит; бороду свою так же пощипывает; только глаза у него стали теперь такие светлые, счастливые. А работает он страсть как много! И день весь пишет, и ночь часто до петухов над работой сидит. Маруся и не знает даже теперь, когда он ложится: чтоб ее не беспокоить, он и спать себе велел постилать на диване в кабинете. На самого себя он по-прежнему ничего почти не тратит. Ни прихотей у него, ни потребностей никаких нет. И удовольствий никаких не любит, в театры не ходит, в карты не играет, одевается по-прежнему плохо, ест — что ему ни подадут. Уж такой он, видно, век останется — чудачливый. Ну, а ей, Марусе, теперь страсть как весело! Народ у них на квартире с утра до вечера толпится, так что ей никогда, ни минуты скучно не бывает. Сначала ужасно поразило ее то общество, в которое она попала. Все прия-

тели ее мужа показались ей какими-то волосатыми, шершавыми, грязными. И слова-то у них такие странные, разговоры у них совсем другие, чем бывало в Г. Совсем иначе она себе образованных, ученых мужчин представляла. Многому, многому пришлось ей за эти месяцы научиться! Но вот странно! В Г., бывало, учителя и жены их противные все на нее и внимания не обращают, дурочкой необразованной считают, тут же, в Петербурге, и писатели, и офицеры, и все что ни на есть самые умные ею восхищаются. Сначала, правда, вздумали они ее «развивать», приносили ей книжки разные. Она и пробовала заняться, но ничего в них не поняла и они показались ей очень скучными. Тогда ее оставили в покое и мало-помалу все их приятели переняли у Михаила Гавриловича привычку называть ее несмыслюточкой. Только теперь она не обижалась на это прозвище. Она видит, что это ей не в обиду, а напротив того, как будто в честь дается. Она приметила даже, что чем она что глупее, наивнее скажет, тем это больше всем нравится, тем больше все смеются, и слова ее потом друг другу повторяют, как будто она сказала что-то очень умное, а она, ей-богу, часто и сама не понимает, что она такого особенного сказала. Но, видно, это уж вкус у них такой. Из других женщин и девушек, которые к ним в дом и в редакцию ходят, никто на нее не похож. Все другие такие серьезные, одеваются просто, словно как будто и не женщины, а мужчины. И говорят, и держатся они тоже по-мужски; все только о дельном, о серьезном толкуют; и спорят, и горячатся, и папиросы курят. А главное, что еще смешнее, у всех у них обстрижены волосы. Сначала Марусе это казалось ужасно смешным и безобразным, но потом она попривыкла, нашла даже, что это иногда красиво, иной особенно, которая помоложе и у которой волос курчавый, это очень к лицу. Маруся и сама стала подумывать, не пошли ли бы к ней короткие кудряшки, и сказала даже раз мужу, надув губки: «А знаешь, Миша, я косу себе хочу отрезать, что ж мне от других отличаться». А Миша только засмеялся: «Эх,— говорит,— несмыслюточка, что ты ни делай, все ж ты от других отличаться будешь. Такой, какая ты есть, такой и оставайся и косу свою береги. И думать у меня не смей ее резать». И правда, жаль бы было косу: такая она длинная, шелковистая; как вытянешь ее, так змеей черной она и скольз-

нет вниз, чуть не до самых колен спустится. «Ах, батюшки, что ж это я размечталась,— вспомнила вдруг Маруся, проходя мимо Думы и видя, что часы показывают уже пять.— Иду себе, прохлаждаюсь, а дома ведь меня ждут. Сегодня у нас праздник. Вышла новая книжка журнала; вечером соберутся все сотрудники ее «вспрыснуть». Надо мне торопиться». И, кликнув поспешно ваньку, она велела везти себя поскорей в Эртелев переулок, в редакцию журнала «Современник».

Редакция «Современника» недавно переехала на новую квартиру, так как при быстром и необычайном успехе журнала требовалось и более просторное помещение. Все здесь было ново: и самый дом, в котором помещалась редакция, был новый, только что отстроенный, громадный, пятиэтажный с разными архитектурными украшениями, вывезенными молодым архитектором из его Studierreise* в Париже и составляющими в Петербурге еще новинку. Редакция, вместе с квартирой главного редактора Чернова, занимала весь 4-й этаж. Высоконько немножко, но лестница прекрасная, отлогая, устлана коврами сверху донизу и уставлена цветами. Внизу швейцар. Под самую редакцию отведено пять больших комнат или, вернее сказать, зал, а квартира Чернова состоит из пяти комнаток: столовой, спальной, детской, будуара Марусиного и рабочего кабинета Михаила Гавриловича. Кроме этого последнего, все другие комнаты настоящие игрушки. Марусин будуарчик весь капитонирован кретоном в больших розовых букетах. Пол устлан брюссельским ковром. Всюду понаставлены кушетки и пуфы разные; на стенах всюду полочки, уставленные разными нарядными безделушками. Маруся сразу во вкус этого вошла, сразу поняла, как все и нарядно, и уютно устроить, словно всю свою жизнь она только и делала, что разъезжала по магазинам и выбирала красивые вещицы. Вот что значит природный-то талант! Все тут у ней в будуарчике ново, блестит, как с иголочки, а между тем на всем уже лежит такой оригинальный личный отпечаток, что, кажется, век в этом будуарчике жили, а не всего три недели тому назад в него перееха-

* Учебной поездки *(нем.)*.

ли. Муж и все его волосатые приятели трунят над Марусей за ее пристрастие ко всему нарядному и изящному. «Отсталая вы,— говорят ей,— не знаете вы, сударыня, что эстетичность отжила свой век. Порядочные люди живут теперь просто, по-мужицкому». Да, все они над ней смеются, а вот, поди, сами так и норовят забраться к ней в будуарчик. И много приходится бедной Марусе спорить со всеми волосатыми приятелями мужа за чистоту и неприкосновенность своего будуара. <*Не разобр.*> им входить в грязных сапогах прямо с улицы и не кидать окурки папирос на ее нарядный ковер.

Если у Маруси на квартирке все уже чисто и прибрано, то в самой редакции еще хаос порядочный. По всему видно, что сюда еще недавно приехали и что все это устройство заведено вновь. Белые, некрашеные полки для рукописей и газет, идущие вдоль всех стен в зале, распространяют еще запах свежей сосны. Обои во всех комнатах новые. Ручки на дверях еще <*не разобр.*>. Словом, все еще имеет характер нового и необжитого, но к этой новизне успела примешаться порядочная доля старого беспорядка и старой грязи. Во всех углах навалены целые кипы старых, еще не разобранных рукописей и книг, с прилипшими к ним <*не разобр.*>. Книг этих одних достаточно, чтобы придать всякому помещению вид грязи и неряшливости. Но видно по всему, что о чистоте да об опрятности не особенно и заботятся здесь. Всюду — и на паркетном полу, и на столах, и между бумагами валяются окурки папирос. Хотя все комнаты оклеены всего несколько месяцев, но местами обои оказываются уже сорванными или обрызганными чернилами. Брызги чернил также не пощадили ни сукна конторских столов, ни зеленый репс редакторских диванов. Запах сырости и свежести вновь <*не разобр.*> смешивается странным образом с запахом старой, годами накопленной пыли. Редакторский лакей Иван, занятый с утра до поздней ночи раздуванием самоваров для многочисленных посетителей, имеет, по-видимому, довольно оригинальное понятие о приборке комнат: по его мнению, она сводится к подбиранию забытых на столах гривенников и пятиалтынных, которым никто у господ не знает счета. И сами господа, по-видимому, разделяют это мнение Ивана и никто из них не заботится о том, чтобы внушить ему другие понятия. Зато улыбка довольства не сходит с его русого румяного лица, и от всей его плотной рослой

фигуры в красной кумачовой рубашке и плисовых штанах пышет благополучием. Действительно, не житье ему, а рай тут. Господа добрые, молодые, веселый народ! Иные и сами одеваются, как он, в мужицкое платье, часто вступают с ним в разговор и толкуют ему, что ты, мол, Иван, такой же человек, как и мы. Эх, забавно, право! И целый-то день в редакции народ толпится, словно ярмарка или праздник какой. И у всех лица веселые, довольные. Действительно, как всегда бывает при всяком деле, идущем в гору, у всех лиц, прямо или косвенно причастных к редакции журнала «Современник», разлито теперь на лицах выражение довольства и торжества. И надо сказать, успех журнала действительно колоссальный, неслыханный, превосходящий всякие, даже самые смелые ожидания. Число подписчиков за последние два года увеличилось в 7 раз против прежнего и достигает теперь небывалой цифры — 25 000! И это только одних постоянных подписчиков, а сколько вообще всех читателей, и сказать невозможно. Появление каждого номера ожидается с нетерпением. Всякий раз в тот день, когда должна выйти в свет новая книжка, и в самой редакции и во всех библиотеках для чтения так и толпится масса публики, коли первому схватить ее, первому узнать, какое новое слово скажет она в этот раз. И это не только здесь в Петербурге, в провинции то же самое. И там все, что есть молодого, свежего, все это выписывает «Современник» вскладчину, все это ждет от него своего лозунга и пароля, все это готово стать под его знамя и слепо идти по тому пути, который он им укажет. Никогда еще, кажется, не имел ни единый журнал в России такого могущественного социального значения, как этот. Редакция «Современника», разумеется, была составлена из людей замечательных, гениальных; но главное все же было время — то чудное, живое, полное самых светлых упований и беззаветных верований время, которое переживала теперь Россия.

Гости начали сходиться уже часам к шести так, за час до обеда. На эти редакционные обеды «Современника», происходившие каждый месяц в честь выхода новой книжки, собиралось довольно много народу; не только все сотрудники и их друзья, но и много других, посторонних лиц, находившихся в какой-либо связи с кружком; и отличительной чертой этих обедов была непринужденность необычайная. По мере того, как средства

журнала увеличивались, расширялось и меню обедов, изощрялось кулинарное воображение кухарки насчет разных блюд и улучшалось качество вин и закусок. В кружке любили хорошо покушать, но в сервировке и во всем остальном строго соблюдалась прежняя простота, совсем первобытная. Случалось иной раз, окажется недостаток в посуде; тогда в дело пускаются и кухонные тарелки, между двумя блюдами приходится ждать целую вечность, пока кухарка успеет перемыть ножи и вилки. У Черновых, кроме старой няньки Анисьевны, было еще две прислуги: кухарка и горничная. Обе считались как бы членами семьи и тоже якобы принадлежали к редакции. Особенно горничная Авдотья Яковлевна, особа еще молодая, полногрудая и весьма бойкая, была решительной любимицей всего кружка и с сотрудниками обращалась властно и повелительно. По раз навсегда заведенному порядку в дни редакционных обедов часть гостей присоединялась к <*не разобр.*>, принимала на себя часть хозяйских обязанностей, помогала им накрывать стол и расставлять стулья. Один же из сотрудников, критик по части философии и составитель научных обозрений, бывший семинарист, человек на вид мрачный и угрюмый, всегда убегал на кухню и принимал личное участие в сооружении того или другого кушанья, за что, впрочем, и был осыпаем насмешками товарищей и получил прозвище лакомки и сластены. Так как в маленькой столовой Черновых всем бы не поместиться, то стол сегодня решено было накрыть в одной из редакционных зал, из которой ради этой цели принялись выносить кипы бумаг и лишнюю мебель.

На подмогу Марусе явились сначала двое из гостей: один из них был Петр Степанович Залесский, богатый молодой человек, недавно кончивший курс в университете и теперь прилежно изучающий политическую экономию. Это был высокий невзрачный блондин с узкими сутуловатыми плечами и впалой грудью, вполне оправдывающий своею наружностью данную ему товарищами кличку «спаржи». Далеко не глупый человек, он был в высшей степени робкий и застенчивый, так как с детства привык трепетать перед своим отцом, богатым помещиком старого закала, державшим в страхе божием и повиновении и семью, и челядь. В сыне своем старик постоянными мелочными придирками к каждому его слову так систематически успел забить всякое проявление

собственной воли, что молодой человек и сам проникся недоверием к собственным силам и только тогда и вздохнул свободно, только тогда и узнал красные дни, когда, приехав в Петербург для поступления в университет, он случайно столкнулся здесь с некоторыми членами кружка «Современника». Теория свободы, равенства, ненависти к угнетению и сочувствия ко всем угнетенным, которые он тут в первый раз услышал, были для него новым евангелием; но пуще, чем восторгом к абстрактным теориям, воспылал он любовью к самим членам кружка, от которых он в первый раз в жизни встретил ласку и теплое человеческое отношение к себе. Настоящим сотрудником журнала он еще не считался, хотя и поместил в нем две коротеньких заметки по поводу какого-то вновь вышедшего в свет иностранного сочинения по политической экономии, тем не менее он почти постоянно торчал в редакции и считался в ней своим человеком. Перед всеми женщинами из «Кружка» Залесский решительно благоговел, так как при его нескладной, переросло̆й и недоразвившейся фигуре душа у него была удивительно нежная и рыцарская. Он преисполнялся живейшей благодарностью к каждой женщине, если встречал с ее стороны малейшее внимание к своей особе, и не обижался нимало за те благодушные насмешки, которыми осыпало его за это товарищество.

Маруся его очень любила. Он состоял у ней на побегушках, и она обращалась с ним, как с большим неуклюжим щенком.

Второй был человек совсем иного рода. Это был Степан Александрович Слепцов, молодой чрезвычайно талантливый писатель. Это был красивый бледный брюнет с массою черных, как воронье крыло, волос на голове и с необыкновенно томными синевато-черными глазами. Одевался он всегда в мужицкий костюм — из народничества или из кокетства — осталось вопросом, не решенным для его приятелей; во всяком случае, факт был тот, что красная шелковая рубаха удивительно шла к его цыганской наружности. Человек он был странный, неровный и причудливый. Что он делает и что собирается сделать — никто никогда наверное не знал. То вдруг запрется он на несколько недель, никуда не показывается, никого к себе не пускает; все думают, что вот принялся-таки за работу и радуются уже наперед тому гениальному произведению, которое выйдет из-под его пера. По-

том вдруг по прошествии известного времени он вдруг опять появится в среде приятелей, и оказывается, что он вовсе и не думал работать. Когда к нему пристанут, что же он делал, куда пропадал это время, он, покручивая папироску, спокойно отвечает: «Лежал все время на диване и учился кольца из дыма пускать». И ничего другого от него не добьешься, как к нему ни приставай. В другие же раза он ведет, по-видимому, жизнь самую беспутную; дома совсем и не сидит, весь день рыскает по городу, участвует во всех товарищеских сходках, по вечерам его видят в театре. Товарищи на него рукой махнут — «загулял наш Слепцов», говорят. И вдруг в один прекрасный день явится в редакцию с рукописью такого очаровательного, умного, прелестного рассказа, что редактор только руки потирает от удовольствия. Не в пример всем другим членам кружка, у которых у всех было к женщине отношение чрезвычайно идеальное, подчас даже пуритански строгое, Слепцов по отношению к прекрасному полу обнаруживал, надо сознаться, значительное легкомыслие, и романам его не было ни счета, ни числа. Однако хотя члены кружка и присваивали себе право следить за частной жизнью их друзей, но странно то, что Слепцову его легкомыслие не ставилось в особенную вину. Ему все прощалось, во-первых потому, что при каждом его новом романе он сам серьезнейшим и наивнейшим образом увлекался, а во-вторых потому, что известно было, что женщины к нему так и лезут.

Действительно, на женщин Слепцов производил обаяние необычайное, и сами женщины всегда брали его сторону и, что бы ни случилось, всегда и во всем его оправдывали. Даже суровая Авдотья Яковлевна и та всегда прояснялась, когда с ней заговаривал или начинал шутить Слепцов, и остальные сотрудники журнала горько жаловались на очевидное и несправедливое предпочтение, которое она ему оказывает. Расположение духа Слепцова никогда нельзя было предвидеть наперед; иногда он являлся на редакторские обеды желчным и злым, забивался в угол и «играл в молчанку», даже на женщин не обращал внимания; если же раскрывал рот, то только затем, чтобы беспощадно и ядовито обрезать какого-нибудь расходившегося юнца, излагающего чересчур идеальные и оптимистические теории. В другие же раза Слепцов бывал весел и дурачился, как малое дитя;

и конца тогда не было всем его выдумкам и затеям. Сегодня Слепцов находился именно в одном из своих счастливых настроений, поэтому лишь только он появился в столовой, все там так ходуном и заходило. К двум первым помощникам скоро присоединились другие, и дело закипело. Старые бумаги, счета и рукописи выносились в коридор и без разбору валились в одну кучу, редакторская конторка отставлена к стене, обеденный стол раздвинут и в него вставлены две новых доски. Алексей Степанович выпросил у Ивана метлу и сам подметал сор, <*не разобр.*> принес из чулана лестницу и, взобравшись на нее, зажигал свечи в люстре. Авдотья Яковлевна в коричневом шерстяном платье, плотно облегавшем ее высокую грудь, подпоясанная белым передником, с сознанием собственного достоинства, разлитым, как и всегда, на ее красивом полном лице, степенно, не торопясь, расставляла тарелки и раздавала приказания своим помощникам; а Маруся в вышитой малороссийской рубашке и плахте, с монистами на шее, с черной косой, выбившейся из-под <*не разобр.*> и со множеством маленьких непокорных кудряшек, обрамляющих ее раскрасневшееся, оживленное лицо, суетилась и прыгала, понукала ежеминутно Алексея Степановича, перекидывалась <*не разобр.*> и при каждой новой его выдумке хлопала руками от восторга. Из импровизированной столовой доносились в переднюю такие веселые раскаты голосов и такие взрывы смеха, что каждый вновь прибывший гость непременно первым делом туда направлялся и тоже предлагал свои услуги помочь по хозяйству. Но Маруся объявила со смехом, что у семи нянек дитя без глаз бывает, достаточно, всякое новое лицо только мешать будет; потому всякого нового гостя она немилосердно прогоняла в кабинет к мужу.

Там тоже собралось уже много народу. Кабинет Михаила Гавриловича был просторный, но убран с крайней простотой. Голый пол, голые стены, огромный письменный стол, заваленный бумагами, несколько полок с книгами, кожаный диван, служивший подчас и кроватью, несколько старых кожаных кресел и деревянных стульев — вот и все его убранство. Места на диване и на стульях все были уже заняты, и многим из гостей приходилось стоять, прислонившись спиной к стене или к книжным полкам. Один чудак уселся просто на пол, скрестя под себя ноги по-турецки. Все курили; в углу

уже белелась порядочная кучка окурков, и табачный дым так синими клубами и ходил по воздуху. Сам хозяин сидел на диване, заложив ногу за ногу, и по своей всегдашней привычке одну руку опустив в карман брюк, а другою постоянно отбрасывая кверху непокорный клок волос, который тотчас же опять свешивался на лоб. Михаил Гаврилович очень любил, чтобы возле него собиралось много народу, особенно молодежи. Эти убежденные прения, эти горячие шумные споры, где каждый старается перекричать друг друга, доставляли ему большое наслаждение; но сам он говорил немного, больше прислушивался к тому, как шумят другие, причем по его тонким с красивым изгибом губам постоянно бродила маленькая добрая усмешка. Иногда, когда что-нибудь его особенно занимало, он смеялся как бы про себя своим тихим сочувственным смехом, и от этого смеха у всех весело и радостно на душе делалось. На вид Михаилу Гавриловичу было теперь лет 35; росту он был среднего, скорей высокого, сложения худого. От постоянной книжной работы плечи у него были сутуловатые, несмотря на те гимнастические упражнения с тяжелыми гирями, которым он по принципу предавался с полчаса ежедневно, иногда настойчиво, до надоедливости рекомендуя их и всем своим приятелям. Его худое лицо с бескровными губами, с многими складками около углов рта, с зеленовато-желтыми, геморроидальными подтеками на висках, могло бы на первый, но только на самый первый взгляд, показаться лицом обыкновенного чиновника канцелярии или учителя классических языков. Это сходство, впрочем, существовало лишь в обыкновенное время, когда очки с золотым ободком скрывали его глаза. Когда же Михаил Гаврилович вступал с кем-нибудь в разговор, он всегда машинальным жестом сымал очки и разговаривал, глядя прямо в лицо собеседника, и тогда его близорукие серые глаза светились каким-то внутренним глубоким огнем, производили всегда удивительное впечатление. Вообще в те редкие случаи, когда Михаил Гаврилович вступал в разговор, он тотчас овладевал всей беседой и подчинял себе всех слушателей. Красноречие у него было какое-то особенное, совсем не цветистое: он никогда не искал фраз, слова и доводы являлись сразу и становились в ряды, как хорошо дисциплинированные солдаты, причем у слушателей обыкновенно являлось приятное самообольщение, что мысль Михаила Гавриловича

стала им ясна сама собой, прежде чем он успел ее развить. Несмотря на обычную сдержанность Чернова, молодежь его обожала, и личное его влияние равнялось почти влиянию его журнальных статей. Рядом с Черновым на диване, как можно ближе к печке и все же зябко кутаясь в серый плед, сидит другой редактор «Современника», Некрасов, на средства которого сначала был основан журнал. Лицо у него, несмотря на молодость, худое, изможденное; на голове порядочная лысина; под глазами огромные синяки, а на висках и вокруг век те глубокие складки, которые образуются у людей с сильными страстями — un visage dévasté par les passions*.

В то же время есть в лице выражение хитрое и хищное; взглянув на это лицо, с первого раза трудно было определить, кому оно принадлежит. Но Некрасов — поэт и притом поэт, в настоящую минуту наиболее популярный в России. Молодежь, однако, восхищается только его стихами; к нему же лично она относится сдержанно и с некоторым недоверием. В своих звучных, чудных, стальных стихах он воспевает те же идеалы, к которым и она стремится. Но сам своей личностью, своей жизнью он молодежи не отдается. В редакцию журнала он является только, когда есть дело. Вся же остальная часть его существования идет своей особой линией. Он очень богат, живет в роскошных палатах, куда молодежь и не допускается, вечера проводит в английском клубе и с кокотками. На редакторские обеды он является, правда, аккуратно, но и тут держит себя как-то странно, якобы посторонним гостем, а не своим человеком. Никто не видал, чтобы он увлекался в споре, всегда у него ко всему отношение ироническое, как бы свысока. За все эти свойства молодежь и не любила Некрасова. Он сам чувствовал, что не может никогда сойтись с этими горячими головами. Журнал свой он основал много лет перед тем, когда время было другое, когда можно было держаться одними литературными интересами; теперь же этого одного мало! Его практический ум афериста подсказывал ему, что для того, чтобы журнал мог теперь идти хорошо, надо, чтобы во главе его стояли такие лица, в которых молодежь верит вполне, от которых ждет нового

* лицо, опустошенное страстями *(фр.)*.

слова, разъяснения всех тех запутанных вопросов, которыми теперь начинен воздух. И у Некрасова было достаточно самокритики, чтобы понять, что ему самому таким лицом никогда не быть.

В Чернове он сразу по его статьям и по <*не разобр.*> угадал того человека, который ему был нужен. Поэтому и решил он, по-видимому, из дружбы предложить <*не разобр.*>. Враги Некрасова, а господь ведает, что их было немало, уверяли, что и в этом, по-видимому, бескорыстном поступке скрывался ловкий приказчичий маневр.

Разговор в кабинете был очень оживленный и, как и следовало ожидать, предмет беседы составлял новорожденный, в честь которого собрались сегодня: новая книжка журнала. Все присутствовавшие уже успели просмотреть ее и все были согласны, что этот номер по составу своему был даже удачнее всех прежних. И литературный отдел был очень хорош: первая глава повести Слепцова казалась выхваченной прямо из современной жизни, касалась самых животрепещущих интересов и обещала очень многое впереди. Новая поэма Некрасова «Плач детей, 1861» так и забирала вас за живое. Откуда только у этого холодного барича-эгоиста берутся такие горячие, прямо идущие к сердцу слова? Даже переводная часть и та была интересна: теперь печатался новый роман Шпильгагена «От мрака к свету» — сильная вещь, которая и в душе русского читателя способна зашевелить живые струны. Не в литературном отделе, однако, теперь главная сила: литература — все же только конфетка; существенный же интерес теперь весь сосредоточен на внутреннем обозрении, и вот тут-то Чернов превзошел себя. Его статья «Логика истории» — это такая прелесть, такая гениальная вещь, равной которой давно не появлялось у нас в России. Да, она расшевелит умы, заставит людей подумать и помыслить. И как это он умел все сказать: коснуться самых жгучих современных вопросов, высказать все, что лежит на сердце у теперешней молодежи, развить все их стремления, все их надежды и ожидания, доказать не только их законность, но и неизбежность их осуществления; и все это так, что цензура ни к чему и придраться не может. Вся статья, по-видимому, не что иное, как панегирика правительственным мерам; она вся пересыпана восхвалением царя. Чернов все время имеет вид, как будто он говорит не свои слова, а толь-

ко развивает царскую мысль, только поясняет смысл и значение недавнего переворота — эмансипации крестьян — и показывает последствия, долженствующие проистечь из него неизбежно, неотвратимо, в силу неопровержимой исторической логики. После всякого существенного внезапного переворота в судьбе народа status quo немыслимо. Должно произойти одно из двух: либо силы, вызвавшие переворот, продолжают действовать, и тогда одна реформа неизбежно влечет за собой другую, либо наступает ретроградное движение, реакция. Но эта последняя может быть вызвана лишь противной партией, а не тем правительством, которое само произвело переворот этот и должно неизбежно стремиться и к развитию всех его последствий. Уничтожить, затормозить <*не разобр.*> можно только путем новой революции. Не сам царь обратится сам против себя, уничтожит одной рукой то, что соорудил другой. И вот на основании этих логических доводов Чернов развивал картину будущего России: полная автономия Польши и Финляндии, земля в руках народа и русский народ, свободно высказывающий свою волю и беседующий с царем при посредстве земских соборов. Вот что увидит Россия в день своего тысячелетия, которое она через два года собирается праздновать. Иные самые сильные места из статьи Чернова повторялись теперь и комментировались молодыми людьми в его присутствии, между тем как он сам сидел молча, покручивая папиросу, и только тихо и радостно ухмылялся. «Посмотрим-ка теперь, что правительство на это ответит»,— говорили все с восторгом. Но разговоры о его статье были прерваны приходом новых гостей: это была целая кучка студентов и студенток, тоже принадлежавших к кружку «Современника». В нынешнем году женщины добились очень важного шага на пути женской эмансипации: им разрешен доступ на университетские лекции и, разумеется, очень много женщин воспользовались этим новым правом. Все пришедшие теперь в редакцию студентки были девушки еще очень молодые; одна из них — Коралй, красивая брюнетка, с выразительным ярко-красным ртом и восточными глазами, была еврейка, дочь очень богатого и известного банкира в Петербурге. Она разошлась с отцом «из-за убеждений» и жила теперь вместе с двумя подругами в одной маленькой комнатке и без прислуги. Другая студентка, Яковлева, розовенькая, субтильная и живая блондиночка, приехала изда-

лека, из Пермской губернии. И ее, разумеется, родители не добром отпустили одну, за тысячу верст от себя, в этот страшный Петербург, где теперь молодым людям со всех сторон грозила погибель. Но так как ее отец был все-таки добрый, хотя и отсталый, и любил ее без памяти, то она не решилась огорчить своих стариков, убежавши тайком из родительского дома; а для того чтобы получить свободу учиться, решилась на довольно оригинальное средство, только что начинавшее входить в моду между молодежью: на фиктивный брак. При том полном презрении ко всякой форме, которое характеризовало нигилизм и составляло основу так называемых «новых идей», в скором и полном торжестве которых теперь никто из молодежи не сомневался, понятно, что и церковный брак не пользовался большим уважением. «В новом обществе союз между мужчиной и женщиной будет скреплен взаимной любовью и взаимным доверием, а не будет торговой сделкой, за несоблюдение которой одна сторона может притянуть другую к суду». Эта аксиома составляла, так сказать, ABC нового катехизиса, и одним из вопросов, слишком очевидных даже для серьезного обсуждения, было то, что церковный брак есть учреждение, отжившее свой век, к которому человек развитой может прибегать лишь в том случае, когда он может служить средством для достижения какой-нибудь серьезной цели. Так как нигилизм успел уже проникнуть даже в Пермскую губернию, то среди соседей-помещиков Яковлевой нашелся один, который предложил ей пройтись с ним три раза вокруг аналоя, чтобы ценой этой маленькой прогулки получить право жить человеческой жизнью, не разбивая сердца своих стариков. Тотчас после венца молодые уехали в Петербург и здесь, чуть ли не в самый же день приезда, отправились на какие-то лекции в университет. Сегодня оба супруга, жившие, разумеется, на разных квартирах, встретились случайно в редакции. Говорили они друг другу «вы» и вообще по отношению друг к другу соблюдали утонченную и холодную вежливость, как бы ужасно боясь, чтобы их в самом деле не приняли за мужа и за жену, причем <*не разобр.*> сдержанность их отношений составляла забавный контраст с тем бесцеремонным товарищеским тоном, который существовал между остальными девушками и муж-

чинами их кружка, не связанными между собой узами брака.

Третья студентка, Надя Суслова, была еще моложе своих товарок. На вид ей было не больше 18 лет. Небольшого роста, но крепкого сложения, со смуглым бледным лицом, с неправильными чертами и сильно заметным калмыцким типом, она скорей могла называться дурнушкой, чем хорошенькой. Но все ее существо дышало энергией и силой, а серые умные глаза глядели так прямо и так смело из-под черной прямой линии сросшихся на переносице бровей, что придавали всему лицу печать оригинальности, почти красоты. Пройти мимо этой девушки, не заметив ее, было невозможно. В кружке она слыла «сильным человеком» и от нее ждали очень многого в будущем. Все три девушки были одеты в черные юбки и в цветные гарибальдийки, подпоясанные у пояса кожаными кушаками. У всех были короткие волосы. Они пришли в редакцию прямо из университета, где происходили сегодня очень бурные сцены; в университете начинались беспорядки. Дело в том, что инспектор вздумал вдруг ни с того, ни с сего вмешиваться в студентские дела, стеснять свободу студентов. Вчера на стенах университетских коридоров и зал вдруг появились плакаты, запрещающие студентские сходки и требующие, чтобы студенты являлись на лекции не иначе, как в форменных мундирах. Такое предписание действительно существовало и прежде, но на деле оно никогда не соблюдалось. Поэтому студенты сочли требование инспектора стеснительным и отвечали на него тем, что все толпой, человек в 500, собрались на университетском дворе и стали требовать, чтобы инспектор вышел к ним для объяснений.

Инспектор сам выйти струсил и вместо того послал за полицией. *<Не разобр.>* среди студентов распространился слух, что сейчас явятся жандармы. Поднялся шум, гвалт, послышались громкие крики: «Не трусить, господа, не уступать! Защищаться до последней капли крови», но более умеренные советовали разойтись, не дожидаясь прибытия жандармов. Толпа разбилась на несколько партий. Студентки, разумеется, принимали живое участие в этой животрепещущей драме. Энергичная Корали, незаметная среди толпы по причине своего маленького роста, вскочила на поваленную на университетском дворе громадную кучу дров и с этой импровизиро-

ванной трибуны харангировала* товарищей. Она была того мнения, что сегодня сопротивляться было бы <*не разобр.*>, настоящий бунт был бы преждевременным, так как студенты еще недостаточно организованы. Ее мнение восторжествовало, и на сегодня студенты мирно разошлись по домам. Но завтра, если начальство не возьмет назад своих несправедливых требований, беспорядки начнутся, разумеется, снова. Это происшествие на университетском дворе в глазах всех присутствующих сделалось теперь, разумеется, главною темою всех разговоров; оно приняло размеры исторического события. Университет в это время имел громадное значение и служил сборным пунктом для всей либеральной молодежи. Разговор о происшествии в университете был прерван только появлением сияющей <*не разобр.*> Маруси, пришедшей объявить, что обед подан. Так как час был уже поздний, и все очень голодны, то приглашение, несмотря на оживленную беседу, было встречено с восторгом и повторять его не пришлось. Гости двинулись в столовую. За столом в распределении мест не соблюдалось, разумеется, ни малейшего стеснения; хозяйка не назначала, где кому надо сидеть, а каждый гость садился где и возле кого ему вздумается. Места поближе к молодым барышням были заняты прежде всего; несмотря на бесцеремонно товарищеский тон, господствующий в кружке между обоими полами, отношения молодых людей к барышням все же не вполне были свободны от известного ухаживания. Как у Корали, так и у Яковлевой было пропасть обожателей; только одна суровая Суслова непреклонно и решительно отстраняла и пресекала всякое, даже самое слабое поползновение на ухаживанье за собой и по отношению к молодым людям обнаруживала самое обидное и неприступное равнодушие. Зато она сама пылала к Чернову тем восторженным, горячим и бескорыстным обожанием, какое только способна испытывать очень молодая девушка к человеку гораздо старше ее, облеченному в глазах ее ореолом гения. Она и теперь постаралась сесть к нему поближе и, не спуская с него своих серых лучистых глаз, d'une inspirée**, с жадностью ловила на лету каждое его слово, угадывая по лицу его,

* увещевала *(фр.)*.
** вдохновенных *(фр.)*.

что он думает о том или о другом вопросе. Чтобы не иметь надобности стесняться в разговорах, на редакторские обеды из прислуги не допускался никто, кроме преданной Авдотьи Яковлевны, на которую можно было положиться, поэтому Марусе самой постоянно приходилось выскакивать из-за стола, чтобы помогать разложить кушанья; да и гости сами служили себе и соседям. В начале обеда, как обыкновенно бывает, все увлеклись едой, и споры, такие шумные и горячие в кабинете, на миг притихли, пресеклись и оборвались. По мере того, однако, как желудки насыщались, языки снова развязывались. Сначала стали возникать разговоры частные, между гостями. Между сегодняшней молодежью существовали, разумеется, свои соревнования, обиды *<не разобр.>*, шутки, намеки, напоминания, словом, шел тот непонятный и раздражительный для всякого постороннего лица разговор, какой всегда ведется в кружках, где много молодежи, которые все свои люди, встречаются чуть ли не ежедневно, имеют пропасть своих личных, ужасно интересных для них самих дел, старых счетов. Среди того общества, которое собралось сегодня, было, разумеется, много и мелких соревнований, ссор, симпатий и антипатий, обидных оскорблений, на которые, чтобы не уронить себя, непременно следовало ответить такой же или еще более язвительной *<не разобр.>* — словом, было много всей той скучной дряни, которая всегда и неизбежно заводится всюду, где ни соберутся вместе штук 10 двуногих животных, да притом еще разного пола, и которая делает всякую общественную жизнь вещью довольно нестерпимой. Теперь, однако, все эти мелкие чувства подавлялись сознанием того великого и важного, которое готовилось для всех впереди; все были проникнуты убеждением, что они все, здесь собравшиеся, суть «новые», «лучшие» люди, что они, так сказать, соль земли, и это приятное сознание смягчало все сердца и располагало их к благодушию и к милосердию друг к другу; инстинкт же человеконенавистничества, присущий всякому человеческому сердцу, находил себе исход во вражде к врагам, т. е. к *<не разобр.>*.

Даже литературный критик и критик по части философии, постоянно сталкивающиеся между собой на страницах журнала и, кроме того, оба сильно влюбленные в Корали, и те, хотя и не щадили друг другу мелких пикировок, однако и те до поры до времени не отказывали

друг другу в уважении. По мере того, как обед подвигался к концу, беседа становилась все оживленнее; к тому времени, как подали жаркое, голоса уже сливались в один общий гул. На том конце стола, где сидел Чернов, обсуждали теперь одно событие последних дней, о котором газеты по обыкновению только оповестили публику с красноречивой краткостью, но о котором в Петербурге шли теперь самые разнородные и противоречащие друг другу толки: а именно о том, что в государя, во время его недавней поездки в Париж, был сделан выстрел. Событие это комментировалось и обсуждалось на все лады; однако, как это ни странно, никто в кружке не придавал ему уж чересчур большого значения. Выстрел, очевидно, был сделан человеком отдельно стоящим и не был делом какой-либо серьезной партии; поэтому никому в голову не входило, что не только отзовется на судьбе их кружка, но и будет иметь серьезное и решающее влияние на всю внутреннюю политику России. От этого частного случая перешли естественно к вопросу о цареубийствах вообще. Коснулись французской революции, причем казнь Людовика XVI была подвергнута горячему обсуждению, и далеко не все голоса высказались за ее необходимость. Чернов своего мнения на этот счет не сообщал; он только внимательно, со своей обычной доброй и несколько загадочной улыбкой, прислушивался к тому, что говорят другие. Залесский всех горячее высказывался против всяких террористических мер. Забыв в жару спора свою страшную застенчивость, но все же заикаясь и не находя слов, как всегда с ним бывало, когда он горячо что-либо доказывал, он излагал ту теорию, что единственный путь, которого может держаться их партия,— это путь миролюбивой пропаганды среди народа. «Не знаю, как в других странах, господа,— говорил он,— но у нас в России только этот путь и возможен. Народ наш, господа, социалист в душе; в нем уже заложены все элементы нового учения. Стоит только <намекнуть, все> вдруг станет ему ясным и понятным. Тогда народ встанет весь, как один человек».— «Шапками мы их закидаем, что ли?» — «Сила массы, знаете ли, ведь, что в ней; и резни даже никакой не будет, а устроится все миром»...

— «И реки молочные потекут, и рябчики жареные в рот ко всем поскачут!» — злобно перебил Залесского Слепцов. Этого последнего и смешило и раздражало не-

связное, восторженное красноречие Залесского и ему захотелось подурачиться. «А ведь знаешь ли, братец,— продолжал он тем невинным тоном, про который друзья его никогда не знали наверное, шутит он или говорит серьезно.— А ведь ты при всем твоем благодушии о том не подумал, что ведь это даже жестоко лишать революционеров их законного удовольствия — травли на тиранов. Мало, ты думаешь, наслаждения — прицелиться вот так в крупного зверя,— и он, прищурив один глаз, сделал вид, что стреляет.— Ведь это, братец ты мой, самый высший вид спорта! Если бы только англичане-дураки могли додуматься до того, насколько эта охота <*не разобр.*> и занимательнее охоты на тигров. Конечно, на свете есть нечто еще даже лучшее: это вонзить нож в сердце тирану, вот так, как я вонзаю его теперь в кровавый ростбиф», — и Слепцов, свирепо нахмурив брови, взглянул страшными глазами на подававшую ему блюдо Авдотью Яковлевну, которая, со своей стороны, только строго сжала губы и придала своему лицу то сосредоточенное суровое выражение, которое она всегда принимала, когда, по ее мнению, господа говорили вздор. В эту самую минуту в соседней комнате вдруг поднялся страшный шум; там происходила какая-то борьба: кто-то хотел ворваться и кто-то его удерживал. Все присутствующие невольно вздрогнули и переглянулись. Но вот раздались и крики; послышался горький детский плач. Оказалось, что это буянят Сашка и Петька. Няне перед обедом разными правдами и неправдами удалось уложить их спать. Но в конце концов они все-таки ее перехитрили: когда она, положившись на их тихий сон, сочла себя вправе уйти из детской, они тут-то именно и проснулись; выскочили из своих постелек и, как были босиком и в рубашонках, понеслись стремительно туда, откуда слышались голоса гостей. Няне удалось поймать их уж лишь на редакторской половине. Разумеется, это грубое проявление няниного деспотизма над малолетними гражданами глубоко возмутило всех присутствующих, и гости толпой побежали в <*не разобр.*> на выручку детей. Петька и Сашка, еще заспанные, со следами недавних слез на щеках, но теперь улыбающиеся и <*не разобр.*>, въехали в столовую — один верхом на Слепцове, другой верхом на Залесском. Их поставили посреди стола и стали наперерыв угощать разными лакомствами. Петька был еще совсем маленький пузатенький мальчуган, с толстыми коротки-

ми ножонками и круглыми, совсем еще телячьими глазенками. Но Сашка был уже большой пятилетний человек; который болтал уморительно, знал уже наизусть несколько революционных стихов и вообще служил забавой всего кружка. «Молодец, Сашка! — говорили ему.— Не надо слушаться няни! Ты у нас вольный казак! И вырастешь, так же поступай! Что себя в обиду давать! Ну-ка, покажи, как ты с няней воевал!» И Сашка, крепко стиснув крошечные кулачки, *<не разобр.>* размахивал ими вправо и влево. Гости хохотали. Ему налили рюмку сладкой наливки и велели выпить за здравие будущей социальной республики. Сашка проглотил ее одним залпом и язычком даже причмокнул. Когда же он тоненьким, похожим на комариный писк голоском пропел русскую Марсельезу, восторг гостей не знал пределов. Сашку целовали, передавали с рук на руки, дразнили, заставляли болтать всякий вздор до тех пор, пока вдруг язык его как-то сразу запутался, головка опустилась на плечо, глаза словно заволоклись пеленой, и он уснул тем внезапным, моментальным сном, каким засыпают иногда дети. На другом конце стола Петька, который уже выпил порядочно наливки и про которого все забыли, давно уже спал. Тогда детей взяли на руки и отнесли назад в их кроватки.

В комнате становилось нестерпимо жарко и душно. Тяжелый запах кушаний смешивался с винными парами и с табачным дымом, т. к. во время десерта, разумеется, курили. В зале отворили форточку, и ночной морозный воздух свежей струей ворвался в комнату, словно лаская разгоряченные лица и внося новую силу и новую энергию в надышавшиеся угольной кислотой легкие. «Господа, грех сидеть дома в такую ночь, поедемте кататься на тройках!» — закричала Маруся. О том, чтобы устроить вечером катанье на тройках, говорилось уже давно в кружке, но дело все как-то не выгорало. Теперь же предложение Маруси было встречено с восторгом: «Поедем, непременно поедем!» — кричали все девушки, хлопая в ладоши. Петр Степанович и еще один из сотрудников тотчас побежали заказывать ее, и через полчаса послышались на улице топот лошадей и гулкое, разливчатое бряцанье бубенчиков, которое вдруг сразу словно замерло и пресеклось, и четыре тройки остановились перед подъездом редакции. Все общество разместилось как попало, по пяти-шести человек в каждых санях. Целью поездки был

выбран один из загородных ресторанов, где пел в нынешнем году хор цыган, хотя ресторан этот и был известен как излюбленное место всей веселящейся молодежи, офицеров, купеческих сынков, помещиков, приехавших в столицу спускать выкупные рубли, словом, всего того люда, уж ровно ничего общего с кружком не имеющего. «Что за охота ехать туда, куда всякая дрянь таскается!» — протестовали, правда, некоторые наиболее суровые из кружка. Но барышни обнаружили обычное любопытство порядочных женщин относительно этого lieu de perdition*. «Какие глупости! Отчего же раз и не поехать? Разве к нам что пристанет? Очень интересно и поучительно даже развитому человеку видеть, как вся эта золотая шваль свое время проводит»,— горячо настаивала розовая, белокурая Яковлева. Женская партия по обыкновению восторжествовала. Ночь была лунная, морозная, но совсем безветренная, и потому холод не чувствовался. В воздухе носились миллиарды крошечных ледяных кристалликов, которые, словно невидимые микроскопические иголочки, слегка щекотали лицо. Рослая коренная, голову вперед, мчалась ровным, степенным бегом, а пристяжные, закинув голову совсем назад, неслись во всю прыть, выделывая удивительные скачки и, высоко вскидывая передними ногами, подбрасывали огромные глыбы замерзлого снега. Дорога была ровная, выкатанная, и сани мчались стрелой. Все последние дни перед выходом в свет новой книжки журнала у Чернова было пропасть спешной редакторской работы и он почти не выходил из своего кабинета. Теперь от быстрого бега саней у него захватывало дыхание и ощущалось легкое приятное головокружение. Морозный ночной воздух действовал на его утомленные сидячей головной работой нервы подобно шампанскому. Хотя он и не выражал своих чувств шумно и порывисто, как его более молодые товарищи, и по своему обыкновению только молчал, он тихо ухмылялся, но на душе у него было в эту минуту удивительно светло и отрадно. Он ехал в передней тройке; Наденька и Маруся обе сидели в одних санях с ним. Первая, в суконной кучерской шубке, обшитой мерлушкой, с молодцеватой барашковой шапкой на коротких

* места погибели *(фр.)*.

курчавых волосах, походила на совсем молоденького деревенского парня. Под влиянием возбуждения и быстрой езды, которую она страшно любила, даже с нее спала ее обычная суровость; она поминутно вскакивала с своего места и понукала ямщика, и без того во всю мочь погонявшего лошадей. «Скорей, скорей, голубчик! Еще скорей! Вот так! Ух, какая прелесть!» — кричала она поминутно, вся охваченная радостью этой дух захватывающей, сумасшедшей езды.

Маруся с видом зябкой кошечки куталась в бархатную ротонду с огромным белым пуховым воротником, из-под которого выглядывал только маленький, чуть-чуть покрасневший носик и пара темных плутоватых глаз. Каждый раз, когда сани наезжали на бугор или стремительно летели вниз с горы, она слабо вскрикивала и маленькая тепленькая ручка без перчатки выпархивала из ротонды и хваталась за руку мужа. Среди этих двух женщин, из которых одна была ему симпатична и дорога, как милый, умный ребенок, другую же он любил со всей страстностью, со всей пылкостью и нежностью его сдержанной с виду, но страстной натуры,— Чернов чувствовал себя превосходно. Он впал в какую-то тихую думу, вроде забытья. <*не разобр.*> вдали вдруг замелькал ряд разноцветных фонарей, и яркими лучистыми пятнами выступили из темноты освещенные окна ресторана. Ямщики приосанились как-то особенно форсисто, гикнули на свою тройку, разогнали во всю прыть, с треском подкатили к подъезду и тут разом круто осадили лошадей, так что задние сани чуть не налетели на передние. Половой в плисовой поддевке, из-под которой выступали красные рукава шелковой рубашки, увидя такое многочисленное общество, мигом подскочил высаживать новоприезжих. Прежде чем они успели оглядеться, их уже ввели в <*не разобр.*>. Залы ресторана уже были полны народом. Волны ослепительного белого света и громкой, оглушительной музыки, тонкие духи дамских <*не разобр.*> после тишины и однообразия вызывали какое-то <*не разобр.*>. Впереди на эстраде какая-то красавица в русском костюме, помахивая белым платочком, выступала павой. В это время хор девушек выводил во всю глотку, притопывая в такт: «Ах, вы, сени, мои сени!» Новоприезжие растерянно и сконфуженно прокладывали себе дорогу между маленькими столиками, которыми была уставлена вся зала, нигде не находя себе места, т. к.

все столы уже были разобраны. Они обращали на себя общее внимание. Среди эполетов, аксельбантов, крашеных рыжих шиньонов, блестящих, гладких, как ладонь, лысин эта компания студенток-барышень и молодых людей — мрачных, волосатых, с тем сосредоточенным видом, который характеризует людей мысли вообще и русских нигилистов в особенности, производила странное впечатление. Все на них обернулись и шептались на их счет. Новоприезжие и сами чувствовали себя неловко в этой чуждой, несимпатичной им...


Очерк
и
стихотворения



## М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

«Еще одна звезда мелькнула, мелькнула и исчезла».

Еще одно блистательное имя вычеркнуто из списка имен той плеяды великих писателей, которые родились в России в первую четверть нашего века и которые стали известны и любимы за границей почти столь же, как в своей стране.

Явление весьма любопытное и уже несколько раз подмеченное: есть годы урожайные и неурожайные для рождения великих людей, совсем как для сбора хлебов. В раздольных степях южной России земледелец с бóльшим правом, чем где бы то ни было, может сказать, что годы идут один за другим, но не походят друг на друга. Если нет дождей, если летом стоит исключительная жара — все высыхает, все сожжено. Черная и жирная земля наша — знаменитый русский чернозем — покрывается коркой твердой, как камень. Тогда нельзя рассчитывать даже на средний урожай, и осенью с трудом можно засеять поля.

Иногда неудачные годы идут подряд — одно лето, другое, третье, пятое. Тогда наступает настоящее разорение. Голод и отчаянье во всей стране. Наконец, наступает хороший год, когда дожди падают в изобилии. Тогда земля обнаруживает мощь и плодородие изумительное. Достаточно только засеять поля, чтобы через несколько недель получить урожай сторицей. Приходится скликать рабочих со всех концов России, чтобы собрать слишком обильную жатву. Все закрома, все амбары в

стране переполнены. Всегда остается пшеница, которую некуда девать. Коротко говоря, урожай одного счастливого года вполне вознаграждает земледельца за все потери долгих неудачных годов.

Если проследить различные периоды развития литературы в России, то, кажется, действительно можно установить явление того же порядка. Ее история в нашей стране еще не слишком длинна. Она едва насчитывает два столетия. Тем не менее всякий, изучающий эту историю на протяжении столь короткого времени, не может не быть поражен контрастом между эпохами великой скудости и поражающим плодородием. Годы, непосредственно предшествовавшие или следовавшие за годом 1825, производят впечатление годов наиболее благоприятных для рождения гениальных писателей. Тургенев, Достоевский, Толстой, Некрасов, Гончаров, Салтыков (Щедрин) и г-жа Крестовская — все ровесники с разницей в пять или шесть лет, и все родились в эту эпоху.

Три первых имени хорошо известны во Франции, четыре последних не пользуются или, лучше сказать, пока еще не пользуются той же известностью. Но в России так привыкли соединять эти имена, что для русского почти невозможно назвать одно имя и не представить себе сразу всю плеяду целиком. Это потому, что авторы, которых я только что назвала, характеризуют и воплощают всю эпоху нашей литературной жизни. Хотя у каждого из них есть своя собственная, индивидуальная манера письма, их всех объединяет нечто общее, какой-то один и тот же родной воздух. И поэтому, мне думается, легко понять, что они выросли в одну и ту же эпоху, в окружении одной и той же культуры и социальной среды.

Быть может, теперь их литературную деятельность следует считать почти законченной. Тургенева, Достоевского и Некрасова нет больше в живых. Гончаров и Крестовская уже много лет не создавали ничего значительного. Толстой отрекся от литературы и пишет только народные сказки или философские статьи.

Только Щедрин сохранил до самого последнего времени свою [творческую] мощь и производительность, тем более замечательные, что уже давно страдал тяжелой мучительной болезнью. И вот теперь смерть заставила умолкнуть его язвительную и насмешливую речь, быть может, единственную, которая осмеливалась звучать в

наше время в защиту свободной мысли и бичевала эгоистические и реакционные настроения, все более и более захватывающие русское общество и русскую литературу.

Глубокая и неподдельная скорбь, охватившая всю Россию при известии о смерти Салтыкова, огромная толпа, шедшая за его гробом, тысячи венков, присланных на его могилу из самых отдаленных уголков империи царей,— все это свидетельствует о том, как ценили великого писателя в его стране и какую пустоту он оставил после себя.

Щедрин действительно занимал совсем особенное место среди своих собратьев. Он один воплощал то, что наиболее редко встречается в России,— свободный порыв критической мысли. Но хотя многие произведения Щедрина переведены на французский язык, он не встретил во Франции того понимания, как Тургенев, Толстой и Достоевский. Эта холодность иностранцев к писателю, столь высоко ценимому у себя на родине, зависит, я думаю, от двух основных причин и, прежде всего, объясняется самим жанром его произведений.

Правда, Щедрин проявил самые разнообразные художественные способности. Он начал стихами; его роман «Господа Головлевы» доказывает, что у него несомненно были данные крупного романиста: живое и пылкое воображение, способность перевоплощаться в своих персонажей, большая утонченность в анализе характеров. Тем не менее, настоящим жанром Салтыкова была всегда сатира, оправленная фантастикой, подобная сатире Рабле. А этот жанр более чем какой-либо другой связан с родной почвой. Слезы всюду одинаковы, но у каждого народа своя манера смеяться. Вот почему и Рабле, в свою очередь, будет понят вполне только французом.

В России очень изощренно и сочувственно воспринимают все красоты, все тонкости французской литературы. Не однажды у нас прозревали исключительность французского писателя раньше, чем он был признан у себя. И что же! Даже в России вы с трудом найдете человека, который правильно понимал бы Рабле.

Другая причина, почему Щедрина не совсем легко понять иностранцу, заключается, если воспользоваться его собственным выражением, в его совершенно особом «эзоповском языке», которым он принужден был пользоваться. Не нужно забывать, что Щедрин писал в же-

лезных тисках русской цензуры. Если он садился за свой письменный стол, едва он только опускал перо в чернильницу и располагался писать, как тотчас ему представлялся красный карандаш цензора, угрожающе занесенный над его рукописью.

Долгой практикой Щедрин выработал невероятную ловкость в уменье избегать штрихов этого страшного карандаша. Трагический смех, которому он охотно придавал характер простонародного издевательства, не раз прикрывал его дерзкие выходки, и благодаря этому скрытому смыслу, часто, впрочем, весьма явному, умел он маскировать свою мысль. Ничего не говоря явно, он заставлял все понять.

Но какова бы ни была ловкость писателя, такая манера письма невозможна, если читатель не получил совершенно особой подготовки. Поразительно, как умеют читать между строк в России! Нечто вроде незримого единения и таинственного понимания установилось между публикой и любимым автором.

Как пример писательской манеры Щедрина я хочу напомнить один из лучших его рассказов — «Больное место». Это история сыщика, наказанного в лице своего сына. Представьте сыщика, почти не понимающего, что он делает. Очень бедный, в начале своей карьеры очень робкий, привыкший с детства гнуть спину перед другими, он по стечению бедственных обстоятельств был принужден поступить в тайную полицию. Когда он очутился там, ему только оставалось слепо выполнять приказания своего начальства. Ему приказали стать сыщиком, и он исполнял эту должность, не позволяя себе ни рассуждать, ни возражать, с тем же рачительным и усердствующим послушанием, с каким выполнял любое поручение своего начальника. Он не был злым, наоборот, в глубине его мало развитой души много нежности и даже, не удивляйтесь — деликатности.

Гнусное ремесло, которым он занимается, неоднократно внушает ему отвращение, но он настолько проникнут необходимостью повиноваться и подчиняться, что это отвращение совершенно инстинктивно; он сам относится к нему как к слабости и изо всех сил старается его преодолеть и заглушить: «Великий боже, до чего мы дойдем, если каждый подчиненный будет обсуждать приказания начальства».

Однажды он встретил на своем пути юную сироту,

столь же бедную, смиренную и робкую, как он сам; он женился на ней, и они жили своей замкнутой жизнью, достаточно счастливой по существу, хотя всегда боязливой, всегда трепещущей перед какой-то угрозой неведомой и страшной силы, которая каждую минуту может их раздавить.

Несколько лет у супругов не было детей; наконец у них родился сын. Столь долгожданный ребенок стал всем для своего отца, который берег его, как зеницу ока. Но странно: по мере того, как отец все более и более привязывался к сыну, возрастало его инстинктивное отвращение к своему занятию. Тем не менее, он по привычке продолжал быть деятельным и бдительным. Он даже отличился в блестящем деле — напал на след весьма опасного заговора, и денежная награда, которую он получил за эту ценную услугу, обеспечивала ему, вместе с прежними сбережениями, некоторое благополучие. К тому времени его отвращение к своему ремеслу так усилилось, что он воспользовался этим неожиданным доходом, чтобы подать в отставку и уйти в личную жизнь. С женой и сыном он удалился в глухую провинцию и поселился в маленьком домике в глубине большого, заросшего зеленью сада.

Здесь они живут спокойно, окруженные уважением. Отец сосредоточивает на единственном сыне все богатство своей глубокой любви и нежности, столь долго скрытое в его сердце; он живет его жизнью, участвует в его росте и развитии; он обретает новую душу, соприкасаясь с чистой душой ребенка. Думая о нем, он преисполнен гордости и честолюбивых мечтаний, чего никогда не испытывал по отношению к самому себе. Он хочет, чтобы его сын получил хорошее образование, чтобы все дороги в жизни были открыты перед ним, чтобы сын его не был червем, которого каждый может раздавить, как это было с ним самим.

Иногда воспоминания о прошлой жизни сыщика возвращаются к нему, как приступы скверной, отвратительной тошноты; тогда он изо всех сил старается доказать себе самому, что вовсе не был виновен: «К чему, в конце концов, упрекать себя? Если он был слепым орудием гибели многих людей, — вина падает не на него. Эти люди устраивали заговоры против правительства, его начальник поручил ему наблюдать за ними, он исполнял только свой долг, стараясь открыть их тайны и осведо-

мить правительство о них. То, что произошло с ними потом, его не касается. Это дело его начальства».

Но все эти хитроумные рассуждения не мешают ему при каждом воспоминании о прошлом быть охваченным боязнью — как бы сын не узнал об этом когда-нибудь.

Однажды он случайно встречает одного из своих старых товарищей по службе, который почти насильно навязывается к нему в гости и, выпив стаканчик, начинает вспоминать об их прошлом: «Помнишь, папаша, как нам повезло в 1871 г.? Ну, право, смешно, когда вспомнишь, как мы их накрыли!»

Сын, уже большой мальчик, слушает, устремив на незнакомца большие детские глаза, строгие и вместе с тем любопытные. Растерявшийся отец не знает, как удалить ребенка или заставить замолчать втершегося болтуна и тупицу; он чувствует, как его сердце переполняется невыносимым стыдом и ужасной безнадежностью.

Однако на этот раз мальчик еще ничего не понял. Но годы текут, и мальчик растет. У него развивается характер матери — кроткий и нежный, несколько печальный и склонный к меланхолии, но он гораздо одареннее духовно. Он развивается свободно в атмосфере окружающей его ласки и нежности; он обожает своего отца и очень любит науку. Когда ему исполнилось 17 лет, он, с аттестатом зрелости в кармане, просит отца отпустить его в Петербургский университет — продолжать свое образование. Отец, который ни в чем не умеет отказывать сыну, принужден согласиться, испытывая в то же время тайный страх и предчувствие большой опасности, угрожающей ему.

И действительно — неизбежная катастрофа не замедлила разразиться. Имя отца пользовалось печальной известностью, еще не забытой в Петербурге. Вскоре после поступления в университет молодой человек узнает, что он сын бывшего сыщика; среди его друзей встречаются даже сыновья тех, которых предал его отец.

В один зимний вечер, когда бедный отставной сыщик спокойно дремлет в своем углу, мечтая о сыне, тот появляется перед ним: он внезапно вернулся из Петербурга, никого не предупредив о своем приезде.

— Правда ли, что рассказывают о тебе, отец?! — Вот первый вопрос, с которым он обращается к старику, и тому достаточно только взглянуть на искаженное лицо сына, чтобы понять, что должно произойти.

«Вот мой судья»,— думает он, трепеща перед нежно любимым сыном. Все же он делает усилие защищаться; он излагает все доказательства, которые подготовлял столько лет, как бы в предчувствии этого ужасного момента, когда ему придется оправдываться перед своим сыном. Но он видит, что эти доказательства не производят никакого впечатления на молодого человека, на любимом лице он видит непроизвольное и непреодолимое отвращение. Тогда несчастный отец перестает доказывать, он разражается рыданиями, и у сына не хватило сил упрекнуть его.

Но что же теперь делать сыну, как дальше жить? Он не может вернуться в университет и подвергаться оскорблениям со стороны товарищей. Один из них действительно написал ему, чтобы побудить его вернуться: «Все еще может уладиться,— писал он,— дети не отвечают за преступления своих отцов; но если имеют несчастие быть сыном такого отца, как твой, то от него отрекаются — вот и все. Ты сам понимаешь, что пока будут известны твои хорошие отношения с отцом-сыщиком, тебе невольно не будут доверять. Но если ты его покинешь, расстанешься с ним совсем, тебя примут с распростертыми объятиями».

Отречься от своего отца! Отца, который был так добр, так предан ему и, тем не менее, был виновником того, что столько других сыновей осталось без отцов! Наш герой никогда не решится на это. Но, с другой стороны, как жить, подвергаясь всю жизнь презрению со стороны тех, с мнением которых он больше всего считается?

Несчастный находит единственный выход из этой внутренней борьбы: он пускает себе пулю в сердце. Он пишет своему отцу несколько весьма холодных прощальных слов и кончает с собой.

Бывший сыщик остается один во всем мире. Наказание за его несознательное преступление поразило его в больное место.

Такова мрачная драма, которую Щедрин развернул перед нами. Но чтобы рассказать о ней в России, он должен был проявить немало ловкости. Он принужден был сообщить о ней иначе, чем я изложила ее. Ему пришлось сделать это со всевозможной изворотливостью. На всем протяжении рассказа он ни разу не употребляет таких слов, как «сыщик» и «тайная полиция». Он говорит о занятиях отца неопределенно и таинственно. Но

русский читатель, даже мало образованный, не может ошибиться. Он отлично понимает, что этот рассказ — история сыщика, и ни минуты не сомневается в характере таинственных преступлений, содеянных отцом.

Но представьте себе, что этот рассказ переведен на французский язык без комментариев, без предварительных объяснений. Десять шансов против одного, что читатели ничего не поймут.

Говоря в своих «Театральных впечатлениях» о переделанной для французской сцены Луи Лежандром пьесе Шекспира «Много шума из ничего», Жюль Леметр пишет, что он всегда в восторге, когда утонченные люди переделывают и исправляют Шекспира для своих надобностей. Не думаю, чтобы я захотела согласиться с мнением Леметра относительно Шекспира, но я убеждена, что есть много авторов, которые в их собственных интересах, так же как в интересах читателей, не могут быть представлены иностранной публике, не будучи, по выражению Леметра, «просмотренными и объясненными утонченно мыслящими людьми».

Щедрин безусловно принадлежит к числу таких авторов. Читая его рассказы, сатиры и сказки, я не нахожу ни одного, даже среди тех, которыми я наиболее восхищаюсь, который бы я хотела видеть переведенным на французский язык буквально. Но я была бы счастлива, если бы нашелся какой-нибудь французский писатель, понявший Щедрина так, как понимаем его мы, русские, и который взял бы на себя труд истолковать его своим соотечественникам.

Особенно заслужил Щедрин право быть известным и оцененным во Франции, потому что всю жизнь он выражал самую горячую симпатию к этой стране, которую считал в известной степени своим духовным отечеством. Французская литература, идеи, перекинувшиеся [в Россию] из Франции, имели самое могущественное влияние на развитие его дарования и его политических убеждений. Когда Щедрин начинал свою литературную деятельность (1847), все русские молодые люди жили, устремив взоры на Францию.

Вот как рассказывает об этом сам Щедрин в статье «За рубежом», представляющей нечто вроде исповеди или автобиографии: «Я в это время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам. Но не к боль-

шинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которые занимались популяризированием положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и, в особенности, Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любовное — все шло оттуда.

В России, — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге, — мы существовали лишь фактически, или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». Но духовно мы жили во Франции... Гизо и Дюшатель и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дуббельт), успех которых огорчал, неуспех — радовал... Агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, февральские банкеты — все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера».

Салтыков родился в 1826 г. в богатой помещичьей семье, владевшей несколькими тысячами душ крестьян.

Часто думают, что именно от матерей сыновья наследуют свои интеллектуальные и моральные качества — большинство знаменитых людей имело замечательных матерей. Участь Салтыкова в этом отношении почти такова же, как и участь Тургенева. Оба имели матерей, принадлежавших к типу сильных женщин, и оба сильно страдали в детстве от материнского деспотизма, о котором они сохранили злобное воспоминание на всю жизнь и запечатлели его в своих произведениях. Тем не менее, мать Тургенева, как ни была она настойчива, фанатична, требовательна, как ни привыкла заставлять всех преклоняться перед ее волей, все же отличалась прекрасными манерами, известной утонченностью и оставалась аристократкой, несмотря на все.

Что касается матери Салтыкова, то она была так называемая «бой-баба», женщина очень одаренная, обладавшая исключительным практическим умом, но совершенно лишенная моральных качеств. Очень богатая, она доводила свою бережливость до степени гнусной скупости, создала тяжелую жизнь для своего мужа, детей и

крепостных, изгнала из своего быта всякие признаки комфорта и благосостояния и упростила свое существование до степени единственного главного занятия — возможно большего накопления.

Крепостное право было в полном расцвете в детские и юношеские годы Салтыкова, и потому не удивительно, что воспоминания об этой печальной системе занимают значительное место в его произведениях. Но в то время, как значительное число авторов, с Тургеневым во главе, посвятило много красноречивых страниц описанию жалкой участи угнетенных крестьян, Салтыков очень много писал о гибельном и унизительном влиянии, которое оказывало крепостное право на самих господ. С этой точки зрения его роман «Господа Головлевы» — произведение в высшей степени замечательное.

Так же, как и «Ругон-Маккары», этот роман может быть снабжен подзаголовком «естественная и социальная история одной семьи», потому что там перед нашими глазами развертывается моральный упадок и постепенная гибель трех поколений помещиков, гибель, определенная законами наследственности и накопившимся воздействием нездоровых и деморализующих влияний.

Говоря об этом романе, я не могу не отметить его любопытного сходства, наверное непреднамеренного, с романами Золя. Уже неоднократно говорили о символизме Золя. В каждом из его произведений всегда участвует нечто неодушевленное, близкое, образующее не только основу романа, но и выполняющее в нем в известном смысле ту же функцию, как судьба в греческой трагедии. Таковы сад в «Преступлении аббата Муре», мина в «Жерминале», собор в «Мечте». Это «нечто» связано самыми тесными узами с историей действующих лиц, но оно заранее определяет все их бытие, не зависящее от их воли, определяет неизбежно и непоправимо.

В романе русского писателя вы подметите такой же символизм. Это — Головлево — наследственное имение семьи Головлевых, играющее роль роковой и зловещей силы. Старинный помещичий дом, просторный, торжественный и мрачный, который расплющивает своей тяжелой каменной массой жалкие крестьянские избы, расположенные вокруг него,— олицетворяет систему крепостного права. Эта помещичья усадьба, на которую так зарятся все члены семьи Головлевых, становится проклятием для каждого из них. Благодаря тяжелому рабскому тру-

ду возрастает материальное благосостояние Головлевых; их богатство растет, их владения расширяются. Но для чего все это нужно? Одно поколение за другим жалко погибает в стенах проклятого дома.

«Хороши наши дела! Головлево всех нас слопает! Никому не уцелеть!» — с отчаянием восклицает Аннинька, последний отпрыск этой несчастной семьи, перечисляя про себя целую кучу своих дедов, дядей и других родственников, которые вырывали Головлево друг у друга, перекупали его и все окончили там свои дни, некоторые самоубийством, другие в безумии или белой горячке.

Этот замечательный роман занимает особое место в творчестве Салтыкова. Большая часть других его произведений посвящена изображению нравов и привычек чиновничества. Благодаря долголетнему личному опыту ему были хорошо известны различные части огромной русской бюрократической машины.

Салтыков учился в Царскосельском лицее. Каждое учебное заведение подобного типа обычно хранит традиции какой-нибудь знаменитой личности, вышедшей из его стен, и память о ней связана с особым культом. В Царскосельском лицее наш великий поэт Пушкин играет роль гения-хранителя. Каждый воспитанник этого лицея полон гордости, думая о том, что Пушкин принадлежит к числу его старших товарищей, и исключительное почитание, которым окружен поэт в лицее, является причиной того, что поэзия там в большой моде. Мало насчитывается воспитанников, которые не пробовали бы писать стихи, и Салтыков, в свою очередь, не избежал этой общей участи. Тотчас же после выхода из лицея он напечатал маленький сборник лирических стихотворений, большая часть которых написана в лицее, — все они, впрочем, довольно посредственны.

Сам Салтыков довольно скоро признал, что лирическая поэзия — не его удел. Принужденный матерью поступить на службу в министерство внутренних дел мелким чиновником, он не захотел, тем не менее, побороть свою непреодолимую склонность к литературе и выступил через год с произведением совсем особым. В «Запутанном деле», напечатанном в 1848 г. под псевдонимом Щедрин, который он сохранил на всю жизнь, уже чувствуется великий сатирик. Этот рассказ, содержащий печальные сетования по поводу судьбы мелких

чиновников в России, произвел впечатление. К несчастью, он появился как раз в ту пору, когда ограничительные для печати правила свирепствовали с исключительной силой.

«И вот, вслед за возникновением движения во Франции,— вспоминает Салтыков,— произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы». Несмотря на вымышленное имя, за которым укрылся автор «Запутанного дела», он был скоро опознан, и высылка в Вятку, город, расположенный на окраине европейской России, на границе Сибири, увенчала его первый литературный успех. Только через семь с половиной лет, в 1855 г., после смерти Николая и восшествия на престол Александра II, Щедрин мог вернуться в Петербург.

Хотя он был в опале, но службы не оставил и продолжал в Вятке исполнять обязанности мелкого чиновника. Вынужденное пребывание в далекой провинции несомненно было для него скорее полезно, чем приятно, так как дало ему возможность увидеть воочию все ужасы, все злоупотребления, весь произвол бюрократической системы, которая в провинции совершенно обнажена, без всякой заботы о той благопристойности, какую считают для себя обязанными соблюдать в Петербурге.

Возвратившись в столицу, Салтыков с жаром занялся литературой и опубликовал свои «Губернские очерки», которые сразу обеспечили ему почетное место среди первых русских писателей.

Среди чисто сатирических произведений Щедрина, быть может, «История одного города» — на самом деле беспорядочно шумная история российской империи — есть его значительное произведение, которое никогда не утратит своего интереса для будущих поколений. Действующие лица, вызвавшие в данном случае его сатирическое вдохновение, столь хорошо известны и так легко могут быть узнаны, что все намеки автора всегда будут хорошо поняты и оценены.

Этого нельзя сказать про его другие произведения. Далеко не одна страница, написанная Салтыковым, требует уже и теперь комментариев даже в России. В связи с этим его известность сильно пострадает. Изменения в образе правления точно так же сделают менее ощутимыми уколы его сатиры. Но его имя останется в исто-

рии не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли.

Щедрин действительно жил только своим временем, но как хорошо сказал Гёте:

«Кто жил для своего времени, тот жил для всех времен».

*Париж, июнь 1889 г.*

## ПРИШЛОСЬ ЛИ...

Пришлось ли раз вам безучастно,
Бесцельно средь толпы гулять
И вдруг какой-то песни страстной
Случайно звуки услыхать?
На вас нежданною волною
Пахнула память прежних лет,
И что-то милое, родное
В душе откликнулось в ответ.
Казалось вам, что эти звуки
Вы в детстве слышали не раз,
Так много счастья, неги, муки
В них вспоминалося для вас.
Спешили вы привычным слухом
Напев знакомый уловить,
Хотелось вам за каждым звуком,
За каждым словом уследить.
Внезапно песня замолчала
И голос замер без следа.
И без конца и без начала
Осталась песня навсегда.
Как ненавистна показалась
В тот миг кругом вас тишина.
Как будто с болью оборвалась
В душе отзывная струна!
И как назойливо, докучно
Вас все напев тот провожал;
Как слух ваш, воле непослушный,
Его вам вечно повторял!

Вот выступали из забвенья
Размер, слова, обрывки фраз,
И вам казалась на мгновенье
Вся песнь понятною для вас.
Но вдруг опять все уносилось,
И так осталось навсегда
Загадкой то, что говорилось
В той песне, смолкнеи без следа...
Ужель и наша встреча с вами
Бесследно также промелькнет?
Блеснула миг перед глазами
И вновь во мраке пропадет.
Нас случай свел, и может снова
Нас тот же случай развести,
И равнодушно и сурово
Друг другу скажем мы: прости!
Что что-то в нас звучит родного,
Нам вдруг почудилось на миг;
Но не сказали мы ни слова,
Как будто скован был язык.
И так без слез, без сожаленья
Разлуку можем мы принять,
И лишь порою из забвенья
Ваш образ будет восставать.
Как будто в дымку облеченный
Ко мне он будет приходить
И все загадкой нерешенной
Меня тревожить и дразнить.
Пока из памяти не сгладит время
Когда-то милые черты,
И сердце вновь покорно примет бремя
Холодной вечной пустоты.

## ЕСЛИ ТЫ В ЖИЗНИ...

Если ты в жизни хотя на мгновенье
Истину в сердце твоем ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Что бы, в решенье своем неизменном,
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновенье священном
Вечно храни, как святыню, в груди.

Тучи сберутся громадой нестройной,
Небо покроется черною мглой —
С ясной решимостью, с верой спокойной
Бурю ты встреть и померься с грозой.
Лживые призраки, злые виденья
Сбить тебя будут пытаться с пути;
Против всех вражеских козней спасенье
В собственном сердце ты сможешь найти;
Если хранится в нем искра святая,
Ты всемогущ и всесилен, но знай,
Горе тебе, коль, врагам уступая,
Дашь ты похитить ее невзначай!
Лучше бы было тебе не родиться,
Лучше бы истины вовсе не знать,
Нежели, зная, от ней отступиться,
Чем первенство за похлебку продать.
Ведь грозные боги ревнивы и строги,
Их приговор ясен, решенье одно:
С того человека и взыщется много,
Кому было много талантов дано.
Ты знаешь в писанье суровое слово:
Прощенье замолит за все человек;
Но только за грех против духа святого
Прощения нет и не будет вовек.

## <13 АПРЕЛЯ>

Вот весна; теплом пахнуло.
И конец зиме холодной.
Лед прошел, раскрылись реки,
И Нева течет свободно.
Дождь и солнце друг за другом
Угощают пешехода.
Говорят, непостоянна,
Как апрельская погода.
Вечера, концерты, балы
Надоесть уже успели.
И теперь другие думы
На душе у всех засели.
О деревне да о дачах
Всюду слышны разговоры.
В хлопотах отцы семейства,
Всюду счеты, шум да сборы.

Но престранно и преглупо
Создала меня природа.
[Жалко мне зимы суровой,
И весенняя погода
В нервах с болью возбуждает
Порыванья и томленье.]
Не прельщает меня вовсе
Эта светлая погода,
И весны душистой, свежей
Не люблю я приближенье.
В теле вялость, в чувствах смута
И в крови тогда броженье.
С порываньями поладить
Воля слабая не может,
И червяк какой-то тайный
Сердце гложет, гложет, гложет.
В голове так много мыслей
Неотвязчивых, унылых.
Вспоминаешь все невольно
О разлуке, о могилах.
Как на зло еще к тому же
Мимо нашего жилища
Все покойников провозят
На Смоленское кладбище.
Только выглянешь в окошко,
Вот везут уже два гроба.
Сколько мрет их в эту пору!
Просто смех берет и злоба.
Нет, статистика не даром
Очень точно вычисляет,
Что весна к самоубийствам
Всех людей располагает.
Если мне придет охота
Счеты кончить все с собою,
То, наверно, это будет
Не иначе, как весною.
Это солнце, эта нега...
А в душе так больно-жутко.
Верно, Лермонтов весною
Назвал жизнь пустою шуткой.

Сказка старая на память
Неотступно мне приходит.
Кто герой, кто героиня,

Где та сказка происходит,
Я сама сказать не в силах.
Вижу дом просторный, древний,
Сад запущенный тенистый,
Видно, барская деревня.
У открытого балкона
Вся семья сидит за чаем.
Воздух, в комнату врываясь,
Пахнет свежестью и маем.
Самовар шипит уныло,
И скрипят часы стенные.
Вокруг свечки суетливо
Вьются бабочки ночные.
По стенам проходят тени.
Так причудливо, так странно.
Из дверей соседней залы
Льются звуки фортепьяно.
Вот герой и героиня
Тихо в сад с балкона сходят,
По аллеям темным сада
Рука об руку проходят.
Оба молоды, счастливы,
Смех беспечен их и звонок.
Он едва оставил школу,
И она почти ребенок.
Жизнь влечет, манит обоих.
Оба чувствуют так живо.
Жизни, страсти и волненья
Оба ждут нетерпеливо.
Бродят все они по саду
В бесконечных разговорах.
Сколько прелести и счастья
В этих толках, в этих спорах.
Занимают их вопросы
О значении народа,
И слова волнуют
Равноправность и свобода.
О себе, о личном счастье,
О любви — они ни слова,
Их уста хранят стыдливо
Тайну сердца молодого.
Но слова тут и не нужны,
Без того так чувства живы,
И полна душа так счастьем,

И кипит так кровь бурливо.
Что на сердце у другого —
Без того ведь каждый знает.
И в устах их речь невольно
Тихо гаснет, замирает.
Так идут они в молчанье
По дорожкам темным сада,
Незаметно обвевает
Их вечерняя прохлада.
Шепот трепетный проходит
В листьях тополи душистой.
И конца нет соловьиной
Трели звонкой, серебристой.

Но другую уж картину
Вижу я перед глазами.
Церковь сельская простая
Вся блестит, горит огнями.
Вот идут жених с невестой,
Стали вместе у налоя.
И обводит их священник
Вокруг церкви за собою.
У крыльца уже карета
Новобрачных ожидает,
Вот уж сели — понеслися,
Только пыль столбом взлетает.
Все знакомые местечки
Промелькнули чередою,
Лип тенистая аллея
С глаз сокрылась за горою.
Старый сад и пруд, и рощи
Вдалеке уж все остались,
Лишь на башенке старинной
Флаги ярко развевались.
На горе стоит дом старый,
Ярким светом весь облитый,
И глядит вслед за четою
Так угрюмо, так сердито.
Окна блещут и сияют,
Словно очи огневые,
Но не жалко героине
Оставлять места родные.
И не мил ей, и не дорог
Вид родимого селенья,

Вызывает он в ней только
Неприязнь и озлобленье.
Вспоминаются ей годы
Жгучих, страстных порываний,
И борьбы, глухой и тайной,
И подавленных желаний.
Перед ней картины рабства
Вьются мрачной вереницей,
Рвется вон она из дома,
Словно пленник из темницы.
Вот теперь пора настала
Променять мечты на дело,
И вперед она взирает
Так уверенно, так смело.
Не пугает ее вовсе
Незнакомая дорога.
В ее сердце много веры
И надежд в душе так много.
Но опять передо мною
Изменилася картина.
Город чистенький немецкий.
Замок — старая руина.
Горы мягких очертаний,
Зелень сочная каштана —
Все подернуто прозрачной,
Синей дымкою тумана.
Океан кругом зеленый,
Небо синее так ярко,
И на небе прихотливо
Видны башни, видны арки.
А в долине, меж горами,
Город старый и ученый,
Опоясан весь садами,
Словно лентою зеленой.
Целый день души не видно
В переулках запустелых,
Но в них вечером мелькают
Много шапок красных, белых;
Псы огромные прохожих
Оглушают громким лаем.
Этот город для студентов
Настоящим служит раем
И зовется не напрасно
Он рассадником науки.

## АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь припомнить, следующим образом. У меня был дядя, брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский, живший в 20 верстах от нашего имения, в своем селе Рыжаково. Человек уже пожилой, он все свое хозяйство передал своему единственному сыну и, имея много свободного времени, часто приезжал к нам и живал у нас по целым месяцам. Дядя был в полном смысле слова идеалист и во многих отношениях человек, что называется, не от мира сего. Образование он получил домашнее, но, тем не менее, обладал очень обширными и разнообразными, хотя, как и большинство самоучек, недостаточно солидными познаниями, которые приобрел исключительно благодаря своей любознательности, без всякой посторонней помощи и с самой неосновательной элементарной подготовкой.

Любимым его занятием и единственным наслаждением, которое ему осталось от жизни, было чтение. В этом отношении его привлекала наша деревенская библиотека.

Он читал без разбору и с одинаковым удовольствием все, что попадалось под руку, — и романы, и исторические очерки, и научно-популярные статьи, и ученые трактаты. От природы чрезвычайно доброго и мягкого характера, он до безумия любил детей. При этом, хотя в то время и 60-летний старик, он сам обладал душою ре-

бенка. Таким образом, несмотря на разницу наших лет, у меня завязалась с дядею самая тесная, почти товарищеская дружба. Меня тянули к нему его рассказы; он же, витая всегда в области фантазии, зачастую забывал, что перед ним ребенок, и, чувствуя необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, изливал передо мною свою душу. Как теперь помню многие и долгие часы, которые мы проводили вместе в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и библиотека. Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот, в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно не понятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.

Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней, случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения.

Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев не хватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности и присущей вообще русским людям лени все откладывали в долгий ящик. А время, между тем, шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочного за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в палибинском доме имеется

масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления.

Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записи лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского, которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской. В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное,— я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное. Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А. Н. Страннолюбского, то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: «Вы так поняли, как будто знали это наперед». И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.

Первоначальным систематическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. Это было так давно, что я теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием. Но несомненно, что они произвели на меня большое влияние и имели важное значение в моем развитии.

В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что в

первое время, когда я начинала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. По всей вероятности, благодаря влиянию дяди Петра Васильевича, меня более занимали разные отвлеченные рассуждения, например, о бесконечности. Да и вообще, в течение всей моей жизни, математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда представлялась мне наукою, открывающею совершенно новые горизонты.

Кроме арифметики Малевич преподавал мне также элементарную геометрию и алгебру. Только ознакомившись несколько с этою последнею, я почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами.

Увидя во мне такое направление, отец мой, имевший вообще сильное предубеждение против ученых женщин, решил, что надо прекратить мои уроки математики у Малевича. Однако мне удалось кое-как выпросить у Иосифа Игнатьевича книгу «Курс алгебры Бурдона», который я стала прилежно изучать. Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу под подушку и затем, когда все засыпали, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась по целым ночам.

При таком положении вещей я, разумеется, не смела мечтать о продолжении правильных занятий моим любимым предметом, и моим математическим познаниям, вероятно, надолго пришлось бы остановиться в пределах алгебры Бурдона, если бы мне не помог следующий случай, побудивший моего отца несколько изменить свой взгляд на мое образование.

Наш сосед по имению, профессор Тыртов, привез нам как-то свой элементарный учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему огорчению, в отделе об оптике встретила тригонометрические формулы, синусы, косинусы, тангенсы. Что такое синус? Перед этим вопросом я становилась в тупик и для разрешения загадки попробовала обратиться к Малевичу. Но так как это не входило в его программу, то он ответил мне, что не знает, что такое синус. Тогда, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить сама. При этом, по странному совпадению, я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти сов-

падут друг с другом. А так как у Тыртова во все формулы входили только бесконечно малые углы, то, при взятом мною основном определении, эти формулы отлично сходились. На этом я и успокоилась.

Затем, через несколько времени, когда у меня зашла речь с Тыртовым по поводу его книги, то он сперва усомнился в том, чтоб я могла ее понимать, и на мое заявление, что я прочла ее с большим интересом, сказал: «Ну, вот и хвастаетесь». Но когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем. Тогда, после некоторого колебания, отец мой согласился взять мне в учителя А. Н. Страннолюбского, с которым мы вслед за тем принялись успешно за работу и в течение зимы прошли аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления.

В следующем году я вышла замуж за В. О. Ковалевского и вскоре после этого мы уехали за границу, но там снова разъехались в разные стороны. Я отправилась в Гейдельберг, чтобы продолжать занятия математикою, а он поехал в другой университет учиться своей специальности — геологии...

Из Гейдельберга я поехала в Берлин, но тут па первых порах меня встретило разочарование... Столица Пруссии оказалась... отсталою. Несмотря на все просьбы и старания, мне не удалось получить в Берлине разрешение посещать университет.

Тогда... во мне принял участие... профессор Вейерштрасс. Благодаря отзыву обо мне гейдельбергских профессоров, а также видя, что я имею хорошую подготовку и серьезно желаю учиться, а не просто из пустой моды, он предложил мне заниматься со мною частным образом. Занятия эти имели в высшей степени важное влияние па всю мою математическую карьеру. Они окончательно и бесповоротно определили то направление, которому я следовала в дальнейшей научной деятельности, и все мои работы сделаны именно в духе вейерштрассовских идей.

Самого Вейерштрасса я считаю одним из величайших математиков всех времен и бесспорно самым замечательным из ныне живущих. Он дал всей математике совер-

шенно новое направление и создал не только в Германии, но и в других странах целую школу молодых ученых, которые идут по намеченному им пути и развивают его идеи.

Слушая лекции Вейерштрасса, я в то же время стала готовиться к достижению докторской степени. Но так как двери Берлинского университета были для меня, как для женщины, закрыты, то я решила обратиться в Геттинген. По правилам немецких университетов для получения степени доктора требуется, кроме экзамена, еще представление научной работы, так называемой «Inaugurale dissertation»*. Вейерштрасс предложил мне для разработки несколько тем, и я за два года своего пребывания в Берлине, вместо одной, требуемой по правилам, работы сделала целых три, а именно: по чистой математике — «О дифференциальных уравнениях с частными производными» и «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим» и третью астрономическую — «О форме колец Сатурна».

Все эти работы я и представила в Геттингенский университет. Они были признаны настолько удовлетворительными, что университет, вопреки установившимся правилам, нашел возможным освободить меня от экзамена и публичной защиты диссертации, что, в сущности, составляет только одну формальность, и прямо присудил мне степень доктора философии — «Summa cum laude»**.

В то же время первая из упомянутых моих работ, под заглавием «Zur Theorie der partiellen Differenzialgleichungen»***, была напечатана в журнале Крелля («Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik»****). Это честь, которой удостаиваются далеко не многие математики и которая для начинающего ученого очень велика, так как этот журнал в то время считался самым серьезным математическим изданием в Германии. В нем тогда принимали участие лучшие научные силы, а в прежние времена в нем помещали свои труды такие ученые, как, например, Абель и Якоби. Моя астрономическая работа «О форме колец Сатурна» была напеча-

* «Вступительная диссертация».

** «С высшей похвалой» *(лат.)*.

*** «К теории дифференциальных уравнений в частных производных» *(нем.)*.

**** «Журнал Крелля для чистой и прикладной математики» *(нем.)*.

тапа лишь много лет спустя, а именно в 1885 г., в журнале «Astronomische Nachrichten»*.

В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что меня еще научно несколько поддерживало,— это переписка и обмен мыслей с моим милым учителем Вейерштрассом.

В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Вскоре после моего возвращения в России возникла газета «Новое время». Мой муж был хорошо знаком с издателем газеты, и мы, таким образом, попали в кружок «Нового времени». Я пробовала в этой газете свои литературные силы в качестве театрального рецензента.

В 1882 г. я опять уехала за границу и с тех пор живу там почти постоянно, только изредка, на короткий срок, приезжаю по делам в Россию. За свою жизнь я перебывала во многих городах и странах, так что могу сказать, что, за исключением Италии и Испании, с Европой знакома хорошо. Всего же лучше, кроме Швеции, я знаю Париж. Там я была много раз, да и теперь большею частью провожу свои каникулы во Франции.

Вернувшись за границу, я снова энергично принялась за науку, от которой отдыхала столько лет в России. Прежде всего я поехала в Париж, где познакомилась с тамошними выдающимися математиками, между прочим, с знаменитым Hermit'ом, а также из молодых с Poincaré и Picard'ом. Эти два последние, по моему мне-

* «Астрономическое обозрение» *(нем.)*.

нию, самые талантливые из нового поколения математиков во всей Европе.

Тогда же я принялась за новую большую работу «О преломлении света в кристаллах». Вообще в математике на самостоятельные исследования в большинстве случаев приходится наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых. Так и я была наведена на эту тему изучением работ французского физика Lamé.

Моя работа была доведена до конца в 1883 г. и произвела некоторое впечатление в математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще не достаточно разъяснен; я же рассмотрела его с другой, совершенно новой точки зрения.

Этот свой мемуар я поместила в 1884 г. в молодом, начавшем только с 1882 г. свое существование журнале «Acta Mathematica». Хотя «Acta» и издаются в Швеции, но, тем не менее, это издание вполне международное, так как оно получает субсидию не только от шведского короля, но и от иностранных государств, в том числе от французского правительства, а также от Германии, Дании и Финляндии. В настоящее время [1890 г.] по ученому значению это один из самых крупных математических журналов. В нем состоят сотрудниками самые выдающиеся ученые всех стран и затрагиваются самые, так сказать, жгучие вопросы, которые всего более привлекают внимание современных математиков. При этом часто бывает, что одним и тем же вопросом занимаются несколько человек зараз. Вообще условия издания серьезного математического журнала совсем иные, чем других периодических изданий. Поэтому и «Acta Mathematica» выходят в свет не в заранее определенные сроки, а по мере того, как накопляется материал, назревают новые вопросы и являются их решения. Обыкновенно в год выходит два тома.

Кроме моей работы «О преломлении света в кристаллах» в «Acta Mathematica» помещены и некоторые другие мои статьи, в том числе в 1883 г. там напечатана вторая из представленных мною еще в 1874 г. в Геттингенский университет диссертация «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим».

Все мои ученые труды написаны на немецком или на французском языках. Я владею ими наравне с родным русским. Но в математических работах язык играет

весьма несущественную роль. Тут главное — содержание, идеи, понятия, а затем для выражения их у математиков существует свой язык — это формулы.

В начале 1880-х годов в Швеции стал развиваться недавно основанный там Стокгольмский университет. В эту пору я была уже достаточно известна в математическом мире как своими работами, так и чрез личное знакомство почти со всеми выдающимися европейскими математиками. Особенно часто приходилось мне встречаться и в Берлине и в Париже с главным математиком и нынешним ректором Стокгольмского университета, профессором Миттаг-Леффлером, одним из лучших учеников нашего общего учителя Вейерштрасса.

И вот в 1883 году меня пригласили в Стокгольм читать лекции математики. По поводу этого я хочу сказать несколько слов об истории возникновения молодого Стокгольмского университета.

До тех пор в Швеции был древний университет в Упсале, существующий уже несколько сот лет. Он страдает теми же недостатками, которые замечаются почти во всех старых университетах в маленьких городах. В них жизнь как будто застыла, и все осталось в том же виде, как было несколько столетий тому назад. Профессора живут там совершенно замкнутою, почти средневековою жизнью, которая мало способствует развитию новых плодотворных идей. При этом неизбежным образом является, как и в русских провинциальных университетах, некоторое кумовство, и профессора тянут друг друга за руку.

Во избежание всего этого стала ощущаться потребность в призыве новых сил, и общественное мнение, которое в Швеции имеет весьма большое значение, стало требовать основания университета в столице. Хотя в Швеции жизнь вообще чрезвычайно проста, но там есть много богатых людей, которые охотно жертвуют крупные суммы на общественные дела. Лишь бы было сочувствие в обществе, а средства найти легко. Этот факт невольно поражает всякого иностранца, приезжающего в Швецию. Почти о всяком тамошнем учреждении приходится слышать, что оно возникло на частные пожертвования. То же было и с Стокгольмским университетом. В числе причин, заставляющих желать учреждения нового университета, немаловажное место занимало также и неудобство для многих семейств, живущих в Сток-

гольме, посылать молодых людей сравнительно довольно далеко от себя, в Упсалу. Таким образом, сперва дело имело чисто индивидуальный характер. Несколько лиц соединились и общими силами стали собирать необходимые средства. Но затем, когда общественное мнение стало высказываться сильнее, то и правительство, а главным образом городская дума решили принять участие в общем деле и постановили принять на себя половину всех необходимых расходов. При этом, однако, правительство не взяло на себя роли распорядителя судьбою будущего университета, и вопрос о том, как ему следует развиваться, был предоставлен самому обществу.

С самого начала за основную идею было принято, что университет должен быть свободен. За образец были взяты немецкие университеты, в которых преподавание ведется совершенно свободно. Там, например, для слушания лекций совсем не требуется представления документов. Впоследствии, для получения степени доктора, надо представить различные документы, но слушать лекции может беспрепятственно всякий, внеся за это известную установленную плату. При этом к слушанию лекций допускаются и женщины на совершенно одинаковых правах с мужчинами.

Экзамены, имеющие повсеместно такое важное значение, здесь не обязательны. К тому же в настоящее время сам университет не достиг еще полного своего состава (пока открыты только два факультета) и до этого не имеет права выдавать ученых степеней.

Преподавание не делится, подобно тому, как в России, на курсы с определенною программою, а дело ведется применительно к контингенту слушателей. Часто к нам приезжают, чтобы слушать лекции и пользоваться советами профессоров — и такими слушателями мы всего более дорожим,— лица, бывшие уже в других высших учебных заведениях и даже получившие ученые степени, например, в Унсале, Лунде. Много молодых людей приезжают также из Финляндии: из них некоторые — кандидаты Гельсингфорского университета, и даже некоторые из лучших наших учеников были финляндцы.

Учебный год распадается на два семестра, разделенных друг от друга каникулами. За несколько времени до начала каждого семестра мы, профессора, собираем-

ся и обсуждаем, какие лекции назначить на предстоящий семестр.

В настоящее время в Стокгольмском университете насчитывается свыше 200 слушателей, мужчин и женщин. Из этого числа в прошлом году около одной трети принадлежали к лучшим шведским фамилиям. Вообще наша университетская молодежь великолепная, и отношения студентов между собою и к профессорам самые задушевные.

Многие из наших бывших учеников уже принялись за самостоятельную деятельность. Так, двое состоят доцентами в Гельсингфорском университете, а один читает лекции в Высшем техническом училище. Также одна наша ученица получила место преподавателя в старших классах мужской гимназии и теперь дает уроки 15—16-летним юношам.

В первое время после моего приезда в Швецию я предложила на выбор читать лекции по-немецки или по-французски. Большинство слушателей пожелало, чтобы я читала по-немецки. Но через год я уже была в состоянии читать лекции по-шведски. Это не представило для меня особенных трудностей, так как по приезде я сразу попала в шведское общество и стала брать уроки шведского языка.

На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем через год меня назначили ординарным профессором, которым я и состою с 1884 г. Кроме чтения лекций, на мне лежит также обязанность участвовать в заседаниях совета и я имею право голоса наравне с прочими профессорами. Жалованье ординарному профессору у нас полагается 6000 крон в год (крона на немного больше германской марки: 700 крон — 1000 франков). Я читаю четыре лекции в неделю, т. е. два дня по два часа подряд. Так как я излагаю очень специальные вопросы, то слушателей у меня не особенно много: человек 17—18.

За год моего пребывания в Швеции я много и серьезно работала. Между прочим, там я написала самую важную из моих математических работ, за которую получила премию от Парижской Академии наук. В этой работе я исследовала вопрос «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести». Он имеет весьма большое значение и, между прочим, обнимает собою теорию маятника. В то же время

это один из самых, так сказать, классических вопросов в математике. К его решению прилагали усилия величайшие умы, в том числе Эйлер, Лагранж и Пуассон. Но, несмотря на это, он еще далеко не решен вполне, и мы знаем только немного случаев, для которых найдено вполне строгое его математическое решение. Вообще в истории математики можно указать на немного вопросов, которые, подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего решения и к которым было бы приложено столько же лучших сил и упорного труда, не приводивших в большинстве случаев к существенным результатам. Недаром среди немецких математиков он носит название «Die mathematische Nixe»*.

Эта задача всегда сильно меня интересовала, и я уже с давних пор, чуть ли не со времен своего студенчества, стала пробовать над нею свои силы. Но долгое время все мои труды оставались бесплодными, и только в 1888 году усилия мои увенчались успехом. Поэтому можно себе представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед.

В том же 1888 году Парижская Академия наук назначила конкурс на соискание премии, которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела». При этом было поставлено непременным условием, чтобы в сочинении были усовершенствованы или дополнены в каком-либо существенном отношении добытые до настоящего времени знания в этой области механики.

В то время я уже достигла главных результатов моей работы. Но пока они были еще только у меня в голове. А так как вопрос, который я решила, вполне подходит к заданной Парижскою Академиею теме, то я еще с большим усердием принялась за работу, чтобы успеть к назначенному сроку привести в порядок весь материал, разработать детали и написать это сочинение.

Когда все это было благополучно окончено, я послала свою рукопись в Париж. При этом, по условиям конкурса, она должна была быть послана анонимно, т. е. я написала на ней девиз и затем приложила к ней

* «Математическая русалка» *(нем.)*.

запечатанный конверт, внутри которого было мое имя, а сверху надписала тот же девиз. Таким образом, при оценке представленных работ авторы их оставались неизвестными.

Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15, но достойною премии была признана моя. Но этого мало. Ввиду того, что та же тема задавалась уже три раза подряд и каждый раз оставалась без ответа, а также вследствие важности достигнутых мною результатов, Академия постановила назначенную первоначально премию в размере 3000 франков увеличить до 5000 франков. После этого был вскрыт конверт, и все узнали, что я автор этого труда. Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по этому поводу заседании Академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями.

Как я уже сказала раньше, я поселилась в Швеции с 1883 года, и за это время так освоилась с тамошнею жизнью, что чувствую себя там как дома. Стокгольм очень красивый город, и климат в нем довольно недурен, только весна бывает неприятна.

У меня большой круг знакомых и мне приходится часто бывать в обществе. Даже езжу ко двору.

Что касается шведского общества, то я должна сказать, что образованная часть его мало отличается от общества петербургского; но если взять все общество, то в Швеции оно стоит, конечно, неизмеримо выше, чем в России.

Отличительная черта шведов — чрезвычайное добродушие и мягкость, которые развились у них, я думаю, потому, что в их истории никогда не было гнета. У них, правда, существуют партии, но борьба их принимает мягкие формы: как-то не замечаешь желания насолить друг другу. Всего яснее проявляется национальный характер в отношениях Швеции к Норвегии. Первая в большинстве случаев делает уступки последней, так что Норвегия, которая некогда была присоединена к Швеции, в настоящее время признана во всех отношениях равноправною.

Король Оскар — милый и образованный человек. В молодости своей он посещал университетские лекции

и теперь еще обнаруживает известный интерес к науке, хотя я и не поручусь за глубину его знаний. Лично с университетом он не имеет ничего общего, но очень сочувствует ему и весьма дружелюбно относится к профессорам вообще и в частности ко мне. В политическом отношении он проявляет общие всем шведам черты: мягкость и уступчивость. Так, например, в последней, так называемой министерской, истории, когда произошли по некоторым делам разногласия между королем и министерством, и кончились тем, что уступил король.

*29-го мая 1890 г., Спб.*

# Примечания

## ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА[1]

Впервые напечатано на шведском языке в книге: Sonja Kovalevsky. Ur ryska lifvet. Systvarna Rajevski. Öfversältning frän manuskript af Wolborg Hedberg. Stockholm. z. Heqqströms förlagsexpedion... 1889, 277 s. (Соня Ковалевская. Из русской жизни. Сестры Раевские. С рукописи автора перевел Вальборг Хедберг. Стокгольм, издательство и книготорговля С. Хегстрёма, 1889, 277 с.)

На русском языке опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1890, № 7 (главы I—V, за подписью «С. Ковалевская»), № 8 (главы VI—X, за подписью «Софья Ковалевская»).

Позднее «Воспоминания детства» вошли в издание: «Литературные сочинения С. В. Ковалевской». Спб., 1893.

«Воспоминания детства» были переведены на английский, французский, немецкий, польский, чешский, голландский, датский, японский и другие языки.

### I. Первые воспоминания

Стр. 28. *«...висит крюк на воротах Крюковского...»* — Фамилия отца С. В. Ковалевской В. В. Корвин-Круковского писалась поразному: 1) Крюковский (в юности С. В. Ковалевская подписывалась: Крюковская). До сих пор жители Палибино (б. Великолукская область), где находилось имение Василия Васильевича, называют его Крюковско́й. 2) Круковский — так отмечено в метрической записи о рождении Софьи Васильевны («полковник

[1] При подготовке примечаний частично использованы комментарии к изданию: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., Наука, 1974.

артиллерии Василий Васильевич Круковский»). 3) Корвин-Круковский — в деле «О дворянстве Корвин-Круковских», хранящемся в Центральном государственном историческом архиве, Василий Васильевич именуется сначала Круковским, а потом Корвин-Круковским.

Стр. 28. *Отец мой служил в артиллерии...* — В. В. Корвин-Круковский (1801—1875) окончил Петербургское артиллерийское училище. С 1819 по 1858 год служил в армии. В середине 1850-х годов командовал Московским артиллерийским гарнизоном. Был широко образованным человеком, встречался со многими известными деятелями науки, искусства, литературы.

Стр. 29. *...когда мы жили в Калуге.* — С 1855 по 1858 год отец С. В. Ковалевской служил в Калуге.

*...сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше...* — Сестра С. В. Ковалевской Анна Васильевна Корвин-Круковская (1843—1887) известна как общественная деятельница и писательница. Ее произведения высоко ценил Ф. М. Достоевский, поддерживавший с Анной Васильевной дружеские отношения.

В 1869 году вместе с сестрой и ее мужем В. О. Ковалевским уехала за границу. В Париже, куда она вскоре переехала, вышла замуж за члена Интернационала Виктора Жаклара. Во время Парижской коммуны ухаживала за ранеными, принимала участие в организации народного обучения, вместе с Луизой Мишель выпускала афиши.

*...брат Федя...* — Федор Васильевич Корвин-Круковский (1855—1919) окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Служил в одном из министерств.

### II. <Воровка>

Эта глава в журнальном тексте «Воспоминаний детства» и в «Литературных сочинениях» (1893) печаталась без названия. Заглавие восстановил С. Я. Штрайх на основании рукописи повести С. В. Ковалевской «Воровка», хранящейся в архиве АН СССР, содержание которой составляет рассказ о швее Марии Васильевне и девочке Феклуше, живших в семье Корвин-Круковских.

Стр. 36. *Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку...* — В. В. Корвин-Круковский вышел в отставку в 1858 году, когда С. В. Ковалевской было восемь лет.

*...ходили слухи о предстоящей «эманципации»...* — Речь идет о предполагавшемся освобождении крестьян от крепостной зависимости.

### III. <Мисс Смит>

В журнальной публикации и в тексте «Литературных сочинений» (1893) глава печаталась беа названия. Впервые заголовок дан С. Я. Штрайхом в книге: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма (1845).

Стр. 51. *...гувернера поляка...* — Речь идет о первом учителе С. В. Ковалевской Иосифе Игнатьевиче Малевиче (1813—1898). Он был хорошо образованным человеком и обучение вел по широкой программе, давая глубокие и прочные знания. О своей жизни в Палибино и занятиях с С. В. Ковалевской рассказал в «Воспоминаниях», опубликованных в «Русской старине» (1890, № 12).

*Гувернер... на воспитание мое имел мало влияния.* — В «Автобиографическом рассказе» С. В. Ковалевская писала иначе, а именно, что уроки Малевича «имели важное аначение» в ее развитии.

### IV. Жизнь в деревне

Стр. 56. *...хрестоматия Филонова...* — С. В. Ковалевская имеет в виду книгу «Русская хрестоматия, с примечаниями. Для высших классов средних учебных аaведений. Составил Андрей Филонов» (Спб., 1863).

Стр. 57. *«Ундина»* — поэтическая переработка одноименной повести немецкого романтика французского происхождения Ф де ля Мотт-Фуке (1777—1843), сделанная В. А. Жуковским (1837), пользовавшаяся большой популярностью среди русских читателей.

Стр. 61. *...отец вплоть до старости продолжал относиться к*

*ней, как к ребенку.*— Подробно об отношениях отца и матери С. В. Ковалевской рассказано в книге С. Я. Штрайха «Семья Корвин-Круковских» (М., 1933). Там же приведены обширные записи из дневника Елизаветы Федоровны Корвин-Круковской (1820—1879).

### V. Мой дядя Петр Васильевич

Стр. 63. «Revue des deux Mondes» — французский научно-популярный журнал.

Стр. 64. *...этот каналья Наполеошка...*— французский император Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт) (1808—1873).

*Бисмарк* Отто фон Шенхаузен (1815—1898) — рейхсканцлер Германской империи. Осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе, один из основателей Тройственного союза (1882), направленного против России и Франции.

*...немного не дожив до 1870 года...*— Речь идет о поражении Франции во франко-прусской войне 1870—1871 годов.

*...что Поль Бер придумал?* — По всей вероятности, имеются в виду исследования известного французского физиолога Поля Бера (1833—1886) «О прививке животных» (1863) и «О живучести животной ткани» (1866).

*Сиамские близнецы* — Чанг и Энг (1811—1874) — родившиеся сращенными в области грудины.

Стр. 65. *...о брошюре Гельмгольца...*— С. В. Ковалевская говорит о работе выдающегося немецкого физика, математика и естествоиспытателя Германа Гельмгольца (1821—1894) «О законе сохранения сил».

*...об опытах Клода Бернара...*— Речь идет об исследованиях знаменитого французского физиолога Клода Бернара (1813—1878), автора «Лекций по физиологии и патологии нервной системы» (1858).

Стр. 71. *Остроградский* Михаил Васильевич (1801—1861) — русский математик, член Петербургской Академии наук, автор ряда работ по математическому анализу.

Стр. 72. *Страннолюбский* Александр Николаевич (1839—1903) — известный русский педагог и общественный деятель,

автор многих учебников и руководств по математике. С. В. Ковалевская брала у него уроки математики в 1866—1868 годах.

## VII. Моя сестра

Стр. 79. *...вспыхнуло польское восстание...*— Имеется в виду восстание в Польше, начавшееся в 1863 году. Оно было жестоко подавлено царским правительством.

Стр. 83. Soeur Anne, Soeur Anne! — из сказки Карля Перро (1628—1703) «Синяя борода» (1697).

*...удивительно экзальтированный роман «Гаральд».* — По всей вероятности, имеется в виду роман английского писателя Э. Д. Бульвер-Литтона (1803—1873) «Гарольд, последний из саксонцев» (1848), хотя развязка в этом произведении совсем иная, чем в изложении С. В. Ковалевской.

Стр. 87. «Imitalion de Iésus Christ» («Подражание Христу») — религиозно-нравоучительное произведение, созданное в начало XV века и приписываемое монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471).

## VIII. <Нигилизм Анюты>

В журнальном варианте и в «Литературных сочинениях» эта глава названия не имеет. Заголовок дан С. Я. Штрайхом при подготовке издания «Воспоминания и письма» (1945).

Стр. 90. *...какая-то мифическая коммуна, которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге.*— Речь идет о знаменитой так называемой «Знаменской коммуне» (1863—1864), основанной писателем-демократом Василием Алексеевичем Слепцовым (1836—1878).

Стр. 93. *...многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь.*— Речь идет о Н. Г. Чернышевском, Н. А. Добролюбове, В. А. Слепцове. Их имена названы в шведском издании «Воспоминаний» (1889).

*«Русский вестник»* — литературный и политический журнал, издававшийся в Москве М. Н. Катковым (1818—1887) с 1856 года. Вначале являлся органом умеренного дворянского либерализма.

В начале 1860-х годов и особенно после польского восстания 1863 года журнал повел ожесточенную борьбу против прогрессивных течений в общественном движении и в литературе, выступал против Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена.

Стр. 94. *«Эпоха»* — литературный и политический журнал, издававшийся братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими в 1864—1865 годах вместо закрытого в 1863 году журнала «Время» (1861—1863).

*«Современник»* — журнал, основанный в 1836 году А. С. Пушкиным. С 1847 года выходил под руководством Н. А. Некрасова. После того как в 1854 году в журнале начал сотрудничать Н. Г. Чернышевский, а в 1856 году — Н. А. Добролюбов, «Современник» стал органом революционной демократии, последовательно проводившим идеи крестьянской революции. В июне 1862 года царское правительство приостановило издание журнала на 8 месяцев, а в 1866 году после третьего предупреждения закрыло навсегда.

*«Русское слово»* — литературно-ученый журнал, выходивший с 1859 года (с 1863 года — литературно-политический журнал). Редактировал журнал (с 1860 г.) Г. Е. Благосветлов (1824—1880). Являлся органом радикальной разночинной интеллигенции. Закрыт одновременно с «Современником» в 1866 году.

*«Колокол»* — революционная газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым с 1857 по 1865 год в Лондоне, а с 1867 по 1868 год — в Женеве. На его страницах А. И. Герцен вел последовательную борьбу против крепостного права и самодержавия.

*«Физиология жизни».* — Имеется в виду работа английского философа и физиолога Д.-Г. Льюиса (1817—1878) «Физиология обыденной жизни», изданная на русском языке в 1861—1862 годах.

*«История цивилизации».*— Речь идет о книге известного английского историка Г.-Т. Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии» (в 2-х т.). На русском языке вышла в 1862—1863 годах.

## IX. Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты

Стр. 100. *...я почти слово в слово могу передать его.*— Подлинник письма Ф. М. Достоевского не сохранился.

*...рассказ ваш будет мною... напечатан в будущем же № моего журнала...*— Рассказ Анны Васильевны Корвин-Круковской «Сон» опубликован в августовском номере журнала «Эпоха» (1864). Содержание его пересказано С. В. Ковалевской не совсем точно.

Стр. 102. *...графиню Растопчину.*— Евдокия Петровна Растопчина (1811—1858) — русская поэтесса. О стихах Е. П. Растопчиной положительно отзывался В. Г. Белинский. В конце своего творчества выступала с реакционных позиций.

Стр. 104. *...стихи Добролюбова.* — Речь идет о стихотворении Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало» («Современник», 1862, № 1). Цитата из него приведена не совсем точно.

*Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой...*— Имеется в виду повесть А. В. Корвин-Круковской «Послушник», которая была опубликована в девятом номере журнала «Эпоха» за 1864 год под названием «Михаил» (название было заменено по требованию духовной цензуры).

Стр. 105. *...которого видела тогда очень часто.*— Во второй половине 1870-х годов С. В. Ковалевская часто встречалась с Ф. М. Достоевским в Петербурге.

Стр. 109. *...обещал ей лично с ним познакомиться.*— Знакомство В. В. Корвин-Круковского с Ф. М. Достоевским так и не состоялось

## X. Знакомство с Ф. М. Достоевским

В рукописи эта глава названа «Мое знакомство с Федором Михайловичем Достоевским».

Стр. 113. *...пришла весть о помиловании.*— Подробно об этом в рассказе Ф. М. Достоевского, приведенном в главе «<О Достоевском>» (печатается в настоящем издании).

Стр. 116. *Вспомнил он, как однажды...*— Этот рассказ использован Ф. М. Достоевским в девятой главе романа «Бесы» (до революции он не включался в основной текст романа).

Стр. 117. *...одного министра...* — Речь идет о Д. А. Милютине (1816—1912), генерал-фельдмаршале, военном министре в период с 1861 по 1881 год, с которым семья Корвин-Круковских поддерживала дружеские отношения.

*...неизбежный ингредиент жизни...* — В данном случае — неизбежная составная часть их жизни. Ingredientis *(лат.)* составная часть какого-нибудь сложного соединения.

Стр. 118. *Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов...* — Речь идет об Андрее Ивановиче Косиче (1833— ? ), полковнике Генерального штаба. Выступал в печати с публицистическими статьями и материалами мемуарного характера. С С. В. Ковалевской поддерживал родственные отношения.

Стр. 121. — *Пушкин действительно устарел для нашего времени...* — В этом суждении А. В. Корвин-Круковской, несомненно, чувствуется влияние взглядов Д. И. Писарева на творчество великого поэта, изложенных в статье «Пушкин и Белинский» (1865).

Стр. 125. *...не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...* — О своем знакомстве с семьей Корвин-Круковских и о сватовстве к Анне Васильевне Ф. М. Достоевский рассказал своей жене Анне Григорьевне. Он, в частности, говорил: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981, с. 101).

Стр. 126. *Хотя мне и было всего 13 лет...* — С. В. Ковалевской было тогда пятнадцать лет.

Стр. 130. *...согласилась пойти за него замуж.* — Это письмо Ф. М. Достоевского не могло быть написано «шесть месяцев спустя». Ф. М. Достоевский сделал предложение А. Г. Сниткиной в начале ноября 1866 года, в феврале следующего года состоялось бракосочетание.

*...в конце своего письма.* — С Ф. М. Достоевским сестры

Корвин-Круковские поддерживали дружеские отношения до самой смерти писателя (1881), а позднее с его женой А. Г. Достоевской.

### ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В РУССКОЕ ИЗДАНИЕ «ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА» 1890 г.

### <Палибино>

Эта глава впервые была опубликована в шведском издании «Воспоминаний детства» («Systrarn Rajevski» 1889, гл. VII). На русском языке в переводе С. Вл. Ковалевской (дочери С. В. Ковалевской) напечатана в кн. «Воспоминания и письма» (1951). Название главы дано С. Я. Штрайхом. В переводе имена шведской повести заменены: Раевские — на Корвин-Круковские, Таня — на Соню. Другие имена оставлены без изменения, так как они соответствуют русскому изданию «Воспоминаний детства».

### <Кузен Мишель>

Эта неоконченная глава впервые опубликована в издании: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести (М., Наука, 1974), по рукописи, хранящейся в архиве Академии наук СССР (ф. 768, оп. 1, № 24).

Стр. 157. *...перевод Шпильгагенского романа «Один в поле не воин»...* — Роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829—1911) на русском языке появился в 1867 году. В нем выражена мысль о невозможности даже выдающейся личности бороться за социальные преобразования общества без поддержки масс. Роман пользовался большой популярностью среди радикально настроенной русской молодежи в 1860—1870-х годах.

### <О Достоевском>

Глава не закончена. Она не включалась в журнальную публикацию «Воспоминаний детства» (1889). В несколько сокращенном виде вошла в шведское издание, где имена и фамилии членов семьи Корвин-Круковских были несколько изменены. Полностью по рукописи, хранящейся в архиве Академии наук СССР (ф. 708,

оп. 1, № 4), напечатана в издании «Воспоминания и письма» (М., 1945 и 1951).

Несомненно, что при написании этой главы С. В. Ковалевская использовала не только свои впечатления о встречах с великим писателем, но и воспоминания самого Ф. М. Достоевского, включенные им в «Дневник писателя», а также воспоминания других лиц, появившиеся к тому времени в печати (А. П. Милюкова и др.).

Стр. 158. *...с появлением в свет его первого романа «Бедные люди».*— Роман был опубликован в «Петербургском сборнике» Н. А. Некрасова в 1846 году.

*Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии... затем достигший такого блестящего расцвета в сочинениях Гоголя...* — С. В. Ковалевская, по всей вероятности, имела в виду «натуральную школу», то есть новый этап в развитии русского критического реализма, связанного с творческими традициями Н. В. Гоголя и эстетическими взглядами В. Г. Белинского.

*...в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ».*— Не совсем точно: Н. В. Гоголь сжег вторую часть своего произведения. Третья не была им написана.

Стр. 158, 159. *В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки... Душою этого кружка были Сенковский и Кукольник...*— Осип Иванович Сенковский (1800—1858) — журналист, профессор арабистики, писатель, печатался под псевдонимом «Барон Брамбеус». Произведения О. И. Сенковского резко критиковал В. Г. Белинский. Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — писатель, поэт, драматург, глава «ложно-величавой школы» (И. С. Тургенев), автор ходульных, лжепатриотических произведений.

Стр. 159. *...издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения».*— Редактировал журнал (1834—1856) О. И. Сенковский. Н. В. Кукольник лишь сотрудничал в нем. «Библиотека для чтения» (1834—1865) — первый в русской литературе тип «энциклопедического журнала», был рассчитан преимущественно на провинциального читателя из среды мелкопоместного дворянства, городское мещанство и чиновничество. Журнал занимал реакционные позиции, выступал против «Современника»

А. С. Пушкина, вел борьбу против В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского.

Стр. 160. *Были годы, когда он имел до 50 000 подписчиков...*— «Библиотека для чтения» действительно пользовалась большой популярностью в 30—40-е годы XIX века. Однако ее тираж не превышал 7000 экземпляров, хотя и эта цифра для того времени была весьма значительной.

*Он явился к Белинскому... с кипою ассигнаций, полученных им от отца... На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник»...*— История создания обновленного «Современника», рассказанная С. В. Ковалевской со слов Ф. М. Достоевского, изложена не совсем точно. Издание «Современника» было предпринято Н. А. Некрасовым и писателем И. И. Панаевым (1812—1862), который и предоставил необходимые деньги. Н. А. Некрасов в это время необходимых средств для издания журнала не имел и никаких денег от отца не получал.

Стр. 161. *Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный...*— Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899)—известный русский писатель, автор повестей и романов о жизни крестьян (повести «Деревня», «Антон-Горемыка» были высоко оценены В. Г. Белинским), сотрудничал в некрасовском «Современнике».

*Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский—все кончили свои годы учения, ни один из них еще не вступил на литературное поприще...*— Не все эти сведения достаточно точны. Имя И. С. Тургенева к тому времени уже было известно в литературе. Его первые поэтические произведения появились в печати еще в конце 1830-х годов. В начале 1840-х годов Тургенев опубликовал несколько поэм: «Параша» (1843), «Разговор» (1845), «Андрей» (1846) и около трех десятков стихотворений. В прозе Тургенев начал выступать с 1844 года (повесть «Андрей Колосов»). Одновременно с «Бедными людьми» Ф. М. Достоевского в «Петербургском сборнике» были напечатаны повесть Тургенева «Три портрета» и поэма «Помещик».

*...Достоевский своих «Бедных людей»... послал в «Современник».*— Рукопись «Бедных людей» Ф. М. Достоевский передал Н. А. Некрасову, который готовил к изданию «Петербургский

сборник», где повесть и была опубликована. Излагая далее историю появления «Бедных людей», С. В. Ковалевская почти дословно повторяет рассказ об этом самого Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» (январь 1877 г.).

Стр. 161. *«Всю ночь... провел я в разгуле...»*— В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский говорил о том, что в эту ночь он с пристрастием читал «Мертвые души» Н. В. Гоголя.

Стр. 163. *В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен.*— Как уже отмечалось выше, И. С. Тургенев начал печататься еще в конце 1830-х годов. В 1847 году были опубликованы его рассказ «Хорь и Калиныч» и повесть «Бреттер». Первое произведение И. А. Гончарова «Обыкновенная история» появилась в мартовской и апрельской книжках «Современника» за 1847 год. А. И. Герцен впервые выступил в печати в 1836 году. В 1847 году вышел в свет отдельным изданием его роман «Кто виноват?» (впервые опубликован в журнале «Отечественные записки», 1845, № 12 и 1846, № 4).

*Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье...*— Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821—1866) — общественный деятель, социалист-утопист, организатор тайного общества (1845—1849), на собраниях которого обсуждались социалистические теории и общественно-политические вопросы. Члены общества выступали против крепостного права, самодержавного деспотизма, цензурного гнета.

Шарль Фурье (1772—1837) — великий французский социалист-утопист, выступавший с критикой буржуазного общества, утверждал необходимость создания государства, состоящего из объединений свободных людей (фаланги), в которых каждый человек имел бы право на свободный труд.

Стр. 164. *Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского.*— С М. В. Петрашевским Ф. М. Достоевский познакомился в начале 1846 года, а с весны следующего года стал посещать заседания его кружка. Военный суд, судивший петрашевцев, обвинил Ф. М. Достоевского «в чтении преступного письма литератора В. Г. Белинского (имеется в виду письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю.— *Н. Я.*), наполненного дерзкими выражениями

против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней типографии» и приговорил его «лишить... чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Николай I заменил этот приговор четырьмя годами каторжных работ и солдатчиной.

Стр. 164. *Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы.*— Ф. М. Достоевский провел на каторге четыре года и пять лет прослужил в Сибирском линейном батальоне № 7.

Стр. 167. *...стоявшему рядом со мной товарищу.*— Речь идет о петрашевце Сергее Федоровиче Дурове (1816—1859).

### Нигилистка

Впервые опубликована на шведском языке в книге: Kovalevsky Sonja. Vera Vorontzoff. Berëttelse urruska lifvet. Stockholm, 1892. На русском языке повесть была напечатана в том же 1892 году в Женеве с предисловием М. М. Ковалевского (без его подписи): Sophje Kovalevscka. Une nihiliste. Нигилистка. Софьи Ковалевской. Женева. Вольная русская типография, 1892.

В таком же виде повесть была переиздана два раза известным книгоиздателем М. К. Элпидиным (1835—1908) в Женеве в 1895 и 1899 годах.

В России повесть смогла появиться в печати только в 1906 году: Ковалевская С. Нигилистка. Роман из эпохи 60—70-х годов. Изд. П. В. Кохманского. Москва, 1906. Это издание вышло с разрешения дочери С. В. Ковалевской Софьи Владимировны с пометкой: «Литературный гонорар пожертвован наследницей автора в пользу административных политических заключенных».

«Нигилистка» издавалась на французском, немецком, польском и чешском языках.

Стр. 172. *...была... в редакции одного нового... журнала, где и мне было предложено сотрудничать.*— С. В. Ковалевская сотрудничала не в журнале, а в газете «Новое время» (1868—1917), издававшейся А. С. Суворным, в то время еще либеральным журналистом. Муж С. В. Ковалевской Владимир Онуфриевич

в 1876—1877 годах был одним из редакторов «Нового времени». С. В. Ковалевская писала для «Нового времени» научные статьи и театральные рецензии.

Стр. 172. *...только что открывшихся Высших женских курсов...*— Высшие женские курсы были открыты в Петербурге в 1878 году.

Стр. 173. *...— Я Вера Баранцова.*— Прототипом В. Баранцовой является Вера Сергеевна Гончарова (род. в 1850 г.), дочь С. Н. Гончарова, брата жены А. С. Пушкина Натальи Николаевны. С. В. Ковалевская была хорошо знакома с В. С. Гончаровой и поддерживала с ней дружеские отношения.

Стр. 182. *Но вот наступило... 19 февраля.*— День подписания Александром II манифеста об освобождении крестьян. Оглашен манифест был лишь 5 марта 1861 года, а в провинции еще позднее.

Стр. 183. *Ie pense involontairementà 89...*— Имеется в виду Великая французская революция 1789 года.

Стр. 184. *Храм воздыханья, храм печали...*— Не совсем точная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» (1857).

У Некрасова: Храм воздыханья, храм печали,
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!

Стр. 193. *...старый номер «Детского чтения»...*— Журнал «Детское чтение» издавался в Москве в 1865 году под редакцией Г. Ф. Головачева.

Стр. 205. *Это было... после Каракозовского покушения.*— Студент Д. В. Каракозов стрелял в Александра II 4 апреля 1866 года.

Стр. 219. *Мы начинали читать с вами Спенсера.*— Спенсер Герберт (1820—1903) — английский ученый, философ, социолог и психолог.

Стр. 233. *...в «Правительственном вестнике»...*— Газета «Правительственный вестник» выходила в Петербурге с 1869 года. Это был официальный орган, возникший по инициативе министра внутренних дел А. Е. Тимашева, на страницах которого в числе различных правительственных распоряжений печатались отчеты о политических процессах.

Стр. 234. *...сообщество политических преступников в числе*

*семидесяти пяти человек.*— Имеется в виду большой процесс, или процесс 193-х, пропагандистов-народников, происходивший в Петербурге в октябре 1877 — январе 1878 года. С. В. Ковалевская присутствовала на заседаниях суда.

Стр. 234. *...ссылки в Сибирь Чернышевского...*— Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 года и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В мае 1864 года был отправлен на каторжные работы в Сибирь, сначала в Кадайский рудник, а затем в Александровский завод. После 1871 года отбывал ссылку в Вилюйске. Разрешение вернуться в Европейскую Россию Н. Г. Чернышевский получил лишь осенью 1883 года.

*...изобразил Тургенев в романе «Новь».*— Роман «Новь» был напечатан в журнале «Вестник Европы» (1877, кн. I—II).

Стр. 239. *...студент-медик Павленков...*— Прототипом Павленкова является студент Медико-хирургической академии И. Я. Павловский (1853—1924), привлекавшийся по делу 193-х.

Стр. 242. *...присуждены были к каторге сроком от пяти до двадцати лет. Павленкову... назначена была высшая мера наказания.*— Согласно приговору И. Я. Павловскому было зачтено предварительное заключение, и он был освобожден. Позднее за участие в демонстрации по случаю вынесения оправдательного приговора В. И. Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, Павловский был сослан в Архангельскую губернию, откуда бежал за границу.

Стр. 246. *...для самых опасных существует Алексеевский равелин...*— секретная тюрьма в Петропавловской крепости, где содержались наиболее важные политические преступники.

В Алексеевском равелине в разное время содержались декабристы, Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов, Н. А. Серно-Соловьевич и многие другие революционеры. Упразднен в 1880 году.

### <Нигилист>

Такое название своей повести о Н. Г. Чернышевском намеревалась дать сама С. В. Ковалевская. Впервые опубликовано в книге: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести, М. Наука, 1974.

Стр. 260. *Марья Павловна Репина...*— Под ее именем в повести выведена жена Н. Г. Чернышевского Ольга Сократовна. Однако многие обстоятельства ее жизни С. В. Ковалевская сознательно изменила.

Стр. 266. *С этого дня стал Михаил Гаврилович...*— Под именем Михаила Гавриловича Чернова в повести изображен Николай Гаврилович Чернышевский.

Стр. 270. *Редакция, вместе с квартирой главного редактора Чернова...*— Редакция журнала «Современник» помещалась в квартире Н. А. Некрасова на Литейном проспекте, 36. Квартира Н. Г. Чернышевского находилась на Большой Московской ул., в доме № 4.

Стр. 272. *Число подписчиков... достигает теперь небывалой цифры — 25 000!*— Журнал «Современник», возглавляемый Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, действительно пользовался огромной популярностью. Однако наибольшее количество подписчиков составляло (в 1861 г.) 7826, цифра для того времени очень большая.

Стр. 273. *...один из них был Петр Степанович Залесский...*— Существует мнение, что под этим именем выведен польский поэт А. В. Залесский, брат близкого друга С. В. Ковалевской революционерки М. В. Мендельсон. Однако в «Современнике» А. В. Залесский не сотрудничал.

Стр. 274. *Это был Степан Александрович Слепцов...*— Речь идет о революционном демократе, писателе Василии Алексеевиче Слепцове (1836—1878), сотруднике «Современника», авторе очерков и рассказов о крестьянстве и повести «Трудное время» (1865). Далее в повести он именуется Алексеем Степановичем.

Стр. 279. *...первая глава повести Слепцова...*— С. В. Ковалевская имеет в виду повесть В. А. Слепцова «Трудное время», первые главы которой были опубликованы в «Современнике» значительно позднее (в 1865 г.) описываемых событий.

*Новая поэма Некрасова «Плач детей, 1861»...*— Речь идет идет о стихотворении Н. А. Некрасова «Плач детей» (1860).

*...теперь печатался новый роман Шпильгагена «От мрака к свету»...*— Произведения под названием «От мрака к свету» у Шпильгагена нет.

Стр. 279. *Его статья «Логика истории»...*— Статьи под таким названием у Н. Г. Чернышевского нет.

Стр. 280. *...Россия в день своего тысячелетия, которое она через два года собирается праздновать.*— Празднование тысячелетия России состоялось в 1862 году.

*...им разрешен доступ на университетские лекции...*— Первые женщины были допущены в Петербургский университет в качестве вольнослушательниц в 1860 году. Однако после студенческих волнений в 1861 году женщинам снова было запрещено посещать лекции.

Стр. 282. *...Надя Суслова...*— Речь идет о Надежде Прокофьевне Сусловой (1843—1918)— первой русской женщине, получившей диплом врача. С. В. Ковалевская была хорошо знакома с Н. П. Сусловой.

Стр. 283. *...происшествие на университетском дворе... приняло размеры исторического события.*— Речь идет о студенческих беспорядках осенью 1861 года в Петербургском университете, вызванных намерением правительства ввести новые правила, согласно которым запрещались всякого рода студенческие организации и собрания, а малоимущие студенты вновь должны были вносить плату за обучение.

Стр. 285. *...в государя... был сделан выстрел.*— Имеется в виду покушение на Александра II, совершенное в июне 1867 года в Париже польским революционером А. И. Березовским.

## М. Е. Салтыков (Щедрин)

Впервые опубликован в шведской газете «Stockholms Dagblad» в июне 1889 года. На русском языке очерк полностью напечатан С. Я. Штрайхом в «Литературном наследстве», т. 13—14. М., 1934 («Неизданная статья Софьи Ковалевской о Салтыкове»).

Стр. 293. *«Еще одна звезда мелькнула, мелькнула и исчезла».*— Рефрен из стихотворения П.-Ж. Беранже «Падающие звезды». В переводе В. Курочкина эти строки звучат так:

Еще звезда, блестит, блестит,
Блестит — и исчезает.

Стр. 294. *...и г-жа Крестовская...* — Речь идет о русской писательнице Надежде Дмитриевне Хвощинской-Зайончковской (1824—1889), выступавшей в печати под именем: «В. Крестовский — псевдоним». Сотрудничала в журнале Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки». Поддерживала дружеские отношения с М. Е. Салтыковым.

Стр. 295. *...подобная сатире Рабле.* — Ф. Рабле (1483—1553) — великий французский писатель-сатирик, ученый-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 296. *...один из лучших его рассказов — «Вольное место».* — Напечатан в журнале «Отечественные записки», 1879, № 1.

Стр. 300. *...Жюль Леметр...* — Жюль Франсуа Эли Леметр (1853—1913) — французский писатель и критик.

*Когда Щедрин начинал свою литературную деятельность (1847)...* — С. В. Ковалевская имеет в виду повесть М. Е. Салтыкова «Противоречия», напечатанную в журнале «Отечественные записки» (1847, № 11). Впервые имя М. Е. Салтыкова появилось в печати в 1841 году («Библиотека для чтения», 1841, № 3, стихотворение «Лира» за подписью «С-в. 1841 г.»).

*...в статье «За рубежом»...* — Цикл очерков «За рубежом» был создан в результате поездки М. Е. Салтыкова за границу. Печатался на страницах журнала «Отечественные записки», 1880, № 9—11 и 1881, № 1—2, 5—6.

Стр. 301. *Гизо* — Франсуа-Пьер Гизо (1787—1874) — французский историк, государственный и общественный деятель реакционного направления.

*Сен-Симон* — Клод Анри Сен-Симон (1760—1825) — великий французский социалист-утопист, мечтавший о замене капиталистических порядков социалистическими отношениями.

*Кабе* — Этьен Кабе (1788—1856) — французский социалист-утопист, автор фантастического романа «Путешествие в Икарию» (1840), в котором доказывалось превосходство социализма над капитализмом.

*Фурье* — см. примеч. к стр. 163.

*Луи Блан* (1811—1882) — французский мелкобуржуазный социалист, историк, деятель французской революции 1848 года.

Стр. 301. *...в особенности, Жорж Занда.*— Жорж Санд — псевдоним известной французской писательницы Авроры Дюпен (1804—1876). Ее романы, пропагандировавшие идеи женской эмансипации, были очень популярны в России.

*Дюшатель* — Шарль-Мари Дюшатель (1803—1867) — министр внутренних дел в правительстве, возглавлявшемся Гизо.

*Тьер* — Адольф Тьер (1797—1877) — французский историк и реакционный государственный деятель. Активный участник подавления Парижской коммуны.

*...нежели Л. В. Дуббельт...*— Леонтий Васильевич Дубельт (1792—1862) — генерал, управляющий III Отделением (1839—1856).

Стр. 302. *...«Ругон-Маккары»...*— знаменитая серия романов выдающегося французского писателя Эмиля Золя (1840—1902).

Стр. 303. *...он напечатал маленький сборник лирических стихотворений...*— Отдельным изданием стихи М. Е. Салтыкова не издавались. Они печатались в журналах «Библиотека для чтения» и «Современник».

*В «Запутанном деле», напечатанном в 1848 г. под псевдонимом Щедрин...*— Повесть «Запутанное дело» была опубликована в журнале «Отечественные записки» (1848, кн. 3) за подписью М. С.

Стр. 304. *...ограничительные для печати правила...*— С. В. Ковалевская имеет в виду деятельность так называемого «Негласного комитета», действовавшего в последние годы царствования Николая I и беспощадно преследовавшего любые проявления свободолюбия в литературе.

*...опубликовал свои «Губернские очерки»...*— «Губернские очерки» были напечатаны в журнале «Русский вестник» (1856—1857) под псевдонимом «Н. Щедрин».

*«История одного города»*— Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» был напечатан в журнале «Отечественные записки» (1869—1870).

### Пришлось ли...

Впервые напечатано в журнале «Вестник Европы» (1892, № 2). С. В. Ковалевская сама сделала перевод этого стихотворения на французский язык для своего друга математика Фрица Леффлера.

### Если ты в жизни...

Впервые опубликовано в журнале «Женское дело» (1899, № 2).

### <13 апреля>

Стихотворение не закончено. Оно было найдено в числе других («Груня», «Жалоба мужа») среди бумаг С. В. Ковалевской. Впервые опубликовано в книге: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., Наука, 1974.

### Автобиографический рассказ

Впервые напечатан в журнале «Русская старина» (1891, № 11) по стенографической записи рассказа С. В. Ковалевской, сделанной в мае 1890 года, в редакции этого журнала.

Стр. 321. *...профессором Миттаг-Леффлером...*— Магнус-Густав Миттаг-Леффлер (1846—1927) — известный шведский математик. Почетный член Академии наук СССР (с 1926 г.). С семьей Леффлеров С. В. Ковалевская поддерживала тесные дружеские отношения.

# *Содержание*

Ковалевская С. В.

К56 Избранные произведения/Сост., вступ. статья и примеч. Н. И. Якушина; Худож. Н. И. Крылов.— М.: Сов. Россия, 1982.— 352 с., ил.

Софья Васильевна Ковалевская — выдающийся математик, активная общественная деятельница и талантливая писательница второй половины XIX века.

В книгу вошли основные художественные произведения, написанные С. В. Ковалевской: «Воспоминания детства», повести «Нигилистка», «Нигилист», очерк «М. Е. Салтыков (Щедрин)», стихотворения.

К $\frac{4702010100-161}{М\text{-}105(03)82}$ 115—82 Р1

**Софья Васильевна Ковалевская**

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Редактор
*Т. М. Мугуев*

Художественный редактор
*Г. В. Шотина*

Технический редактор
*Р. Д. Каликштейн*

Корректор *З. И. Шехмейстер*

ИБ № 2560

Отпечатано с готовых матриц. Подписано в печать 26.05.82. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 18,48. Усл.-кр. отт. 18,80. Уч.-изд. л. 19,27. Доп. тираж 100.000 экз. Заказ № 1175. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. ЛХ-311.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Готовится к выпуску книга:

Бестужев Н. А. Избранная проза.

В однотомник войдут рассказы «Шлиссельбургская станция», где впервые в русской литературе поднята проблема личной драмы революционера, проблема счастья и долга, «Трактирная лестница» и др.; произведение художественно-мемуарного плана «14 декабря 1825 года», очерки «Гибралтар», «Записки о Голландии 1815 года» и др.; а также самое значительное произведение Н. Бестужева — повесть «Русский в Париже 1814 года».

1 р. 60 к.

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·